

ПРЕМИА
LIBERTY

EWING
-magazine

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
Американская кириллица

LIBERTY CLASSICAL FOUNDATION



Ирина Косарева	Музыкальный директор
Григорий Никитинский	Музыкальный директор
Регина Козлова	Музыкальный директор
Томас Янко	Музыкальный директор
Михаил Брыжнев	Музыкальный директор
Дэвид Ривингтон	Музыкальный директор
Нина Прохорова	Музыкальный директор
Виктор Голубев	Музыкальный директор

1999

20

1999

2000

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛИБЕРТИ

<i>художники</i>	Олег Васильев Вагрич Бахчян
<i>поэты</i>	Лев Лосев Лев Рубинштейн
<i>прозаик</i>	Василий Аксенов
<i>культуролог</i>	Михаил Эпштейн
<i>коллекционер русского нонконформистского искусства</i>	Нортон Додж
<i>директор Национальной Библиотеки Конгресса</i>	Джеймс Биллингтон
<i>директор нью-йоркского Музея С. Гуггенхайма</i>	Томас Кренс
<i>балетмейстер и хореограф</i>	Михаил Барышников
<i>журналист</i>	Дэвид Ремник
<i>издатель</i>	Ирина Прохорова
<i>переводчик</i>	Виктор Голышев

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

Американская
кириллица:
ПРОЗА И СТИХИ

1 1205 1/1

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА 2004

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов Василий

А 42 Американская кириллица: Проза и стихи.— М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 552 с.

Сборник известного писателя Василия Павловича Аксенова наряду с новыми текстами включает в себя фрагменты больших и малых сочинений, а также завершенные рассказы, в которых так или иначе звучит американская нота. После вынужденной эмиграции из СССР в 1980 году автор в течение 24 лет жил в США и преподавал русскую литературу и культурологию в американских университетах. В этой книге он старается показать, как американская среда (хронотоп) становится своеобразным строительным материалом при создании современных русских романов. Уклоняясь от политической полемики, он сосредотачивается на чисто художественном и метафорическом взаимодействии двух культур.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 5-86793-330-x

© В. Аксенов, 2004

© «Новое литературное обозрение», 2004

I

МОРЯК ИМПЕРИИ

Ноябрь считается самым лучшим временем в среднеатлантических штатах: солнце не жжет, но постоянно присутствует, мягко освещая пологие холмы, и вместе с прохладными бризами, будоражащими еще обильную листву титанических деревьев, создает то, что, будучи извлечено из словаря, называется «киароскуро», то есть игру света и тени; светотень. Воздух бодрящий, или, как в этих местах говорят, *crisp*, хрустящий, в нем живут одновременно и благостная мягкость и легчайший морозец. В таком воздухе, даже и на похоронах, ощущают немое побуждение. Это желание просветивало на лицах изрядной толпы, собравшейся в светотени дубов, кедров и платанов у подножья тяжеловесной церкви Сент-Джеймс, сложенной в свое время из кирпича, а теперь, после многочисленных десятилетий, образующих почти два полных столетия, напоминающей багровый монолит с наплывами плюща.

За парковой оградой из витого чугуна со всех сторон подходили к церкви волнистые вольеры, где паслись лошади отменных мэрилендских кровей. Слепни, чуждые сему буколическому времени года, отсутствовали, и потому лошади без всякой нервозности шевелили хвостами и гривами, как бы намеренно создавая идиллический фон для приближающейся церемонии.

Мимо собравшейся в церковном дворе толпы четко промаршировал почетный караул американских ВМС. Восемь моряков отнюдь не повторяли друг друга ни ростом, ни видом лиц: среди команды были два высоких атлета, белый и темнокожий, три девушки, представительницы трех разных рас, два обычных белых парня и еще один удививший необычно низким даже для аутека ростом и необычной шириной плеч, изобличавших исключительную физическую силу. Все они были в парадной черной форме с нашивками разных флотских служб (позднее, на похоронах, нам объяснили, что ритуальные команды набираются с разных кораблей и базовых частей и каждый кадровый моряк обязан уметь делать все, что положено на ритуалах, будь то похороны или, скажем, встреча какого-нибудь главы правительства), а у некоторых имелись и наградные планки (позднее, на тех же поминках ребята объясняли собравшимся вокруг дамам: эта медаль за поход в Залив, это за Сомали, а эта, мэм, строго засекречена).

Раз уж я так задержался на этой команде, следует сказать, что все свои перестроения они выполняли с отменной точностью, включая и довольно сложную процедуру сворачивания государственного флага, снятого с гроба, и вручения священного свертка вдове покойного.

Шел 2000 год от Рождества Христова. В штате Мэриленд хоронили рир-адмирала американского флота Кемпа Толли.

В нашем кругу, то есть среди друзей его русской жены Влады, его называли Никой. Он и сам так часто представлялся: «Ника, муж Владочки». В своем родовом доме в Корбет-Плейс после отставки из флота он устроился так, чтобы не забывать об авантюрной жизни

под звездно-полосатым небом. В частности, переоборудовал один амбар в своего рода оперативный штаб, увешал его кортиками и лоциями дальних морей, заставил сувенирами из Китая, Японии, Филиппин, Австралии, Бирмы, Ирака и Египта. Здесь же размещалась редакция уникального журнала «Ханьпу Патруль», авторами и читателями коего были ветераны флотилии американских канонерок, где Ника еще задолго до Второй мировой войны подвизался молодым офицером военно-морской разведки. В подвале основного дома адмирал оборудовал колониальный бар с бамбуковыми шторами и экзотическими масками. Он любил костюмированные сюрпризы и порой предстал перед гостями то в виде самурая с фальшивой косой, но с настоящим мечом, то советского матросика в тельнике и в бескозырке с лентами (в этом случае всегда пел с замечательной дикостью «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй!»), а однажды, когда все уже сидели за обеденным столом, из Никиных комнат спустился Адольф Гитлер с чаплинскими усиками, косой челкой и в коричневатой гимнастерке зари движения (в этом случае исполнялись «Хорст Вессель» и «Лили Марлен», почерпнутые в Берлине 30-х, где наш герой, похоже, вербовал среди молодых наци шпионов для будущей войны).

Однажды он подарил нам с Майей книгу своих мемуаров под забавным названием «Commissars and Caviars». По-русски сохранить смешноватость можно, только преобразовав одно существительное в прилагательное; ну, скажем, «Икрыные комиссары», или «Икролюбивые комиссары», или, чтобы совсем уже заморочить голову, «Икрометные комиссары».

Но дело, конечно, не в названии (оно, при всей его занятости, все-таки не отражает содержания книги), а вот именно в содержании, а также в сдержанном пафосе молодого янки периода WW2, сквозящем сквозь строки внешне невозмутимого нарратива. Быть может, это покажется странным читателю в России, но именно поколение американцев сороковых годов XX века вызывает сейчас интерес и у них на родине, и в Европе. Это поколение кажется издавлека воплощением лучших черт американизма, то есть некоей как бы особой расы, возвращенной Господом специально для спасения человечества. Нынешние рыцари Белоголового орла, отягощенные доллароманией, вроде бы представляют собой лишь жалкое подобие тех отважных и наивных воителей и кормителей Европы и Океании.

Я брался за эту книгу трижды. Первый раз передистал: там было много фотографий. С удивлением обнаружил, что военный персонал американского посольства в Москве в годы войны носил большие папахи советского генеральского образца, только не из серого, а из черного каракуля, с гербами в середине этих башен. Жаль, что я не знал этого, когда писал «Московскую сагу»: такой головной убор пришелся бы впору возлюбленному маршальщи Градовой полковнику Талиафери. Нашел я там и фотографию милейшей девушки, переводчицы посольства, нашей будущей задушевной подруги, восьмидесятилетней Влады. Вообще на этих страницах немало мелькает молодых советских особ, иные из них в мундирах своих американских ухажеров внакидку. Собственно говоря, именно с русских девушек все и началось, но об этом чуть позже.

Второй раз я взялся читать, но, как говорится, «по диагонали», просто чтобы было о чем поговорить при

встрече с автором. Удивила одна из идей вступления. Русские, пишет адмирал, только кажутся белой расой, на самом деле они ею не являются. Под прикрытием белой кожи, светлых глаз и русых волос в них таятся те, с кем они усердно перемешались на своих огромных плоских пространствах: монголы, татары, всевозможные тюрки и закавказцы. Вот отсюда и явилась их любовь к Сталину и подобострастие перед коммунистами. Со своей стороны мы тут воскликнем: Вот каковы были этнографы в резерве флота! Хотел я было завязать с 90-летним адмиралом разговор о современных этносах, когда они останавливались у нас перед полетом в Иокогаму на открытие американско-японского центра его имени, однако тема эта лишь проскользнула в общей беседе за столом и была забыта.

Забылась и книга, куда-то запропастилась в разномастном сонмище «источников знаний» и лишь только в этом году перед окончанием моих «американских университетов» неожиданно выплыла на поверхность. Тогда я положил «Икрометных комиссаров» на свой ночной столик и в течение двух недель прочел ее от начала до конца, очевидно, для того, чтобы понять метафору этой жизни, с одной стороны, вроде бы пересекающей кубистическими пластами наш псевдобелый этнос, а с другой — кристаллизирующейся в единую, отчетливую, а потому не совсем понятную нам завершённую американскую фигуру.

Повествование начинается издалека. Добрая треть страниц — это лишь приближение к основной теме, службе в Советском Союзе в годы Второй мировой войны. Юный выпускник Военно-морской академии в Аннаполисе в начале 30-х направляется в Китай. С какой

целью там тогда околачивались американцы, я не знаю, а Ника этого не объясняет, очевидно, думая, что это каждому известно, поскольку цель была большая. Там он играл в теннис с такими девушками, каких в Аннаполисе никогда не видел. Это были изящные, милые, ловкие и очень светские особы белого цвета, хотя и загорелые. Они все по-английски говорили очень свежо и ненапыщенно, пользовались и другими языками, в том числе и своим родным, русским. Это, собственно говоря, были девушки из русской белой эмиграции, и молодой лейтенант вознамерился войти в аристократическое общество. Командование не возражало: офицеру морской разведки не помешает русский язык. Кемп Толли начал брать уроки, благо в селменте Шанхая преподавателей русского языка было в избытке.

Через некоторое время, опять же с одобрения командования, он отправляется в еще более русские края, на север, в марионеточное государство Манджу-Го, где как ни в чем не бывало, то есть на полных птичьих правах, процветает русский город Харбин, а девушки там не менее изящны и остроумны и не меньше любят родную литературу, чем девушки Шанхая.

Я немало встречал в Америке людей, которые вот так понемногу, начав заниматься чем-то русским, втягивались с ушами, на всю жизнь. Что-то как-то чрезвычайно поражает сдержанных янки в русских людях (имеется в виду, конечно, интеллигенция), может быть какая-то необычайная эмоциональность на грани того, что именуется «душевым трепетом»; что-то вроде этого, в общем несдержанность. Ну и конечно, все эти Толстые, Достоевские, Чеховы, ну а уж если и до Пушкиных дойдет, считай, что обратного хода нет. Таким оказался и лейтенант флота Кемп Толли, «Ника».

Начав с эмигрантских девушек, он в конечном счете пересек основную границу и по транссибирскому пути углубился в страну большевиков. Описывая свои путешествия тридцатых годов, он не очень отчетливо указывает их смысл; впрочем, чего вы еще ждете от офицера разведки?

На самолетах тогда, как сейчас, не летали, и все эти огромные пространства офицер Толли пересекал по железным дорогам. После СССР побывал он и в Третьем рейхе, в столице которого познакомился с молодыми тевтонами, безупречными в расовом отношении мерзавцами; так он их, во всяком случае, характеризует. Было ясно, что эти служащие имперских канцелярий готовятся к каким-то значительным событиям. Совершенно непонятно, почему после Германии он оказался в Прибалтике, и в частности в Риге, где вновь с восторгом присоединился к обществу русских светских девушек, в котором продолжал улучшать свой русский язык и знакомство с национальными характеристиками. По завершении этой почти фантастической миссии Кемп был отправлен обратно в Китай, к своим канонеркам на реке Ханьпу. Не знаю, знаком ли он был тогда с антиимпериалистическим выражением «политика канонерок»; в книге, во всяком случае, он его не употребляет.

В Европе мировая война еще проходила через свои судетские и австрийские репетиции, а в Азии японская стоглавая дракониха уже играла вовсю. Офицер Толли был отправлен на небольшом и вроде бы даже невоенном суденышке в многомесячное плавание по Филиппинскому и Индонезийскому архипелагам. Об этом разведывательном предприятии адмирал в отставке

написал отдельную книгу, но я ее пока что не читал. В «Икрометных комиссарах» он лишь вскользь и в полущутливой форме упоминает, как они играли в кошки-мышки с охотившимися за ними японцами. Эта, быть может, самая опасная в его жизни эпопея закончилась благополучно в дружественной Австралии.

К тому времени война в Европе шла полным ходом. Поделив со Сталиным Восточную Европу и разгромив Францию, Гитлер вероломно вторгся в Советский Союз. На этом фоне Кемп получает новое назначение ^{УМЕРЫЛО ПЛОХО} помощником военно-морского атташе в Москву. В Австралии, увы, не нашлось для него подходящего американского морского мундира, а в шортах и в майке ехать в Москву было как-то, ну скажем, недипломатично. В каком-то приморском баре Кемп рассказал «оссиз» об этой проблеме и ему нашли подходящий китель, правда не морской, а кавалерийский. Этот китель, очевидно с большими накладными карманами, Ника упоминает не менее полдюжины раз; он явно им гордился. Ну, в общем, Белый дом сказал нам «надо», Пентагон ответил «есть»! Снялись с якоря и отправились. В буквальном смысле, господа, в буквальном! Самолетов помощникам атташе не предоставляли, рейсовых не было. Австралия, как известно, со всех сторон окружена водой. Значит — плыть! Плыть на чем дают. В кавалерийском мундире. Плыть в сторону Персии, там — наши! *пусть это, Зарифе, Лесов*

Плыли долго. Индийский океан не мал и не прост. Пока плыли, Гитлер почти разбил Сталина и подошел к Москве. В Тегеране получили маршрут: летишь не в Москву, а в Куйбышев. Там уже курсировали транспортные «дугласы».

В Баку Кемп Толли получил первый советский завтрак, пиалу вареных слив. Это его ошеломило. В Сталинграде, впрочем, на аэродроме подали нормальный завтрак, если только это не был ужин. Здесь, собственно говоря, впервые на сцене появляется икра, которая затем постоянно украшает советские «сакуски», сервируемые для американцев, несмотря на трудности военного времени.

Средний американец, между прочим, не принадлежит к поклонникам икры. Многие даже испытывают к ней некоторую брезгливость: «рыбьи яйца», нет, нет, увольте! Наш Ника, однако, при своем космополитическом опыте не был средним, а русские аристократы знали толк в этом аппетитном афродизиаке.

Куйбышев, как известно, в первый год войны был «запасной столицей». Туда при приближении Гудеряна драпанули правительство и иностранные посольства. Именно в этом городище, растянувшемся на многие мили вдоль Волги, завершилась огромная океанская одиссея будущего адмирала. Здесь он впервые получил свой «деск» и телефон. Здесь же произошла самая главная встреча его жизни.

Через день или два после прибытия, на улице возле посольства он увидел стройную девушку в красном свитере. Коллега познакомил Кемпа и переводчицу Вааду. Моряк был поражен: что за девушка в советском Куйбышеве, а как говорит по-английски, такой свежести и изяществу позавидовали бы и красотки Харбина! Интересно отметить, что в своей книге адмирал не очень подробно повествует о том, как развивались их отношения, и совсем не упоминает того, что свой английский девушка приобрела в Лондоне, где много лет работал ее отец, советский специалист по

международному праву. Ссылаясь уже на самую Владочку, хочу сказать, что к моменту встречи ее отец уже несколько лет пребывал в лагерях, куда доблестные чекисты его запихнули немедленно по возвращении из Лондона. Интересно отметить, как с началом войны, то есть во время тотального кризиса советской системы, изменились нравы НКВД, дочь «врага народа» была допущена переводчицей в американское посольство. Видимо, очень сильной система испытывала дефицит английского для общения с союзниками.

Основная и, в общем, поистине гигантская часть этих общений укладывается в два односложных слова через черточку: lend-lease. Морской отдел посольства был в самом центре ленд-лиза, потому что грандиозная помощь шла по морям, нашпигованным нацистскими подлодками.

Толли как молодого офицера то и дело направляли из Куйбышева, а потом и из спасенной Москвы в отдаленные приморские края, включая и близкий его сердцу Дальний Восток. Основным направлением все же оставался Север, Архангельск и Мурманск, куда в обход оккупированной Норвегии добирались союзные конвои. Добиралось, как известно, чуть больше 50% транспортов, из них большая часть с пробоинами и искалеченным экипажем. Нужно было организовывать починку судов и лечение раненых, выяснять потребности советских ВМС, передавать им боевые корабли и снаряжение. Несмотря на все старания бесчисленных особистов изолировать американцев от жизни страны, перед Толли открывались картины чудовищных страданий и убожества. Он довольно отчетливо описывает окостеневшие от холода толпы рабочих на причалах и лесопилках Северной Двины, где трудно было отли-

чить заключенных от мобилизованных. Так перед ним открывалась вечная полуагония псевдобелой советской людской массы.

Однажды в Комсомольске-на-Амуре, где они инспектировали завод подводных лодок, на улице за ним помчались закутанные в непотребное тряпье мальчишки. «Фриц! — кричали они. — Смотрите, фриц идет!» Молодцеватый американский моряк так мало походил на советских, что его приняли за врага.

Пентагон вообще-то скуповат на повышения в чинах, однако по каким-то дипломатическим соображениям Кемп Толли до срока стал коммодором. Не исключено, что он был самым молодым коммодором по обе стороны Атлантики.

На молодых всегда сваливают всякую внеурочную работу, вот и он однажды припозднился в резиденции посла, именуемой Спасо-Хаус, возился с новым цифровальным устройством. Собравшись домой, он спустился в Большой Холл и увидел там толпу военных и штатских, которые активно закусывали и выпивали, стоя вокруг щедро накрытого стола. Сообразив, что ночью прибыла какая-то союзническая миссия, он тут же к ней присоединился, чтобы, как нынче говорят, «прогуляться на халяву».

Рядом с ним закусывал высокий англичанин с дополнительным признаком англичанства, отменно подстриженными усиками. Толли и сам был-с-усам и предложил тост:

«Давайте выпьем за клуб усатых: лорд Китчинер, Сталин, Гитлер, вы и я, идет?»

«Хорошая идея, коммодор», — сказал высокий.

«Зови меня Кемп», — предложил наш герой.

«А меня зовут Тони», — сказал новый друг.

Это оказался не кто иной, как министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден.

В Москве даже и при «затемнениях» существовала светская жизнь. Центром ее для дипломатов был Большой театр. Все с удовольствием туда съезжались, стараясь забыть войну, темные улицы, сирены воздушных тревог.

Увы, кроме волшебства больших балетов и опер, в театре происходила и довольно мерзкая деятельность советской секретной службы. В антрактах дипломатов без околичностей знакомили с хорошенькими женщинами, кагэбэшной агентурой. Кемпу, нашему дамскому угоднику, было, очевидно, нелегко удержаться от соблазнов, однако подобные встречи всякий раз еще больше утверждали его во мнении, что он живет в уродливой растленной стране. Пробыться к людям, которые в то же время совершали вооруженный подвиг, защищая свою страну от нацистов, было невозможно: дипломатов не допускали к театру боевых действий. Редкие встречи с фронтовиками несли в себе двусмысленность, порожденную тотальной слезкой. Однажды во время театрального разъезда к Толли и двум его друзьям подошел подвыпивший советский майор. Он стал расхваливать американцев, благодарить их за помощь, за джипы «виллисы», грузовики «студебекеры», танки «шерманы», самолеты «дугласы» и «кобры», без которых на фронте пришлось бы туго.

Это было так неожиданно, что американцы не удержались и пригласили славного парня к себе в посольство. Тот с хохотом согласился. Они припрятали его в машине и провезли внутрь незаметно от милицей-

кой стражи. Майор никогда прежде не встречался с иностранцами, тем более никогда не помышлял окзаться в американском посольстве. Сначала он восхищался всем, что увидел в квартире молодого коммодора: батареей замечательных крепких напитков, глянцевыми журналами «Лайф» и «Тайм», проигрывателем, в который одновременно загружалась дюжина долгоиграющих джазовых пластинок и т.д. Потом после очередного скотча или джина произошел перелом. Майор вдруг стал почти истерически кричать, что американцы буржуи, такие же империалисты, как немцы, что мы, русские, еще вам покажем, вначале немцам, а потом американцам, таким вот, как вы, красавчикам-американчикам, если засранцы-американцы, у которых в жопе пальцы, с дороги, руки прочь от Красной армии гудбай, вглоттебягуляй! И ушел сам по себе. Было видно в окно, как прошел мимо сторожевой будки и исчез в ночи. Что с ним стало? Арестован? Расстрелян? Ушел от органов? Скрылся невредим? Пропали органы? А может быть, он и сам из органов? Тогда почему так распахивался? Может быть, вдруг понял, какой опасности себя подвергает, рассевшись тут на таком невиданном американском диване, разглагоясь о единстве с «товарищами по оружию», восхищаясь журнальчиками и пластинками, когда тут лучшие слухачи ГБ небось работают и записи прямо Берии на стол кладут. А может быть, он в ярость пришел, подумав, что вот для американцев вся эта роскошь привычна, а он, майор, ничего подобного в жизни не видел, да и не увидит больше никогда, и вот они сидят, такие холеные, чистые, высокомерные, такие представители какой-то высшей культуры, а он тут дрожит от страха, как на фронте никогда не дрожал, под пулей,

задавленный мизерный русак, что только от водки ожи-
вает, человеком становится?

Подобных психологических русских загадок пред-
стало немало перед коммодором Толли за те годы, что
он провел в СССР. Не раз он испытывал пронзитель-
ное сострадание к людям этой неполноценно-белой
расы, выбравшей для проживания необозримые поля
непостижимой страны. Он стал внимательнее присма-
триваться к этим людям и был рад найти даже и среди
них черты достоинства и сдержанности. В этом ключе
он не раз упоминает главкома Северного флота адми-
рала Головки и его окружение. Эти были мало похо-
жи на «икрометных комиссаров», хотя сами не упус-
кали случая устроить щедрое застолье для «товарищей
по оружию».

Вспоминая трагический провал совместного «чел-
ночного проекта», когда немцам за одну ночь удалось
уничтожить 50 американских бомбардировщиков на
аэродроме возле Полтавы, адмирал цитирует генера-
ла Дина:

«Начиная с Новикова, Никитина и всего штаба
ВВС и кончая женщинами, которые укладывали сталь-
ные маты для наших взлетно-посадочных полос, мы
встречали только дух дружбы и сотрудничества. Мы
вместе жили, работали, веселились, и только сверху, из
Генштаба, НКВД, МИДа и от партийных лидеров, бли-
жайших советников Сталина доходило до нас жела-
ние саботировать то, что с такой неохотой было одоб-
рено».

Вот вам урок по русской психологии и путеше-
ствователю на будущее, продолжает адмирал. Даже метеоро-
логический обмен, над которым вместе работали капи-
тан Нолл и генерал-лейтенант Федоров, очень приятный

парень, склонный к сотрудничеству, был обречен на выброс намеренной волокитой и прямыми препятствиями сверху.

Между тем приближалось самое важное событие его жизни. Будучи друзьями этой семьи, мы об этом событии слышали часто и от Владочки, и от Ники, и от них вместе, так что я рассчитывал и в книге найти его подробное описание. Автор, однако, оказался скуп на подробности. Такого-то числа, пишет он, мы с Владой подали заявление в московский ЗАКС. Хочешь — не хочешь, но, употребив неверную букву в этой аббревиатуре, автор породнил ее с много раз употребленным словом «сакуски». На самом деле все эти закуски для Влады могли легко превратиться в баланду, а ЗАГС — в ГУЛАГ.

Кто знает, какие соображения появились в шакальем ведомстве в те дни, когда исход войны стал ясен. Во всяком случае, молодым переводчикам приказали закругляться. Среди них был, между прочим, Владин однокурсник и друг по имени Артур Аксенов. Вскоре он был арестован и провел большой срок в лагерях.

Влада, получив шакалий приказ, успела проскочить в посольство, в квартиру возлюбленного. «Что с тобой?» — спросил коммодор. «Нам нужно попроситься, — пролепетала она. — Ты понимаешь... мне сказали... больше сюда не ходить...» Минута или две ушли у коммодора на размышление. Затем он пригладил усики, взял в зубы трубку и надел фуражку с гербом США: «Идем в ЗАКС!» За кадром — сильный взлет драматической музыки.

Существует какая-то смутная статистика, согласно которой несколько тысяч советских девушек, подрут

западных военных, в том числе кинозвезда Зоя Федорова, к концу войны были отправлены в лагерь. Владочке, как и немногим другим, повезло увильнуть от шакалей хватки, она оказалась под прямой защитой посольства, да к тому же немалые лица, по слухам, были вовлечены в любовную историю commodora Толли: посол Гарриман и его жена Кэтлин, миссис Рузвельт, сенатор Пеппер, а может быть, и ночной собутыльник по имени Тони.

В июне 1944 года commodор Толли получил назначение штурманом на боевой корабль и покинул Москву. Предстояла далекая дорога на западное побережье Америки, где готовился к выходу в море быстроходный линкор «Северная Каролина». Завершающие страницы книги «Комиссары и кавиары» освещают весь прочитанный текст каким-то необычным, глубоко эмоциональным смыслом.

Первая остановка, Тегеран. За эти годы летаргический город превратился в бурлящую базу союзников. В СССР, пишет он, мы все уже привыкли к суровой и унылой жизни, забыли о Внешнем Мире. В Тегеране ему показалось, что он вылез из темного, затянутого паутиной погреба прямо в мир чистого солнца, где птицы поют, цветы цветут, а люди болтают друг с другом на улицах. Первый раз с тех пор он живет в настоящем отеле, сидит в настоящем баре и видит вокруг множество американских медсестер в шикарной форме, смеющихся и охотно танцующих со всеми, кто приглашает, с офицерами из командного центра Персидского залива, с летчиками и с транзитниками, вроде самого commodora Толли. За эти годы он ни разу не ел ни апельсина, ни банана, ни разу не выходил из

зоны надзора НКВД. К черту войну! Могу себе позволить отдых!

Я вообще-то не сентиментальный тип, пишет он, но тут, в ту первую ночь в отеле меня охватило какое-то особое приподнятое, ранее неведомое мне чувство. Что это было? Он не мог понять. Может быть, запах вызвал это чувство, американский запах, смесь женской парфюмерии с сигаретами «Кэмел» и «Лаки Страйк», вместе с гулом американских голосов. «Боже мой! Да ведь это же Америка! Это то, что я ЛЮБЛЮ! Только дважды в жизни я испытал такое ошеломляющее чувство».

Первый раз это случилось с ним на борту крейсера «Хьюстон», ошвартованного в Шанхае на реку Ханьпу. Из-за поворота реки появился и пошел вдоль долгой линии иностранных торговых судов явившийся из океана большой старый военный транспорт «Henderson». На фоне грязного свинцового китайского неба трепетали его сверхразмерные ярчайшие флаги. Когда он (по-английски вообще-то корабль, каким бы большим и страшным он ни был, называют «она») едва ли не вплотную стал проходить мимо «Хьюстона», на борту крейсера прозвучал пронзительный сигнал горна: «Смирно! Приветствовать под козырек!» Оркестр заиграл «Звездное знамя». Это была ошеломляющая манифестация Америки. Все палубы «Хендерсона» были забиты морпехами, пополнением для 4-го полка, гордости Шанхая. Да, вот именно тогда я первый раз это почувствовал, вспоминает адмирал.

Второй раз это случилось в Маниле, на церемониальном военном балу в огромном кабаре Санта-Ана. Зал величиной с половину футбольного поля сверкал китайскими фонарями. Двести офицеров подразделения «Фи-

липпинские скауты» в белых мундирах и черных брюках с разноцветными лампасами (пехота с синими, кавалерия с желтыми, артиллерия с красными) и их дамы в длинных испанских платьях с буфами на рукавах исполняли массовую кадриль, в то время как оркестр играл попури, своего рода музыкальную бурю под сводчатым потолком. Толли смотрел на этот танец с балкона и сердце его воспаряло. «Вот она, наша империя! — думал или, вернее, чувствовал он. — Могучая, неустержимая Американская Империя!»

Неподалеку от могилы адмирала уже несколько лет назад упокоена была его дочь Нина. Трагическая нелепость оборвала жизнь 40-летней женщины, матери трех прелестных девочек. Узнав о несчастье, он лег тогда лицом к стене и долго не вставал. «Никочка, что ты так лежишь?» — спросила Владочка. «Я скорблю», — ответил он и долго еще продолжал лежать.

Священник из церкви, которую построил для этих мест прапрадед Толли вместе с соседями-фермерами, читает над его телом заупокойную молитву. «Eternal rest grant to him, o, Lord, and let perpetual light shine upon him. May his soul and all the souls of the faithfully departed rest in peace...» В толпе иные шепчут вслед за ним. Иные сосредоточенно молчат. Третьи обмениваются умиротворенными взглядами и мягко улыбаются, как будто улыбкой этой обращаются к ушедшему, как будто говоря: мы все уйдем за тобой, добрый Толли, мы все уйдем друг за другом, и все пойдут друг за другом, те, кто за нами.

Здесь собрались только те, кому здесь должно было быть: шестеро внучек, родственники и друзья, соседи

по графству и прихожане церкви, несколько стариков, служивших когда-то под началом сначала коммодора, а потом и адмирала Толли, офицеры современного флота и Военно-морской академии в Аннаполисе, люди академической компьютити из университетов Гаучер и Джонс Хопкинс, с которыми семья Толли была связана в течение долгих лет. Порой могло показаться, что сам адмирал Толли стоит среди людей, по нему скорбящих. А вокруг лежали голубоватые холмы, по которым, словно в унисон с общим умиротворением, медленно прогуливались вальяжные мезерлендские лошади.

Я подумал, что впервые оказался в истинной сердцеvine страны, что дала мне приют после изгнания с родины. Так или иначе, но именно такие тесные собрания лиц, преимущественно продолговатых, с высокими лбами, с твердыми подбородками, провожающие в последний путь основного старика округа, являются всякий раз сердцеvineю того, что он подразумевал под словом Империя.

Я как русский, быть может, вообще не понимаю этого слова. Пока я рос, это слово никогда не употреблялось по отношению к Советскому Союзу. Я только лишь ощущал себя во власти чего-то столь же мрачного, сколь непреодолимого. Когда я вырос и осмелился размышлять, то понял, что живу в подлой и коварной социалистической империи, почти адекватной тюрьме.

Восторг, который испытывал Кемп Толли в иные минуты от ощущения принадлежности к Американской империи, связан с солнцем и ветром на мировых просторах, с запахом виргинского табака и женской парфюмерии, с парящими флагами и всегда с музыкой, будь то военный оркестр или танцевальный биг-бэнд.

Мои восторги, солнце и ветер, и запах виргинского табака, и женская прелесть так или иначе были прорывами из уз империи. Для адмирала Толли империя соединялась с понятием всеобщей свободы. Для меня свобода возникала при распаде империи. Увы, в той и в другой концепции, как это то и дело бывает на загадочном «пути Адама», возникают тупиковые противоречия. Вдохновенный империализм Толли так или иначе неотрывно связан с перемещениями, сближениями и разъединениями гигантских стальных тел, с крейсерами и авианосцами, с мобильными армадами страны свободы, так далеко уходящими от маленького холма в Мэриленде, да и вообще с гигантоманией и другими бесчисленными парадоксами этой страны.

Неизвестно откуда взявшийся долговязый офицер начинает отдавать лаюющие команды. Почетный караул совершает последнее перестроение, поднимает короткие карабины. После долгих странствий Нику опускают в его любимую землю. Троекратный салют. Церемония завершена.

II

ОТКРЫТИЕ ТЕМЫ

Я в общем-то не обижаюсь. Напротив, в таком виде я люблю ее еще больше. Жизнь не баловала меня премиями, и потому отказываться от них я не собираюсь. Вот ведь некоторые писатели отказываются от премий. Таков был, к примеру, Жан-Поль Сартр. Он отказался от Нобелевской, сославшись на то, что ее дают «строптивцам Востока», но я не исключаю, что на самом-то деле от того, что пазы для подвески у нее (у Н.П.) были вверх ногами.

А какая была церемония в Линкольн центре; такие картины не забываются! Мы стояли на сцене со вторым лауреатом, собирателем русских картин Нортоном Доджем (или, вернее, с первым, потому что сначала ему вручали). Вместе с нами там были учредитель Эд Лозанский и великолепная тройка жюри Соломон Волков, Яша Брускин и Саша Генис, а за нашими спинами громоздился всеми своими этажами огромный хор Йельского университета с его русским репертуаром. Я временами оглядывался на этих хористов. Они улыбались, но похоже было, что вручение премии «Либерти» было для них сюрпризом.

Когда церемония завершилась, мы с Нортоном вышли на кишачую публикой площадь. К нам немедленно приблизился нью-йоркский плут.

«Как насчет того, чтобы сэкономить для меня по пятерке, джентльмены?» — спросил он, часто мигая припухшими глазами.

Мы тут же сэкономили для него запрошенные суммы. Хотелось, чтобы и плут получил свою награду в этот вечер.

«Весьма признателен, — спокойно сказал плут. — Вы не думайте, что я нищий. Просто слегка поиздержался при случайных обстоятельствах».

«А вы кто по профессии, наш друг?» — спросил Нортон Додж, человек с отменными моржовыми усами.

«Я по профессии координатор, — ответил плут, ничтоже сумняшеся. — А вы кем будете, почтенные джентльмены?»

«Мы лауреаты», — ответили мы.

Плут поддернул штаны. Одна подтяжка свисала у него из-под куртки.

«Значит, я не ошибся», — проговорил он, козырнул и поплелся своей дорогой.

Вот такая была запоминающаяся ночь в Нью-Йорке.

С тех пор прошло года два или три, а может быть уже и больше: с этим ничего не поделаешь. «Либерти» вручалась каждый год, и наконец ее присудили достойнейшей Ирине Прохоровой, редактору самого авангардного журнала «НЛО» и хозяйке интеллектуального издательства. При встрече с этой женщиной из UFO — никто ведь еще не доказал, что на unidentified flying objects не летают очаровательные женщины — мне и было предложено написать или выстроить (или и то и другое) книгу об Америке. Готовился пятилетний юбилей премии «Либерти», и решено было, что каждый лауреат создаст к этой дате, а также для культурного пространства обеих стран что-нибудь творческое.

Опять об Америке, подумал я, сколько же можно о ней писать, что можно прибавить к уже написанному, ведь это, наверное, только исламским фундаменталистам она внове, а нам-то, гражданам двойного гражданства и перманентным резидентам христианского вероисповедания, за четверть века изрядно уже прокоптившим американское небо своим творческим вдохновением, опять писать об Америке? Так я подумал и согласился, потому что отказаться было невозможно.

Кроме убедительного голоса Ирины, что еще повлияло? Как раз, может быть, завершение «американских университетов»? Или то, о чем вы уже прочитали в первой главе, книга «Икрометные комиссары», мысли об одном из близких друзей, американском адмирале? Или мысли о погибшем в Сан-Франциско 24-летнем американском поэте, который к тому же был нашим, то есть русским, внуком, о котором я тогда написал очерк «Иван»? Или промелькнувший, словно бы в подсознании, образ возможной книги как в своего рода калейдоскопе, заполненном американскими осколками, который при потряхивании норовит организовать то непредвиденную симметрию, то предсказуемую смесь ташизма с лучизмом?

Надо будет обязательно убежать от проблемности, от публицистики, от всяких там с понтом сопоставлений «мирового жандарма» и «часовой свободы», что в принципе не так уж сильно противоречат друг другу. В принципе если уж делать сейчас книгу об Америке, то надо говорить о ней как о литературном строительном материале, поставщике эпитетов и метафор. В этом контексте почему бы не вспомнить об одном этюде, возникшем после долгих шляний в Джорджтауне вдоль мутного потока Потомака?

ИЗ ПРАКТИКИ РОМАНОСТРОИТЕЛЬСТВА

В какой-то момент вас посещает желание написать роман. Если вы профессионально занимаетесь расстановкой слов на бумаге, то знаете остроту этого чувства. Для непосвященных несколько пояснений.

Жизнь, которую вы ведете вне романа, часто бывает сродни заболоченному берегу реки в том месте ее

поворота, где вода теряет течение и застаивается годами. У таких заводов любят возводить цементные и кожевенные заводы. Стоки предприятий заквашивают гнилостную пульпу. На поверхности кое-где видны бугорки, это трупики вялавшихся животных. Аллегорически их можно сравнить со своими брошенными замыслами.

Едва лишь произносится фраза «Я хочу написать роман», как вся грязь вздымается и фиксируется перед вами: то ли замок, то ли космический корабль, неизвестно из какого материала, не из грязи же, воплощенный шедевр. Затихает реверберация фразы, и сооружение рушится, добавляя в изначальное болото еще больше ржавчины и коросты.

К началу работы этот мелькнувший шедевр почти забыт или почти не забыт: иначе и работа бы не началась. Это «почти» важнее всех завязок, кульминаций и развязок, или, как их там, ритмов, стилей, саспенсий там всяких, эпитафий, ну и так далее. Вместо всех этих элементов литературной теории, которым мы так старательно учим нерадивых студентов Вашингтонской метрополии, а также юношей Междуречья Тигра и Евфрата, перед вами брезжит некая неясная картина, почему-то имеющая отношение к вашему «почти». Ну вот, к примеру, какая-то излучина, за нею — аэропорт и шляпой нахлобученной архитектурный торт: загадочно.

Вы начинаете шляться вокруг этого места. Иногда расставляете среди свалок треногу с прибором: псевдогеодезист, фальшивый архитектор. Не ждите знаков одобрения. Никто вам не даст аванса под ваш замысел, если вы его правильно сформулируете. Ваши идеи будут признаны не очистительными, а разрушительными. Не посягайте, скажут вам, здесь все-таки Америка

(или Россия), здесь люди живут. Здесь пузырьки метана поднимаются, к их запаху все привыкли. Вас уже выгнали однажды вон за ваши труды, и нынешнее терпение не вечно.

А мне нужен этот ландшафт, отвечаете вы почти грубо. А также гэз-стейшн неподалеку. Там светятся цвета «шеврона», а из одинокой машины, хватившей ночью бензина, доносятся скрипки *Алессандро Марчелло*. И вы начинаете расчищать площадку, на что уходит то ли целый год, то ли неполная ночь. В конце концов: «В сутолоку разноголосиц звук долетит извне, снизится Победоносец на византийском коне» — ну в этом роде.

Чьим-то приказом цементный и кожевенный заводы упразднены — и сразу исчезли. Обойдемся без цемента. Скрепяющим материалом окажутся сами предложения, протянутые между подлежащим и сказуемым, заполненные отборным словесным составом. Невнятица глаголов, наречий, предлогов, прилагательных, пригнанная сущими словесами, постепенно становится текстом, и на берегу начинает подниматься каркас. Он то укрепляется сверху донизу, то обрушивается тем или иным крылом. Фронтон то сияет застекленными окнами, то зияет мрачайшими кавернами. Все-таки он уже живет, если можно так сказать о «каркасе», учитывая не только русское, но и английское значение слова, а его надо учитывать. Эмигрантское дело, вавилонский словарь, где-то что-то заело, соскочившая тварь, подлежащее рыщет, свищет по этажам, словно изгнанный сыщик, что пятерку зажал, на луну завизжал, коренным скрежетал, и тэдэ.

Однако вы уже не одиноки. Некие тени, быстро обретая плоть, уже шустрят по стройке, прикидываясь

завзятыми прорабами, каменщиками, арматурщиками: ну конечно, это ваши персонажи. Вам кажется, что вы ими командуете, собираете мизансцены, а то и массовки батальонного характера, во имя высших целей пресекаете самодеятельность, суете каждому под нос его чертеж, чтобы держался в рамках. Не лезьте с готикой, дубина! Мы здесь возводим ренессанс! Зачем вам лампа Аладдина? Не нужно погружаться в транс! Пусть разбередся вся шарага! Не надо прыгать в высоту! Катитесь вдаль к своим шарагам! Не нарушайте простоту! Тут вдруг вы видите, что вам не очень-то внимают, потому что заняты уже не совсем вашим делом, погружены в собственные взаимоотношения, ввязываются в удивляющие вас передраги. Закрадывается подозрение, что по ночам, когда вы спите, они не спят. Иначе почему вы утром прежде всего думаете: что там с ними за ночь стало? Не пожрал ли их дракон? Или грязный крошка Сталин вслед послал своих драгун?

Здание, романтический порт на реке, растет вместе с кучей бумаги на вашем столе. Все это преувеличено, думаете вы, все чрезмерно, кич, нагромождение идей, то расползается, то вспучивается на фиг, смешение стилей, немотивированное пересечение. Доктор Живаго какой-то, никогда не закончить, ведь на столе попутно растет куча студенческих работ по классу романа, пора подумать и о продаже, то есть о читателях, ведь ты же сам талдычишь в классе, что без читателя творческий акт не завершен: и вдруг ты видишь, что роман закончен. Вступленье, хороший эпиграф, пятнадцать добротных глав, шальных характеров игры, ну и, разумеется, шелест подлунных дубрав!

Вдоль реки протянулась набережная с фонарями, по ней в пору прогуляться и Онегину, и Аблеухову, и Сти-

вену Дедалусу. Саморазоблачившись, то есть потеряв местоимение «вы», ты сам пока что прогуливаешься. К набережной подступает эллипсоидная площадь с окнами разных кафе, с фонтанами и башней маяка, по духу нечто сродни пятака Сан-Марко, но в предреволюционном ключе. Эkleктика вернулась во всех ее апофеозах, вот Александр Блок может здесь на закате собрать толпу: «Ждите кораблей! Ждите кораблей!»

Вздвигаются стены основного сооружения, много рефлектирующего стекла, по нему еще удобнее читать закаты, чем по самим закатам: далеко ли до Апокалипсиса? Отсутствие симметрии. Нагромождение башенок, лоджий, шпили и флюгера. Здесь промелькнут и дожди. Донесется и флейт игра.

Здесьняя публика, привыкшая оставлять в трясине сапоги, возмущается: все построено не по правилам. Конструктивистские кубы перемежаются диалогами арт-деко, вдруг матовым плавником мелькнет козырек бель-эпохи, а там по уступам вскарабкается, пламенея, пучок готики, и тут же с претензией на натуральность вылепляется колоннада ампира и ротонда-рококо. Ноль художественного доверия! Неисправим, как его ни шерсти! Автора! Автора! В деготь и перья! Вынести из города на шесте!

За что? Он ведь хотел как лучше. Еще одна уловка с местоимениями: выбрано самое отдаленное. За аморальность! Да где она? А вы не видите? Вся эта самовыраженческая показуха глубоко аморальна, потому что не моральна! Днем с огнем не найдешь тут и признака нравственности. Нравственность? В этих двусмысленных «кошачьих мостиках», странно выдвинутых углах, неоправданных внутренних авеню, упадочных площадках со столиками? Почему здесь до сих пор не ус-

тоялись устои? Почему иногда все это кажется сделанным из фольги? Почему начинает дрожать, будто в ожидании ветра, какой-то якобы нотой совершенства? Почему люди тут иногда вальсируют не по правилам композиции, а с кем попало? Вот это все вы можете назвать аморальным?

Если бы только это, тайком вздыхает он. Он, он, автор, не вы, не ты и, уж конечно, не я. Персонажи, увы, не только вальсируют. Увы, не все им запишешь в актив. Порой и сплетенки — промуссируют или используют презерватив. В ресторацию вносят золотую стерлядь. Певец поет голосисто. Вместо ужина, однако, начинают стрелять. Подстреливают пианиста. Утром привозят поджаристый хлеб, сыр и вино. На прогулке собаки. Задний двор, однако, подванивает, как хлев. Только что вывезли мусорные баки.

И вдруг я прихожу в восхищение от того, что здесь произошло. Не совершенство, конечно, но шедевр! Эти два понятия не синонимы, господа! Так или иначе, мой романешти почти написан и таковым и останется. Ангр-ну, все романешти всех времен почти написаны, то есть не дописаны до совершенства. В каждом можно прогуляться за милую душу и можно выйти в любой момент: Good riddance!

Однажды, прогуливаясь по своему роману, вы замечаете нечто постороннее: большое количество компьютеров, на которых работают старательные молодые люди с проборами. За их спинами прохаживается мэтр — пиджакец в сельдяную кость, мудрый человеческий лоб, частая смена очков. В ответ на недоуменный вопрос он вежливо, но рассеянно объясняет: «Мы превращаем этот текст в гипертекст, то есть составляем компьютерное меню для расширения и углубления по всем параметрам».

рам. Пример? Извольте. Эти русские или, кто тут, голландцы могут при надобности превратиться в бразильцев. Вводится целая программа мультикультурализма. Таким образом процесс сочинения сливается с процессом чтения. Не нужно волноваться. Да, стартовый текст подвергается деконструкции, но не пропадает. Он в памяти компьютера. Автор как таковой нам не важен, но зато мы можем проследить его мотивации. Иногда, конечно, происходят некоторые накладки, вызванные, возможно, шалостями электронного вируса. Вот, например, только что выскочила странная фраза: «Передо мной излучина, за ней — аэропорт и шляпой нахлобученной архитектурный торт». Какой-то вздор. Ее мы стираем».

У меня вообще-то в собрании сочинений есть книги, написанные непосредственно об Америке. Первая возникла в 1975 году под названием «Круглые сутки нон-стоп». Это было не что иное, как путевые очерки, правда, в моем тогдашнем стиле, с появлением некоего советского псевдоавангардного демона Мемозова и с дивертисментами ТАА (Typical American Adventure).

Настоящее приключение (типично советское) на самом деле происходило в Москве за несколько месяцев до отъезда в Америку. В начале того года я закончил свой главный крамошный роман «Ожог». Сделал 4 экземпляра на пишмашинке и дал читать нескольким ближайшим друзьям. По прочтении собрались, и один из друзей сказал: «Эта штука, старик, не слабее “Фауста” Гёте, а потому надо ее либо закапывать, либо засылать за бугор». Закапывание романов ни к чему хорошему, как показала потом экскавация, не приводит. И не только потому, что под землей рукописи

юкке шаляри ценен! Им заборили

теряют злобу дней, они там и гемоглобин какой-то теряют. ГУЛАГ, из разухабовки Ленин

Значит, за бугор. Значит, надо искать какого-то надежного вольного человека, сиречь иноземца, корреспондента, что ли, а лучше еще дипломата. Я отправился на Профсоюзную улицу, где в маленькой квартирке жила Вильгельмина Славутская, которую все друзья называли Мишкой, солагерница моей мамы. Трудно было поверить, глядя на эту миниатюрную немку в модненьком эфэргешном прикиде, что она отбухала 10-летний срок в ГУЛАГе с последующей ссылкой в Магадане. В этой квартирке, в которой для того, чтобы вылезти из-за стола, надо было поднять не менее трех человек, нередко по поводу прибытия каких-нибудь немецких знаменитостей, вроде Генриха Бёлля или Вольфа Бирмана, собиралась наша литературная компания. Сервировал стол неизменно советский муж Наум, а значит, на столе было в избытке открытых коробок со шпротами и конфет «Птичье молоко».

Мишка к моему запросу отнеслась с исключительным зековским вниманием и очень быстро устроила встречу с сотрудницей австрийского посольства фрейлейн Штраус. Поскольку Мишкина квартира, без сомнения, была под неусыпным вниманием зоркого, хоть и гноящегося глаза, решили, что передавать рукопись здесь не след, а нужно это сделать при совершенно случайной встрече на улице. 24.94. Восток

И вот как-то в худший вариант московской непогоды иду я с «Ожогом» под мышкой то ли по Вернадскому, то ли по Ленину, эдак прогуливаюсь вдоль грохочущей череды московских самосвалов, как вдруг промеж двух таких самосваливающих демонов грязи словно призрак вольной жизни прошмыгивает желтый

СССР и ГУЛАГ с

Литература

«фольксваген» и останавливается прямо у моих колен, погрязших в сугробе.

«Ах, герр Аксенов, что за встреча!»

«Ах, фрейлейн Штраус, you look nice!»

«А вы по-прежнему берете теннис? И по-прежнему на “Динамо”, не так ли?»

«Нам нужно с вами снова сразиться, и в этот раз вы найдете во мне достойного партнера, очаровательная Штраус!»

«Послушайте, Аксенов, варум бы вас не передавайте привет господину Николай Николаевич Годунов-Чардынцев?»

Ну и прочие столичные светскости. Так, поболтав среди грохочущего пустого железа, мы расстаемся. Штраус отважно бросается в череду самосвалов, словно яичный цвет — это самая надежная защита от наезда в бок. Еще несколько мгновений я вижу, как подпрыгивает на заднем сиденье моя заветная штука прозы. Отправилась бедолага в долгий путь, к Врангелям в Калифорнию, ни больше ни меньше. Путешествие это продолжалось, увы, дольше, чем я рассчитывал, но это уже тема другой книги.

Вот о чем будет уместно сказать и здесь, так это о Врангелях. Уже несколько лет прошло к тому времени, как эта семейка повадилась наезжать в СССР. То родители заявляются с ворохами академической литературы, то дочери с их то изящной, то суровой, в зависимости от каких-то поветрий на кампусах, болтовней, то их младший брат возникает в составе баскетбольной команды «Прыжки».

Вообще-то их семейное имя произносится без голосовой W, то есть так же, как в джинсах Wrangler, и это их как бы избавляет от неприятных для подлинно

советского уха созвучий, однако в нашей компании, склонной к несколько рискованному юмору, мы с удовольствием называем их не Ранджелями, а Врангелями.

Все они, уже в нескольких поколениях, являются американскими славистами, или, можно прямо сказать, русистами, учеными и преподавателями, а младшее поколение, конечно, студентами этой сферы, что дает им полное право и вести себя запросто как американские слависты, каковыми и в самом деле они являются. Генеалогическими раскопками в этом плане никто, кажется, не занимается, но если приступить к ним с расспросами, никто из них не будет отрицать принадлежности к славной российской фамилии остзейских корней, которая отнюдь не завершается генералом Петром Вавилоновичем Врангелем, или как его там, последним главкомом Вооруженных сил Юга России.

Впрочем, если не спрашивают, нечего и хвалиться. *Not asked, don't tell*, один из классических принципов американской сдержанности. Однако можно представить себе, как раскроется пасть какого-нибудь московского генерала, если он узнает, что путешественники Ранджели (США) являются потомками «черного барона». Ну, знаете, заквакает генералище, наглость этой белогвардейщины уже переходит все границы!

Одновременно с отправкой «Ожога» у меня в начале того года была и еще одна забота. Чуть ли не год назад завкафедрой русского языка и литературы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе профессор Дин Уорс прислал мне приглашение приехать к ним в качестве *visiting professor'a*. Все мои заявления и подробные описания предполагаемых лекций, что я посылал в Союз писателей, не дали, как говорится, желаемого.

мых результатов. Вообще ничего не дали, ни отказа, ни одобрения. Не дали ничего, кроме недоуменных взглядов. Впрочем, иногда даже некоторых красноречивых гримас. Плюс к тому некоторых резко красноречивых гримас, сопряженных даже с неадекватной дикостью из-под надбровных дуг. Один носитель таких дуг, могущественный секретарь Секретариата, может быть даже заместитель ГС, даже выбежал из-за своего дубового стола, захлопнул дверь в кабинет и яростно обернулся ко мне, словно собирался напасть. «Вы, Аксенов, нас уже три раза за горло брали! Больше не позволим!»

Даже сейчас не могу понять, что этот человек, между прочим супруг милейшей либеральной редакторши толстого журнала, имел в виду. Три раза? За горло? Не помню ни одного раза, тем более за горло.

«Ну, садитесь! Вот здесь, напротив! Смотрите мне в глаза! Неужели вы всерьез думаете, что мы вам дадим добро на путешествие в эту дурацкую Америку? Хотите нас запугать, дя? Не испугаемся! Керзону на его ультиматум ответили решительным “нет”, тем более вас, Аксенов, не испугаемся!»

Выкрикивая эти нелепые фразы, замгенсека и член ЦКК ЦК КПСС иногда бросал некоторые взгляды из-под дуг на меня, но чаще всем честным, простым своим лицом, то есть харей, почему-то обращался в угол, к бюсту основоположника Максима Горького, словно как раз за этим бюстом и было спрятано подслушивающее и записывающее устройство.

Кто-то из опытных товарищей как-то меня учил, что в таких инстанциях иногда срабатывает хорошо разыгранная истерика. У аппаратчиков, видимо, есть какая-то секретная инструкция не доводить до истерики. Писатели народ нестабильный, вспомните Пушкина,

Лермонтова, Есенина, Маяковского, Цветаеву, Фадеева; наши враги могут взять писательские истерики на вооружение.

Надо попробовать, что я теряю? Если они меня сейчас в Америку не пустят, они меня тогда никогда никуда не пустят. Почему я не могу поехать в Америку, если меня туда приглашают лекции читать? Разве это не дань уважения к нашей литературе, к Шолохову, Гладкову, Кочетову, Грибачеву? Вместо того чтобы лорда Керзона тревожить, подумали бы лучше о миллионах! О наших миллионах? Не надо притворяться! Не надо отклоняться от магистрала!

Да, я хочу поехать в Америку! Я там никогда не был! Почему я не могу поехать куда хочу! Почему Габриэла Грация Маркес может поехать, куда она хочет, а я не могу? Я ведь тоже писатель, а не крепостной мужик! Я-вам-не-крепостной-мужик!

И вот после этого надо кулаком по столу. Нет, это слишком. Кулаком по столу может свой, мужиковствующий. А мне надо иначе. Даже в истерике — без кулачищ! Надо по-благородному, как лорд Керзон, ладонью по столу, всей ладонью, сильно, так, чтобы вся медь социализма задрезжалась на столе, но не кулаком, то есть без увечий!

Начальник сидел с полупроглотом собственного языка. Такой формулировки он еще не слышал: «Я вам не крепостной мужик». Да как он может такое говорить, этот Акс? А может, может? Где-то слышал? Он ведь вхож, по домам шляется. Не подхватывать, не заострять! Перед нами, товарищи, умный, хитрый, коварный враг. Враг? Это опечатка. Читать — врач. УХК врач. Надо все провентилировать на этажах, прежде чем говорить. Ну, чего уж так психовать-то, Василий? Ведь

мы же все писатели, нервы у всех слабые. Ладно, те три раза забудем, попробуем заново.

Звонит в колокольчик. Елизавета Куприяновна, давайте-ка чаю ВП, нашего хорошего настоящего, с подмигом — лордкерзоновского чаю. А может, еще и коньячку? Коньячку по-клемансовски, а? По-писательски, лады? Ну что эта Америка, большое дело. Хочешь в Америку, почему нет? Ведь мы скоро с ней, с твоей Америкой на орбите со-сты-куем-ся, верно? Позвони мне завтра, напрямую, вот телефон, или денька через три, лады?

Майя мне говорит: «Чем ходить в этот убожеский Союз писателей, ты бы лучше к Томику Луковой сходил. Она моя соседка и, как-никак, ближайшая подруга дочери вождя». Какого вождя? Самого что ни на есть вождистого, самого броненосного. Говорят, что он даже удочерил Томика, чтобы дочь ни минуты не скучала. Ну, хочешь я с ней договорюсь? Мы с ней собак гуляем.

К Томику Луковой я пришел с книжкой рассказов. Прямо при ней сделал надпись: «Томику Луковой со взглядом в будущее!», то есть, как надо, с неясным смыслом. Дева возлежала передо мной на диване с собачкой и двумя своими ногами. Зрелище недурное. Битый час она рассказывала об общем друге Модесте, которому помогла с бюджетом и поездкой, с точностью до микрона высчитав время и место для выхода на ПН со ссылкой на ЮВ, коего в конечном счете перекрывал ЛБ. Так, инициалами, она называла главных вождей, которых боялся весь наш народ.

Прочтя мою дарственную надпись, она туманно улыбнулась, ладонью провела по длинному бедру. Круглый ее глаз вдруг сузился, как бы прицелился на друга Модеста и Майи.

«В стол что-нибудь пишете?»

Я пробормотал, что бывает.

«Держите наготове», — мадам Помпадур Москвы, Томика Лукова, лукаво погрозила пальцем.

Через несколько дней в ресторане ЦДЛ ко мне подсел Гоша Ячков, смуглый ухмыльчивый литературно-киношный интеллект, о котором в московских клубах говорили «вы с ним поосторожней». С этой расхожей фразой в наших кругах тоже надо было быть «поосторожней». Если человек читает западные книги в оригинале, совсем необязательно считать его стукачом. Образованных людей все-таки с каждым годом становится все больше, самиздат и тамиздат в этом огромном городе, похоже, выходят из-под контроля, тысячи творческого люда болтают без стеснения, что в голову придет; в этих условиях традиционная фигура стукача становится своего рода анахронизмом. В обществе, где все уже согласилось с тем, что нами правят злобные дураки, что может доложить стукач?

Я смотрел на долголетнего знакомого Гошу и думал, как всегда, что, если даже его когда-то и вербанули, это не значит, что он делает зло своим приятелям. Видно, между прочим, что жизнь у него несладкая: сколько лет уж таскает этот замусоленный вельвет, слишком пьет, с недостатком зарабатывает, видно, что пытается все время что-то преодолеть, в хороших еврейских глазах застоялась какая-то мука.

Он заговорил об американской повести «Рэгтайм», которую я недавно перевел для журнала «Иностранная литература». Разумеется, он читал и оригинал. И отдавал предпочтение переводу. «Ты какую-то свою собственную интонацию внес в это сочинение», — сказал

он. «Вот там, например, когда ирландцы-пожарники говорят с хохлацким акцентом, это класс. Ты, вообще-то, бывал в Америке? Нет? Но вроде собираешься, это правда?» Ну вот, все-таки начинается, подумал я. Выспрашивает. Глаза опущены. Посмотрел ему на кончик носа, клевавший поверхность пива.

«А ты, Гоша, там бывал? Или только собираешься?»

Он поднял свои страдающие глаза.

«Не бывал и не собираюсь». Проверил взглядом, прочел ли я то, что было сказано в этой короткой фразе. Потом усмехнулся. «Знаешь, я так много читал об этой стране, что иногда кажется, будто я там бывал». Он стал с натужным оживлением говорить о том, что, как наяву, видит, скажем, маршрут Холдена Колфилда, не говоря уже о героях кэпотовского «Завтрака», да вот и из этого «Рэгтайма», просто видит ту библиотеку, где забаррикадировались негры... Потом оборвал болтовню, посмотрел по сторонам — никто к нам не направлялся — и произнес мрачным тоном:

«Тобой интересуется один генерал».

«Это что за генерал?» — спросил я.

«Его имя не произносится», — сказал он.

«Чем я его заинтересовал?» — спросил я.

«Он знает о твоём романе», — сказал он.

«О каком? У меня их несколько».

«О последнем, о твоей “нетленке”».

Так, отметил я, название им вроде бы неизвестно, иначе было бы сказано. Никогда не упустят случая показать всеведение. В этот момент меня посетила мысль, злокозненная по отношению к безымянному генералу. Дело в том, что почти одновременно с «Ожогом» я закончил другой роман, поменьше, под названием «Золотая наша железка». В нем не было ничего

антисоветского, кроме авангардной формы и несоветской жизни научной молодежи, построившей на сибирском болоте городок с институтом физики, ЗНЖ. В «Юности» его зарубил Полевой, и теперь я не знал, что с ним делать. Теперь, подумал я, «Железка» может прикрыть «Ожог».

«Ты ведь, кажется, был у Томика Луковой?» — спросил Гоша. «Знаешь, она довольно толковая девка. У нее действительно есть выход ...mmm... в поднебесные сферы». — «Равно как и в преисподнюю?» — спросил я.

Он закончил с нарочитостью: «Можно и так! Почему бы и нет?»

На том мы и расстались. Впоследствии, в течение моих последних пяти лет в Советском Союзе, этот печальный посланец или, лучше сказать, «порученец» время от времени появлялся у Майи с какими-то неясными сигналами. Не знаю, чего он больше нам принес, вреда или пользы, но это, собственно говоря, тема не этой книги.

Вот говорят, от романов толку никакого нет, если не напечатаны. В Советском Союзе не совсем такая была ситуация. Там за ненапечатанный роман могли и со свету сжить («Ожог»), могли и в Америку отпустить («Железка»). Не прошло и недели, как я отвез последнюю Томику Луковой (все та же поза на тахте, сужение и расширение круглого глаза, поглаживание хвоста), и вот среди бела дня в среду, нет, вру, в четверг звонят из Кремля какие-то ее инициалы, если не ошибаюсь, ЛБ и ЮВ. Выражают полнейший восторг сочинением. Большая творческая удача у вас, дорогой. Жизнеутверждающая книга, животворные характеры и, что характерно, никакой антисоветчины. Конечно, для

печати еще не созрела, Полевой прав, нужно подождать пару-тройку годиков, а вот в Америку даем вам добро. Уверены, что с честью пронесете звание советского писателя и с возвращением не задержитесь. Завтра на свежую голову (шутка!) отправляйтесь к этому вашему замгенсека, который с ультиматумом Керзона погорячился. Там у него может оказаться еще один наш товарищ, вы не смущайтесь.

На встрече товарищ этот сидел в глубине кабинета, рядом с бюстом Максима. В беседе почти не участвовал, но смотрел внимательно сильно застекленными глазами и постоянно оправлял манжеты с бриллиантовыми запонками. Другой бриллиант, покрупнее, сиял у него в галстучной заколке. Что это за странность такая: камни явно настоящие, а вот сам человек под вопросом. Кто там у них, на этажах, может демонстрировать такую роскошь? Вдруг меня осенило: не иначе как тот самый генерал, чье имя не произносится!

Писательский замгенсека от его присутствия весь заерзался, весь пошел вразброд, какую-то стопку бумаги положил перед собой, суматошно как-то в нее заглядывал; что это там у него, уж не моя ли «Железка»?

Безмянный товарищ даже на часы (золотой Rollex и тоже не без камушков) посмотрел: что, мол, это как-то нелепо затягивается. Как-то, мол, обескураживающе у этого товарища Резервуарова очко играет.

«Ну, что ж, начнем, товарищи?» Резервуаров вел себя неадекватно. Предложил товарищам начать, а сам опять в бумаги нырнул, прыснул смешком, укоризненно мне покачал головой: экий, мол, шалун. Потом все же начал. Мне оказано высокое доверие. Его нужно оправдать. Секретариат надеется, что Аксенов не под-

качает. Противоречивые писатели ведь тоже люди, наши советские люди. Вы оба будете в зоне внимания нашего посольства.. «Оба?» — спросил я, глядя на безымянного. Тот пожал плечами.

«Конечно, оба», — заторопился Резервуаров. «Ведь вы же едете в составе делегации, товарищ Аксенов. Да, писательская делегация из двух членов, вы — член делегации и товарищ Терехов, член нашего секретариата и глава делегации. Ведь это же естественно (он чуть было не назвал неназываемого, но все-таки не назвал), не так ли? Так и американцы поступают, направляют делегацию из двух. Вот Стейнбек с Олби приезжали, Стейнбек — член, а Олби — глава, не так ли?»

«Я вижу, поездка все-таки срывается, так?» — спросил я у безымянного. Тот встал, оправил манжеты, галстук и посмотрел на часы. «Послушайте, товарищ Резервуаров, Аксенов едет в университет лекции читать. В этой диспозиции товарищ Терехов может произвольно стать балластом, что в обстановке детанта будет звучать как нонсенс, не так ли?»

Замгенсека тоже уже стоял едва ли не навтыжку. «Да-да, это, пожалуй, правильная поправка. В обстановке детанта Балласт — это нонсенс. Целиком и полностью».

Безымянный повернулся ко мне:

«А у вас, Аксенов, уверен, хватит рациональности, чтобы не выступать там по радио “Свобода”, не так ли?»

Вот так при помощи различных учреждений Советского Союза возникла моя первая книга об Америке. Забыл еще упомянуть один таинственный дом или, скорее, чертог, именуемый «Выездной комиссией». Ни я, ни кто-либо другой из писателей нашего круга никогда там не был, хоть иногда и «выезжали». Стало

быть, помимо ЦК, КГБ, СП СССР, МИД СССР, была еще и отдельный дом-сундук, где накапливалась «выездная» информация и подписывались бумаги. У Майи в связи с ее принадлежностью к околोकремлевской светской жизни был знакомый важный чин в выездной комиссии. Однажды она слышала, как он говорил в компании: «У нас у всех дрожали руки, когда подписывали бумаги на этого Аксенова. Черт его знает, а вдруг не вернется?» Хитрая Майя ничего не сказала, хотя прекрасно знала, что «этот» вернется.

Иногда я включаю «Круглые сутки нон-стоп» в сборники прозы. Всякий знает, должно быть, что это название является производным от знаменитого ритма «Rock, rock, the round o'clock». Сейчас, когда я читаю этот текст, чтобы отобрать пассажи для книги об «американской кириллице», я спрашиваю себя: сколько лет было тогда автору? Путевая сия повесть удивляет каким-то странным молодым легкомыслием и даже игривостью, как будто у автора нет за плечами 43 лет жизни, разрушенного детства, жалкой юности, множества, казалось, безвыходных тупиков, да и вообще всей тягостной, советской мутотени, включая также и совсем свежие унижительные интриги по «выезду».

Даже фотографии той первой американской поры отличаются какой-то ненамеренной, и тем более от этого странной, моложавостью, недозрелостью, курьезной молодцеватостью; таков и текст. На тебя смотрит не 43-летний мужик, а некий калифорнийский повеса, уж никак не выше «тридцатника», вполне соответствующий обравшимся на фотку молодым Врангелям.

Позднее, разбираясь сам с собой, я понял, что те два месяца в Калифорнии были, быть может, самым

беззаботным временем моей жизни. Очевидно, мной владела тогда не вполне адекватная эйфория вольноотпущенника. Да и вообще, я действительно был еще молод. Что такое 43, вернее, почти 43? Это молодость. Чем дальше уходишь в клочковатость возраста, тем моложе твои 43.

Все-таки я решил включить в эту книгу несколько фрагментов из «Нон-стопа». Хотя бы потому, что это моя первая книга об Америке. Сугубо об Америке, ни о чем больше. Проблемы, там затронутые, устарели, многие вообще отсеялись, образы, однако, виды, glimpses, промельки, словесная фотография, разрозненные мазки маслом, расплывчатые акварели, весь налетевший тогда на меня импрессионизм, чем-то сродни тому, что испытал в баре тегеранского отеля коммодор Толли, — пока не выцвели.

Дин загнал свой любимый «порше» в гараж, исчез и вскоре приплыл на «корабле пустыни», двести пятьдесят лошадиных сил, автоматическая трансмиссия, эр кондишн. В последней штуке, собственно говоря, и был весь смысл замены — как ехать через пустыню без кондиционера?

Увы, «штука» сломалась, мы опустили все стекла в «олдс-мобиле» и ехали через пустыню не в условном, а в настоящем сорокаградусном воздухе, которым дышали пионеры, когда брели за своими повозками в ту сторону, откуда мы сейчас летели на лимитированной скорости пятьдесят миль в час, ни больше ни меньше.

...В горячем воздухе, что валится на тебя сквозь окна машины, ты можешь хотя бы слабо представить себе самочувствие пионеров, шедших день за днем по этой серой, колючей, бескрайней земле, меж выветрившихся известняковых холмов-истуканов, в дрожащем мареве Невады, мимо однообразных призраков деревьев джошуа, день за днем, пока не открывалась перед ними блаженная Калифорния, the promised land, земля обетованная.

Лос-Анджелес. Город Ангелов. Не путать с городом Архангелов.

Вот мое первое утро в этом городе. Постараюсь описать перекресток Тивертон-авеню и Уилшира с теми предметами, которые запомнились.

На перекресток этот выкатывается еще несколько улиц с незапомнившимися названиями, таким образом, получается что-то вроде площади. Слева от меня бензозаправочная станция Шелл, чуть подальше станция Эссо, по диагонали напротив станция Аполло: все такое белое, чистое, белое с синим, белое с красным, белое с желтым, вращаются рекламы нефтяных спрутов, висят гирлянды шин. *О оторого за проче...*

Далее. На перекрестке этом не менее десятка светофоров, часть на длинных дугах, часть на столбиках. Пешеходы дисциплинированные, но если ты вдруг зазевался и пошел на красный, это еще не означает, что ты обречен. Закон штата Калифорния похож на знаменитый закон американской торговли: «Pedestrian is always right»¹. *У...*

Итак, какие предметы я перечислил на нашем перекрестке? Газолиновые станции, рекламы, шины, светофоры, кофе-шоп, автостоянку, мотоциклы, ящики с газетами, пальмы, банк, итальянский ресторанчик, небоскреб, рекламу морской пехоты.

Какие предметы я забыл перечислить? Почтовый ящик с белоголовым орлом, здоровенный, как трансформаторная будка, бесшумные раздвижные ворота, за которыми — пасть в подземный многоэтажный паркинг, ярко-зеленые лужайки вдоль Тивертон-авеню и несколько спринклеров, разбрызгивающих искусственный дождь и развешивающих маленькие радуги... ей-

¹ Пешеход всегда прав = Покупатель всегда прав (англ).

Шумит листва. Мигают звезды. Стало быть, дневные мгновения докатились до мгновений ночных.

Вдруг вижу, из «Джека» выскочил паренек с тремя подносами, на них дымящаяся еда. Несколько ловких движений — и подносы присобачены к бортикам автомобилей. И в автомобилях тоже обнаруживаются живые люди, приподнимаются из кресел, высовываются из окон, жуют.

Ободренный этими явными признаками жизни, я заворачиваю за угол и снова вижу нечто человеческое: некто в белом прыгает и бьет голыми ногами в грудь другого в белом. Тишина, молчание: все за стеклом. Школа карате.

Чуть повертываю голову — за другим стеклом десяток джентльменов в сигарном дыму вокруг массивного стола: совет директоров какой-то фирмы.

Где-то хлопнула дверь — красноватый свет отпечатался на тротуаре, долетела рок-музыка, замелькали тени, из каких-то грешных глубин выскочила группа молодежи, поплюхались в автомобили, взвыли, отчалили, влились в бесконечный traffic¹, дверь захлопнулась — тишина, безлюдье... Длинный ряд домов с табличками «For rent, no children, no pets»², звезды шуршат в королевских пальмах... Вдруг близко скрип рессор, скрип тормозов, скрип руля — из-за угла выползает «желтый кеб», огромный «кадилак» выпуска 1934 года с надписями на бортах «Содом и Гоморра». Из окна молча и неподвижно смотрит лицо неопределенного пола, одна щека красная, другая зеленая.

¹ Уличное движение (англ.)

² Внаем, без детей, без животных (англ.)

Однажды мы вдвоем с Лесли Врангель отправились в Лонг-Бич осмотреть музейный лайнер «Куин Мэри»¹. Прошлявшись несколько часов по палубам, залам и коридорам британского гиганта, отправились восвояси, запутались в светофорах, в разных бесчисленных «рэмпах», в дорожных надписях и заблудились.

Неведомая и невероятная местность вдруг открылась нам. Во все стороны света до самого горизонта простиралась индустрия: порталы и мостовые краны, доки, ржавые громады покинутых кораблей, башни теплоцентралей, яйцеобразные, шарообразные, чечевицеобразные емкости газгольдеров, светящиеся плоскости загадочных мануфактур, мешанина железнодорожных путей, мачты энергопередач, кишечник труб, провода, тросы, кабели словно хаос вычесанных волос, ползущие в этом хаосе вагонетки и монотонно, но многомысленно качающиеся наносы нефтяных скважин, и горы автомобильных отбросов, и конечно же штабеля затоваренной бочкотары — и ни одной живой души...

Повсюду были дымы, багровые, оранжевые, зеленые, желтые, явные яды, а любимое наше светило, закатываясь в эти дымы, напоминало главный яд, резервуар всех страшных ядов.

И ни одной живой души — ни кошки, ни собаки, и даже чайки сюда не залетали из недалекого океана...

Живые души проносились в своих спасательных пузырях-автомобилях по выгнутым дикими горбами фривэям, а бетонные эти ленты, выгнутые горбами и пересекающиеся в разных плоскостях над неорганической страной, еще сильнее подчеркивали атмосферу нежизни.

¹ Бывший флагман атлантического флота, купленный сейчас городским управлением Лонг-Бича.

Мы катили через эту страну час или два, кружили и петляли, стараясь выбраться на Пасифик Коуст хайвэй. К счастью, бензина в баке было достаточно, и мы выбрались.

БЕРКЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Знаменитый профессор Саймон Карлинский как-то рассказывал на парти у Врангелей:

— Тревожное было время, господа, и не совсем понятное. Однажды читаю я лекцию, и вдруг распахиваются в аудитории все двери и входит отряд «Революционеров». Впереди черный красавец, вожак. «Что здесь происходит? — гневно спрашивает он. — Засоряете молодые умы буржуазной наукой?» — «Позвольте, — говорю, — просто я лекцию читаю по тематическому плану». — «О чем читаете?» — «О русской поэзии, с вашего позволения». — «Приказ комитета, слушайте внимательно: с этого дня будете читать только революционного поэта Горького, и никого больше!» — «А Маяковского можно?» — «Оглохли, проф? Вам же сказано — только Макса Горького, и никого больше!» — «Однако позвольте, но Алексей Максимович Горький больше известен в мировой литературе как прозаик, в то время как Владимир Владимирович Маяковский...» Они приблизились и окружили кафедру. Голые груди, длинные волосы, всяческие знаки — серп-и-молот, буддийские символы, и крестики, а главное, знаете ли, глаза, очень большие и с очень резким непонятным выражением. Нет, не угроза была в этих глазах, нечто другое — некоторое странное резкое выражение, быть может, ближе всего именно к солнечной радиации... «Вы что,

не поняли нас, проф?» — спросил вожак. «Нет-нет, сэр, я вас отлично понял», — поспешил я его заверить... Между прочим, ба, как интересно! — прервал вдруг сам себя профессор. — Вы можете сейчас увидеть героя моего рассказа. Вон он, тот вожак!

Профессор показал подбородком и тростью — слегка.

Мы шли по знаменитой Телеграф-стрит в Беркли. Здесь еще остались следы бурных денечков: в некоторых лавках витрины были заложены кирпичом. Витрины этой улицы оказались, увы, главными жертвами «революций», безобиднейшие галантерейные витрины. Я повернулся по направлению профессорской трости и увидел приятного парня. Он сидел на тротуаре в позе «лотос», мягко улыбался огромными коричневыми глазами и негромко что-то наигрывал на флейте. Улыбка, казалось, освещала не только лицо его, но и всю атлетическую фигуру, обнаженный скульптурный торс и сильно развитые грудные мышцы и грудину, на которой висело распятие. Свет улыбки лежал и на коврик перед флейтистом. На коврике были представлены металлические пряжки для ремней — его товар. Рядом, склонив голову, слушая музыку, сидела чудакватая собака, его друг.

Я тоже прислушался: черный красавец играл что-то очень простое, лирическое, что-то, видимо, из средневековых английских баллад.

— Вы видите, он стал уличным торговцем, — сказал профессор. — Многие наши берклийские «революционеры» и хиппи стали сейчас уличными торговцами.

Я посмотрел вдоль Телеграф-стрит, на всех ее торговцев и понял, что это, конечно, не настоящая торговля, что это новый стиль жизни.

На обочине тротуара была разложена всякая всячина, кожаные кепки и шляпы, пояса, пряжки, поясные кошельки, джинсовые жилетки, поношенные рубашки US, Air Force¹ с именами летчиков на карманах (особый шик), брелоки, цепочки, медальоны и прочая дребедень. Торговцы, парни и девицы, сидели или стояли, разговаривали друг с другом или молчали, пили пиво или читали. Одеты и декорированы они все были весьма экзотично, весьма карнавально, но вполне по нынешним временам пристойно и чисто и, собственно говоря, мало отличались от нынешнего калифорнийского beautiful people². Правда, все они курили не вполне обычные сигареты, и не вполне обычный сладковатый дымок разведал океанский сквознячок вдоль Телеграф-стрит, но, впрочем...

В то время, когда одни бунтовали, другие ныряли в иные неземные и невоздушные океаны, делали trip, то есть отправлялись в «путешествие» к вратам рая. LSD открывал истину, как утверждали его приверженцы. В газетах то и дело появлялись сообщения о том, что очередной хиппи принял эл-эс-ди, вообразил себя птицей и сыграл из окна на мостовую.

Несколько лет назад девушка из нашей лондонской компании шестьдесят седьмого года писала мне:

«Ты знаешь, у нас образовалась family, семья, и это было очень интересно, потому что все были очень интересными, все понимали музыку и философию и, конечно, делали trip.

...Мы были на острове Сен-Лоренцо в доме Джэн Т, которую ты, к сожалению, не знаешь. Мы все лежали

¹ США, военная авиация (англ.).

² Красивый люд (англ.).

по вечерам на пляже и старались улететь подальше от Солнечной системы.

Однажды наш гуру Билл Даблю сказал, что его позвал Шива, и стал уходить в море. Мы смотрели, как он по закатной солнечной дорожке уходил все глубже и глубже, по пояс, по грудь, по горло... Всем был интересен этот торжественный момент исчезновения нашего гуру в объятиях Шивы. Многим уже казалось, что они слышат зовы богов. Мне тоже казалось, кажется.

Но Билл не исчез в объятиях Шивы, а стал возвращаться. Он сказал, что, когда вода дошла ему до ноздрей, он услышал властный приказ Шивы — вернуться!

Конечно, наша family после этого случая стала распадаться, ведь многие стали считать Билла Даблю шарлатаном. Я тогда с двумя мальчиками уехала в Маракеш, а потом, уже в 1971 году на фестивале в Амстердаме, ребята сказали, что Билла убили велосипедными цепями в Гонконге, в какой-то курильне. Все-таки он был незаурядный человек...»

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР

Парень в выцветшей майке с надписью «№ 151849, заключенный строгого режима» — настоящий артист. За спиной у него барабан, он играет на нем с помощью ножной педали. В руках гитара. Под мышкой бубен. Губная гармошка закреплена перед ртом на зажиме.

— Обвяжи желтую ленту вокруг старого-старого дуба, — поет он, а следующую фразу гудит на губной гармошке. Звенит гитара, бренчит бубен, ухает барабан.

Слушателей много, они подхлопывают в такт, бросают монетки в раскрытый гитарный футляр. Девушка, подруга артиста, бродит в толпе с кружкой:

— Для музыканта, сэр. Благодарю. Вы так щедры!

Я смотрю на музыканта, ему лет тридцать, и на лице его уже отпечатались следы юношеских безумств. Да ведь это же Ронни, из нашей лондонской компании 1967 года, наконец понимаю я, тот самый мой пылкий Ронни, дрожащий от земного электричества, взведенный и торчащий в зенит гладиолус из лондонских асфальтовых оранжерей.

— Ронни, это ты? Ронни, какое странное настроение. Твоя молодость уходит, а я грущу по ней, как по собственной, по которой давно уже отпустил.

Он улыбается, ищет взглядом в толпе, находит и еще раз улыбается широко и сердечно, так, как он, наверное, раньше, в эпоху своих манифестов, не улыбался. Потом он играет несколько тактов на губной гармошке, откидывает голову и поет, улетая гортанным голосом за лондонские крыши, песенку «The questions of sixty seven, sixty eight».

ЛЕСЛИ ВРАНГЕЛЬ ДЕЛАЕТ ПОКУПКИ

В магазине пусто. Играет какая-то внутривенная музыка. Красавец продавец с соломенными выгоревшими волосами приветливо улыбается:

— Хай, фолкс!

— У вас есть сейчас «мараска»? — спрашивает Лесли.

— Мараска? — Красавец вдруг мрачнеет, как бы что-то припоминает, драматически покашливает. —

Боюсь вас огорчить, леди, но Мараска уже неделю не заходила.

— ?

— Да-да, просто не знаю, что с ней стряслось. Мы все весьма озабочены. А вы давно ее не видели?

— У вас есть, однако, ликер «мараска»? — терпеливо спрашивает Лесли.

— О, леди! Вы спрашиваете ликер? — Радостное изумление, восторг. — Этот всегда в наличии.

На прилавке появляется маленькая черная бутылочка. Цена ерундовая — доллар с полтиной.

— Все? — спрашивает Лесли, глядя прямо в глаза красавцу.

— Да, это все, — вздыхает продавец.

— А завернуть покупку?

— О, леди! Быть может, вы сами завернете? У меня сегодня все как-то не заворачивается.

Продавец патрицианским жестом выбрасывает на прилавок кусок прозрачного изумрудного целлофана.

— Вы полагаете, что я сама должна завернуть?

— Леди, это было бы чудесно!

Совершенно доверительно — свои же люди — продавец подмигивает мне: вот, мол, сейчас будет хохма!

Мисс Врангель, слегка — слегка! — сердясь, неуменно заворачивает покупку. Получается довольно уродливый пакет. Продавец с маской сострадания на лице отнавливает ее:

— О, нет-нет, мадемуазель (теперь уже почему-то по-французски), мы не можем этого так оставить. Это было бы вызовом здравому смыслу. Позвольте уж мне вмешаться.

На сцене появляется теперь огромнейший, в пять раз больше первого, кусок целлофана изумительной

красоты. Продавец превращается в художника, он демонстрирует нам вдохновенный творческий акт превращения прозрачной пленки в огромный замысловатый букет, подобие зеленого взрыва. Он что-то бормочет, смотрит издали на свое творение, возвращается, добавляет еще ленточку, еще цветочек. Наконец, скромно потупив глаза и как бы волнуясь:

— Пожалуйста, леди. Готово.

Мы выходим.

— Сан ов э бич! — смеется Лесли. — Вечно играет.

Я внимательно смотрю на нее, похоже, что они оба что-то тут разыграли.

По пляжу проходит молодой парень. Сделает шаг и останавливается, чтобы все полюбовались его фигурой.

— Какой самовлюбленный дурак, — заговорили мы о нем. — Эдакий индюк! Сколько извилин надо иметь, чтобы превратить себя в такую модель!

Вода, как известно, очень хорошо резонирует звук, но мы говорили по-русски и не понижали голосов.

Тем не менее парень, видимо, понял, что говорят о нем, приостановился, поднял руку, полностью уже превратившись в скульптуру, улыбнулся и сказал:

— Hi, everybody!¹

Улыбка была простодушна, мила и сердечна. Молодое лицо с выцветшими волосами и усами на вершине столь могучего тела, казалось, выглядывало из башни. Мы были пристыжены — вовсе он оказался не индюком, этот парень.

— Вам лайфгард² не нужен? — спросил он.

¹ Всем привет! (англ.)

² Lifeguard — спасатель (англ.)

— Спасибо, сэр. Пока что не нужен, — ответили мы. — Извините.

— Все в порядке, — еще шире улыбнулся он. — А вот вы, сэр, — он кивнул мне персонально, — у вас такой потрясающий акцент. Откуда?

— Из Советского Союза.

— Май гуднесс! — Улыбка залила уже все его лицо. — Линк ап! Стыковка! Это просто великолепно! Между прочим, там у вас лайфгард не нужен?

— Не знаю, — сказал я. — Может быть, где-нибудь нужен. Не исключено.

— Значит, в случае чего звоните. — Он присел на корточки, казалось, кожа у него сейчас лопнет, и написал на песке пальцем номер телефона. — Спросите Эрни. Вообще, это касается всех, конечно. Если кому-нибудь что-нибудь надо, пожалуйста, спрашивайте Эрни Дроздовски.

САНИТАРНЫЙ ГОРОД ФРАНЦИСКО

Однажды мы сидели на крыльце дома профессора Уортса и смотрели на его кота Силли, которого иногда называют и более торжественно — мистер Силли Шопенгауэр.

— Ты не cat, Силли, — говорил я коту. — Какой ты cat? Ты самый обычный типичный кот.

Мистер Силли Шопенгауэр загадочно молчал. Он недавно сожрал птичку, сволочь такая.

Хозяин дома Дин Уортс, между прочим выдающийся лингвист, тогда сказал:

— Ты, знаешь ли, недалеко от истины. Слово «кошка» очень давно уже известно в Калифорнии. Индей-

цы, которые жили в районе Сан-Франциско, кошку называли «кушка», ложку — «лужка», вообще у них была масса русских слов в лексиконе. Вот ты едешь сейчас, сам увидишь и кушку, и лужку.

И впрямь самый русский из всех американских городов — это, вы уж меня простите, тот самый Санитарный-город-Франциско.

Дул очень сильный и холодный ветер, а солнце сияло. Тепло было только на площади Юнион-сквер, зажатой небоскребами. Там на углу, на самой толчее, стоял черный саксофонист и надавал жару. Мы грызли теплые орехи, бросались к каждому автомату hot drinks, чтобы выпить горячего кофе, кутали звезду нашей компании четырехлетнюю красавицу Маршу.

Ах, как дьявольски красиво, как прельстительно, как чудесно было на этих холмах, по которым со звоном тащится старинный кейбл-кар, канатный трамвайчик, и над которыми солнце словно бы кружит, будто бы не может успокоиться, а выскочив из-за очередного алюминиевого гиганта, бьет по крышам машин, словно бикфордов шнур, поджигает от вершины холма до подножия.

Джек-лондоновские места, пуп мирового приключения... «В последний раз я видел вас так близко, в пролете улицы вас мчал авто, и где-то там в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подавал манто...»

Ни притонов, ни лиловых с манто вокруг мы не видели. Мы шли к океану, к рыбацким причалам есть лобстера.

На причалах возле знаменитого ресторана «Алиото» в огромных чанах варят крабов, креветок, и тут же развеселая толпа их поедает. Многоязыкая толпа,

в которой то и дело почти так же часто, как delicious, слышалось «вкусно».

Все в толпе оборачивались на наших красавиц, на Маршу и ее маму, тоненькую смуглую Сэсси с серебряными искрами в кудрявой голове. Лик чудесной Сэсси, черной родственницы Врангелей, сиял красотой и добротой.

Давно я уже заметил, что у всех негритянских женщин лица отличаются добротой. Мужчины-негры бывают разные, как и подобает мужчинам, и добрые, и злые, и приветливые, и резкие. Женщины же все, и наша Сэсси не исключение, выражают добро и привет, как, собственно говоря, и подобает женщинам.

Мне всегда нравились черные люди, но в Африке я еще не был и до приезда в Америку не предполагал, как много среди них настоящих красавцев и красавиц. Наша Сэсси даже в этой среде была ультра!

— Эй, красивая женщина! — говорила по ее адресу довольно бесцеремонная толпа на рыбацких причалах.

— Не только она! Не только мамми! — кричала, подпрыгивая, маленькая Марша. — Я тоже бьюти, хотя и кьюти!

Лобстера ели не в таком шикарном, как «Алиото», но в чистеньком ресторанчике, за окнами которого качались мачты сейнеров и ботов, точно таких, на каких бесчинствовали устричные пираты Джека Лондона. Официант-итальянец то и дело произносил «спасибо», «добро пожаловать», «кушать подано».

— Нет, сэр, я не говорю по-русски, но все-таки надо знать несколько слов, если живешь в Сан-Франциско.

Вышли уже в сумерках. Над горизонтом висела огненная полоска знаменитого моста Голден Гейт Бридж. Ветер дул все сильнее. Марша и Сэсси, обе со-

вершено одинаково, повизгивали от холода. Толлер, плечистый, волосато-бородатый мат-лингвист из Беркли, поехал на трамвайчике за своей машиной, которую оставил в паркинге отеля «Хайат». Остальные решили куда-нибудь зайти, чтобы не дрожать на ветру, открыли первую попавшуюся дверь и услышали «Катюшу»:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

В безмянном кофе-шоп возле стойки бара сидел на табуретке здоровенный мужлан в коротких кожаных шортах, тирольской шляпе и с аккордеоном. Конечно, расцветали у него не яблони, а яблоки, но ведь и дома у нас где-нибудь на платформе Удельная в праздники именно яблоки цветут, а не яблони, а туманы и в оригинале плывут с неправильным ударением.

— Bravo! — засмеялась черная русистка. — Bravo! Bravo! Bravo! Русский артист!

— Для пани, — широко осклабился «артист», лучше укрепил свои малосвежие ноздреватые ляжки и заиграл «Лили Марлен».

Так он и пел все время, пока не приехал Толлер, песни по обе стороны фронта, то «Землянку», то «Розамунду», то «Ехали мы, ехали селами, станицами», то «Майне либе энгельхен». Вряд ли случайный был репертуар у этого толстяка, должно быть, вся его судьба за этим стояла.

Мы вышли на улицу. Вдруг оказалось, что ветер стих и стало тепло. Тогда пошли гулять по набережной. Луна уже висела.

Луна уже висела. Залив еще рычал. Вода уже блестела. Пальмы еще трепетали. Память еще искала. Рука уже бродила. Луна еще висела. Залив уже молчал.

— А мы пели русские песни, — похвасталась Сэсси перед Толлером.

— Я тоже знаю одну русскую песню, — сказал умнейший мат-лингвист.

— Наверное, «Подмосковные вечера»? — спросил я, ехиднейший.

— Нет, другую. Вот слушай. — И он запел с сильным акцентом, но математически правильно:

Я всю войну провез шофером,
Курил махру и самосад,
Но дым родного «Беломора»
Никак не мог забыть солдат.

— Странное дело, — сказал я. — Первый раз слышу эту песню. А ведь я знаток массовой культуры.

— А я тоже ее знаю, — сказала Сэсси. — Ее тут многие знают, в Сан-Франциско, эту песенку. — И она запела вместе с Толлером:

Нет, недаром, скажет каждый,
Популярен с давних пор
Средь курящих наших граждан
Эх, ленинградский «Беломор».

Вот тебе на, думал я, такую песню прошляпил знаток массовой культуры. Откуда она здесь? Наверное, какой-нибудь морячок ленинградский завез, а здесь, в Сан-Франциско, такая песенка не потеряется.

Тихая ночь. Чудесная ночь. Тихая лунная ночь после буйного солнечного дня. Тишина, хотя залив еще

рычит или уже ворчит. Мы в Сан-Франциско, а это далеко от табачной фабрики имени Урицкого, и от набережной Фонтанки, и от Моховой, и от Литейного, но с нами, однако, милая Сэсси, прапрапрапрадедушку которой привезла сюда в Америку в кандалах какая-то сволочь, а Сэсси, нежнейшая, влюблена в русских поэтов, во всех сразу, а потому и в Ленинград, и, значит, нити все сошлись опять в один кулачок земной ночи, плывущей с востока на запад, дающей отдых очам, и, стало быть, не забывай этого ни в Сан-Франциско, ни в Ленинграде, потому что ночь опять приплывает, добрая ночь с ниточками разных историй, с общей судьбой в кулачке.

НЕУКЛЮЖИЕ РИТМЫ

Лесли Врангель вышла из телефонной будки.

Бульвар Вествуд
был глух,
как лес.

Красивый люд
давно
исчез.

Она пошла через улицу под желтой мигалкой.

Асфальт — как льдина,
скользит
сапог,

И ветер — в спину,
и пьяный
смог.

Она закачалась — тревожная ситуация!
Но некто — ловок,
как самурай —

Подставил локоть.

О'кей?

Олл райт!

Восстановив равновесие, она пересекла улицу.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОЗЕ

Я был там «профессором», то есть лектором, то есть в каком-то смысле действительно профессором. Это был необычный опыт, необычная среда, и я увлекся этой средой, забыл даже о своей любимой тягомотине — о прозе, то есть почти перестал писать и встреч с американскими коллегами не искал.

В середине июня я отправился из Лос-Анджелеса читать лекции в Стамфорд и далее в Беркли и Сан-Франциско и неожиданно для себя обнаружил, что еду по следам американской литературы.

Кручу баранку «тойоты» все по тому же Пасифик Коуст Хайвей, то есть по шоссе Тихоокеанского берега. Восточнее, в глубине Калифорнии, есть три прочерченных по линейке многорядных фривэя, по ним гораздо легче добраться до цели, но эта дорога живописнее, хотя и трудна, как все живописные дороги. Крутой уклон, крутой вираж, и сразу крутой подъем, и сразу крутой вираж, а за ним сразу крутой уклон и так далее. Очень похоже на дорогу от Новороссийска до Туапсе. Смешно получается, дорога-то красивая, но пейзажем не полюбуешься, если не хочешь сыграть с высоты в океан, и уж тем более не запишешь в актив впечатления, и впечатления получают куцые: рифленая поверхность океана, склон с пластами базальта, далекие сосны на гребне, одна из них похожа на са-

молет... «ограничение скорости»... «сужение»... «обгон запрещен»...

Ужин в ресторане «Натэнэ». Это греческое слово означает что-то вроде «не грусти». До грусти ли, когда такой голод! Ресторан висит над обрывом к океану. Выясняется, что это не что иное, как бывший дом Орсона Уэллеса. Выясняется также, что красная крыша, видная в зарослях внизу, покрывает жилище Генри Миллера. Старый чудак, классик модерна, и сейчас там обитает. Вилка с куском стейка замедляет свой путь от тарелки ко рту, начинает слегка приплясывать.

Ночью делаю остановку в маленьком городке Монтерее. (В этом месте в оригинале «Нон-стопа», чтобы не взбесились московские инициалы, не говоря уже о безымянных товарищах, я не упоминаю, что останавливался в родовом доме Врангелей, построенном еще внуком крымского главкома, преподавателем военной школы переводчиков. С помощью данных скобок объясняю ситуацию современной молодежи, забывшей советскую крепостную систему.) Перед сном вспоминаю: чем знаменит Монтерей (кроме военной школы)? Да, ежегодные фестивали джаза, да-да, а еще?.. Батюшки, да ведь это же город Стейнбека! Да ведь именно здесь он написал свой «Квартал Тортилья Флэт»!

Я встречался с Джоном Стейнбеком и его женой Элен в 1964 году в Москве. Мы все тогда — Казаков, Евтушенко, Вознесенский — ходили со Стейнбеком и драматургом Эдвардом Олби с приема на прием, такая довольно нелепая «светская» жизнь, но как же еще пообщаться писателям? Биг Джон шел по Москве в невероятно длинном и огромном твидовом пальто, казалось, там, в карманах, у него большие запасы всего

самого необходимого: табак, виски, чернила, бумага, сюжеты, метафоры...

— Для чего человеку пуп? — громогласно спрашивал он и тут же отвечал: — Если вам ночью захочется поесть редиски, лучшей солонки не найти!

Иной раз мы останавливались на каком-нибудь ветреном углу под летящим снегом где-нибудь на площади Восстания полшестого.

— Вот мы, Джон, молодые писатели, а вы один из Большой Американской Пятерки, а мы все о мелочах говорим. Расскажите нам, Джон, о Хемингуэе. Вы с ним встречались?

— Трижды. Первый раз он заказывал, второй раз я, а в третий по очереди. Нам трудно было говорить, ведь меня интересуют рыбы размером не больше сковородки.

До сих пор отчетливо вижу большое лицо Стейнбека с морщинами и синими венозными паучками. Он абсолютно укладывался в образ кита американской литературы, смотрел на всех с доброй насмешкой и говорил только о пустяках:

— Когда загорелась старая ферма на опушке леса, искры и головешки с треском стали перелетать через узкий снежный рукав и поджигать деревья. Я заметил с дороги, как выскочила из села волчья семейка, восемь голов, матерые негодяи и несколько щенков. Они увидели скопление машин на дороге, слепящие фары, а сзади был загорающийся лес, и тогда они пошли по снежному рукаву между лесом и дорогой довольно гордо, знаешь ли, вполне независимо и даже с некоторым достоинством, хотя и с закатными между ног хвостами. (Еще одни скобки. На самом деле говорили не о пустяках. В разговоре о волках Стейнбек, не зная

того, оказался близок к Высоцкому. Речь шла о волках и волчатах литературы.)

Несколько лет назад он умер. Горькая невозможная новость — Джон Стейнбек не взялся с «миром иным».

Помню еще одну такую новость, летом 1961 года, когда умер Хемингуэй. Он умер в разгар нашей русской любви к нему.

Я тогда еще где-то записал, на каком-то клочке: как жаль, что это произошло в век радио. Не будь радио и телеграфа, новость тащилась бы к нам на парусниках и дилижансах не меньше трех месяцев, и мы бы лишних три месяца думали, что Хемингуэй жив, а это немало.

В конце своего пути я снова натолкнулся на след американской литературы. Это было в Беркли на все той же знаменитой Телеграф-стрит. С друзьями я попал как раз в тот самый зал, где весной 1956 года Аллен Гинзберг читал свою поэму «Вопль», объявившую миру существование (литературы) beat generation. Слушатели стояли плечом к плечу, а впереди всех, рассказывали друзья, размахивал руками, словно дирижер, Джек Керуак. Здесь были и другие друзья Аллена — Ферлингетти, Корсо, Питер Орловски, но Джек был самый неистовый. Сорвав с кого-то сомбреро, он стал собирать деньги на вино, и когда шляпа заполнилась, вылетел, быть может даже и над головами, и вернулся уже обвешанный оплетенными мексиканскими бутылками.

Бедный Керуак. Жалко Керуака. Никогда не забуду «Джаз разбитого поколения», тот дикий «кадиллак», которым ребята обколотили все стены в Чикаго. Видимо, что-то гибельное есть в таких вот порывах, в та-

ких вот пролетах над головами, в дикой спонтанной прозе, которую никак не остановить. Я знал и дома таких парней, как Керуак.

Нынешний патриарх битников Аллен Гинзберг лет десять назад приезжал в Москву. Он говорил о наркотиках, о заоблачных Гималаях, пел на урду, позванивал маленькими литаврами из штата Керала, которые постоянно носил с собой. Все-таки он производил вполне устойчивое впечатление литератора, профессионала шаманского нашего дела, и, несмотря на необходимые чудачества, в нем виден был вполне надежный и крупный современный поэт.

Странную близость чувствовали мы с американскими писателями нашего поколения. И судьба у нас была разная, и по-разному текла жизнь, но, встречаясь, мы как-то по-особенному заглядывали друг другу в глаза, как будто искали в них какое-то неведомое общее детство.

Мое первое знакомство с современной американской прозой состоялось странной ночью осени 1955 года в Ленинграде. Это была ночь настоящего наводнения, когда вода дошла сфинксам до подбородка. Стоявший тогда на Неве английский авианосец «Триумф» уже начал спускать шлюпки, дабы спасти «и страхом обуялый и дома тонущий народ», но страха не было и в помине, народ тонуть, кажется, не собирался, а наоборот, в эту странную ночь по всему Питеру расплодилось какое-то чуть-чуть нервное, но бодрое веселье и всюду были танцы.

Я, бедный студент романтического направления, как раз шел на танцы, брел по колени в воде по Большому проспекту Петроградской стороны и на площади Льва Николаевича Толстого встретил очень мокрую девушку. Глазищи, помню, были огромные, просто замечательные.

— Я кошка под дождем, — сказала она.

— Похоже, — согласился я.

— Да нет, вы не понимаете, я хемингуэвская кошка под дождем.

В кармане у нее мок довоенный еще журнал с «Кошкой под дождем». Такие девушки тогда встречались на Петроградской стороне.

Через год или полтора появился двухтомник Хемингуэя, и началась его бешеная вторая русская слава. Портреты седобородого красавца в толстом свитере украсили интеллигентские жилища.

Молодая проза конца пятидесятых — начала шестидесятых основательно потаскалась по парижским хемингуэвским бульварам в свите поклонников леди Эшли. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — «Да, хорошо». — «А я себя плохо чувствую». — «Да?» — «Да». До сих пор еще встречаю стареющих молодых людей, что лелеют в душе святыню юности, хэмовский айсберг, на четыре пятых сокрытый под водой.

Когда я первый раз весной 1963-го попал в Париж, он оказался для меня окрашенным, кроме всех своих собственных очарований, еще и хемингуэвским очарованием, быть может самым сильным. Это был не только Париж десяти веков, но и Париж тех мимолетных, быстро пропавших молодых американцев. И почему они казались нам так близки?

Потом у нас появились Фолкнер и Фицджеральд, Белый, Бабель, Платонов, Булгаков, и начался откат от Хемингуэя. По Москве бродило чье-то выражение, звучавшее примерно так: «Хвост мула у Фолкнера дороже всех взорванных мостов Хемингуэя».

Что такое американская проза для нас и входит ли она в русскую эстетическую традицию? Остается

ли она — хотя бы частично — сама собой, теряя свои ти-эйч и инговые окончания, вылетая из своего каменного русла, создающего быстрое течение, и втекая в просторные наши озера, берега которых поросли щавелем, щастьем, плющом?

Стиль американской прозы, ее пластика, ритм, пульсация для русского читателя в значительной степени обращаются качествами перевода, а языки наши исключительно не похожи друг на друга.

Однако и буйволы мистера Макомбера, и утки из Сентрал-парка, и хвост йокнапатофского мула, и тоненькая мексиканочка, встреченная на дороге, и раненый кентавр из Новой Англии — все это входит, вошло уже раз и навсегда в нашу культурную и эстетическую традицию.

Из Лос-Анджелеса через Мичиган и Индиану я перелетел в Нью-Йорк и решил провести там неделю перед возвращением на родину. Я все еще чувствовал себя чудаковатым калифорнийским профессором, но с каждым днем все меньше и меньше. С каждым днем все больше и больше я терял ощущение калифорнийского беспечного beach-bum'a¹ в сумасшедшем Нью-Йорке. Помогал мне в этом молодой поэт Джо Редхэд, т.е. Рыжий, бывший калифорниец, а ныне искатель литературного счастья в Гринвич-вилледже. Друзья из Эл-Эй дали мне его телефон.

— В Нью-Йорке надо обязательно иметь знакомых. Без знакомых в этом Вавилоне пропадешь. Это страшный, страшный, совершенно дурацкий город, населенный психами.

¹ Пляжный бездельник (англ.).

Так говорил мне наш easy-going, «покладистый» калифорнийский пипл, но это, конечно, было сильным преувеличением. Западный и восточный берега США живут в постоянном соперничестве. Западники считают восточников «э литл крэйзи», то есть «чокнутыми», и наоборот.

Забавно, с Редхэдом мы встретились почти как земляки. Он патронировал меня, как будто мы были два паренька-одноклассника из маленького калифорнийского города, но один, то есть именно он, Джо, раньше уехал в столицу, уже поднаторел здесь, стал уже третьим калачом и сейчас вот опекает зеленого кореша. Между тем он был моложе на восемнадцать лет и писал сонеты, обращенные к мраморным статуям. Кроме того, он играл на контрабасе в джазовом клубе «Halfnote»¹, и, между прочим, с немалым мастерством, но без энтузиазма — копейки ради.

Однажды среди ночи телефонный звонок поднял меня в моем «Билтморе» на 42-й улице. Хриплый и картавый голос Редфорда читал обращение к шотландской королеве Марии Стюарт. Я не понимал и трети — витиеватые архаические обороты вперемежку с американской матерщиной.

— Не понимаю и половины, — сказал я.

— Не важно. Главное — я ее люблю! Это, надеюсь, ты понял. Встречаемся завтра в «Рэджи».

«Рэджи» — это значит тоже почти «рыжий». На следующий день я сидел в этом темном маленьком кафе возле Вашингтон-сквер в Гринвич-вилледже. Три девушки хохотали в углу. Официант с равнодушно-презрительной миной разносил по столам кофе-капучино. Ста-

¹ Половинная нота (англ).

ренькая радиола крутила пластинку Боба Дилана. Передо мной в пепельнице дымила сигарета, которую надоело курить. Я чувствовал странную жажду.

По стеклу скатывались вниз дождевые потоки. Ветер, влетая в улицу, иногда швырял в стекло горсть крупных капель. Пузыри валандались в лужах. Я чувствовал жажду.

Пока я летел обратно в Москву, на орбите, в 200 км сверху над нашим «боингом», происходила стыковка «Союза» и «Аполлона». Я представил, как они карабкаются в стыковочной трубе навстречу друг другу.

Стаффорд протягивает руку:

«Полковник Леонов, если не ошибаюсь?»

Леонов, предварительно оглянувшись через плечо:

«Слушай, друг, у вас там найдется лишнее место?»

IV

БЭБИ

БЭБИ
БЭБИ
БЭБИ
БЭБИ

БЭБИ
БЭБИ
БЭБИ
БЭБИ

БЭБИ
БЭБИ
БЭБИ
БЭБИ

Через 10 лет после «Нон-стопа» я начал составлять свою вторую книгу об Америке. К этому времени мы с Майей уже пять лет числились сначала беженцами, а потом почтенными резидентами Соединенных Штатов. Все дальше отходила Москва с ее владыками, «инициалами» Томика Луковой, и теми, кого не принято называть. Сама Томик умудрилась перебраться во Флориду и стать усердной прихожанкой местного православного храма. На Пасху мы получали от нее открытки: «Поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения. Т.А.»; и больше ни слова. Обратный адрес отсутствовал, так что и ответить на поздравление было затруднительно. Подпись тоже была неясна: может быть, Томик Лукова, а может быть, Тамара Лучезарная, кто знает.

Тот человек с избытком бриллиантов на манжетах и в галстучке (по всей вероятности, он как раз и оказался дирижером моего изгнания: приближались времена, когда его ФИО все-таки начали называть — Филипп Иванович Обкомов) в 1975 году предупреждал не зря: изгнанники и перебежчики только тем и заняты, что выступают по «Свободе» и «Голосу Америки».

Так и я каждую неделю сидел перед микрофоном и вещал (в смысле рассказывал о разных вещах) сво-

им друзьям и читателям в СССР. Постепенно у меня набралось несколько ящиков использованных «скриптов». Эва, сказал я себе, да ведь это не что иное, как радиодневник писателя. А почему бы не сделать из этого добра выборку и не составить книгу об Америке под ностальгическим заглавием «В поисках грустного бэби».

Книга, между прочим, удалась. Недолгое время, но все-таки шесть недель она купалась в купели славы «Washington Post best-selling list». А спустя несколько лет, когда рухнул наш великий могучий Советский Союз, она (в оригинале, конечно) стала своего рода путеводителем по Америке для четвертой волны российской эмиграции.

Сейчас я отбираю фрагменты для «Американской кириллицы» опять же по принципу создания вербального калейдоскопа. Enjoy!

ДЕНЬ, КОГДА Я ПОТЕРЯЛ СОВЕТСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Последний день этого путешествия стал довольно важной вехой в моей биографии: 21 января 1981 года после захода солнца я узнал, что не являюсь больше гражданином СССР.

Проснулся я в тот день еще гражданином СССР в мотеле города Юма, что на стыке границ Аризоны, Калифорнии и Мексиканских Штатов. С достоинством, как и предписывает инструкция Управления виз Моссовета, пронес высокое звание гражданина Страны Советов в столовую. После завтрака мы взяли старт на Лос-Анджелес, куда рассчитывали прибыть к вечеру.

Аризонская пустыня сменилась калифорнийской, которая в этих местах лежит ниже уровня моря. Го-

ризонт еще больше раздвинулся. Пески и кактусы по обе стороны прямого, как линейка, хайвэя. «Омега» что-то сильно разошлась, обгоняла чуть ли не все попутные машины. При обгоне очередной я увидел рыжие усы патрульного офицера. Положив локоть на борт, он внимательно и серьезно смотрел на меня. Потом привычным движением поставил себе на крышу пульсирующий красный фонарь. Несколько секунд я еще делал вид, что не понимаю, что это значит, что ко мне это вроде не очень-то относится, потом пошел к обочине. Патрульный «кар» встал сзади. Мы вылезли из машины — я и стройный офицер в униформе цвета хаки с пистолетом на боку. В ярком пустынном небе над нами, словно наши alter ego, парили два орла.

Я подумал: сейчас начнется цирк! У меня нет ни одного американского документа. Как оказался советский гражданин среди калифорнийской пустыни рядом с мексиканской границей? Если бы американца изловили в Туркмении, в двух шагах от Ирана, подняли бы по тревоге весь КГБ. Представляю себе реакцию патрульного на советский паспорт, а потом и на еще большее чудо — советские водительские права! Как все это ему объяснить? Не рассказывать же, в самом деле, историю романа «Ожог» и независимого альманаха «Метрополь». Пока что попробую придуриваться, как в России делал в подобных обстоятельствах.

— Скорость? — спросил я.

Патрульный кивнул. Я начал хныкать в той манере, которую выработал в общении с московскими гаишниками:

— Клянусь, офицер, я всегда вожу в рамках правил. Вот только тут... знаете ли... в пустыне...

— Да, здесь трудно держать лимит, — согласился он.

Я обрадовался: кажется, клюет! Согласно московскому опыту, нужно выделить его участок как особый, ни на что не похожий, исключительно опасный и важный — такова психологическая задача. В случае успеха офицеру и мои исключительные советские обстоятельства не покажутся столь уж подозрительными.

— Впервые еду через пустыню! — воскликнул я. — Удивительное ощущение! Сам не замечаешь, как скорость поднимается до шестидесяти пяти миль в час!

— До семидесяти пяти миль в час, — сухо поправил он, посмотрел на номерной знак и пробурчал: — Ага, Мичиган...

Что это значит? Может быть, с Мичиганом тут у них особые счеты? Может быть, здесь мичиганцам круче приходится, чем советским? Так или иначе, нужно раскрывать национальную принадлежность. Ведь не может же его не насторожить мой акцент!

— Вообще-то мы из России, офицер, из Советского Союза... Это особая история...

— Ваше имя, сэр, — прервал он меня.

Я сказал и добавил вполне нелепо:

— Это, понимаете ли, русское имя. Мы здесь оказались при необычных обстоятельствах...

— Как спеллингуете свое имя?

В ровном тоне патрульного мелькнула легкая досада. Очевидно, мои «обстоятельства» мешали ему осуществлять закон.

Я заученно протараторил свое имя по буквам. О, эти американские спеллинги, сколько эмигрантских языков вывихнуто было на них! Офицер на минуту отвлекся от своей записи:

— Значит, из России приехали, сэр?

— Да, мы из Советского Союза, но мы оказались здесь в силу совершенно особых, исключительных обстоятельств, которые я мог бы объяснить, если бы..

— А вы знаете лимит скорости в Америке? — снова прервал он меня.

— Пятьдесят пять миль в час.

— Вот именно, — сказал он. — Водительскую лицензию, пожалуйста.

Я уныло полез за своей выдавшей вида «коронкой». Необычный вид документа наверняка возмутит патрульного, ведь советские права отличаются от американских не менее разительно, чем «Правда» от «Нью-Йорк таймс». Наверняка он признает мои права недействительными.

— У меня еще советская лицензия, — мямлил я, — однако если учесть особые обстоятельства, о которых я упоминал выше, то при известной снисходительности...

Он невозмутимо рассмотрел мои права и, не задав никаких вопросов, записал семизначный номер. Я присел на горячий капот его «шевроле». Неясное ощущение судьбы витало в воздухе пустыни. Рыжий молодец, похожий на киногероя, которому абсолютно наплевать на мои советские «обстоятельства», осуществляет американский закон об ограничении скорости. Многозначительное парение двух орлов над нашими головами.

— А вот в СССР нет ограничения скорости, — зачем-то соврал я, хотя уже и понимал, с каким бесстрастным центурионом имею дело.

Тут вдруг патрульный сильно обиделся, оторвался от бумаги и посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами.

— Вы ведь сейчас не в России, сэр, правда? Вы сейчас в Америке, так? А у нас здесь скорость ограничена, о'кей?

Точно так же когда-то на меня ворчал киевский милиционер: «Здесь вам не Москва.. тут Киев, понятно?.. Здесь работают киевские правила, так?»

— Оштрафуете меня? — спросил я.

— Не я вас оштрафую, а суд вас оштрафует. — Он протянул мне копию бумаги. — Так и быть, поставил вам шестьдесят пять вместо семидесяти пяти. Поосторожнее в дальнейшем. Всего хорошего!

Он отвернулся, потеряв ко мне малейший интерес, и до меня наконец дошло, что я для него вовсе не подозрительный иностранец, а просто нарушитель скоростного режима, то есть человек как человек.

Есть некоторая все-таки странность в том, что этот знаменательный для меня день начался с волнений по поводу моего сомнительного гражданства и ненадежных водительских прав. Продвигаясь дальше к Тихому океану, я думал о том, что теперь надо ждать еще какой-нибудь гадости (закон парности) и что вторая гадость будет в том же роде, то есть связанная с бумагами, с какими-нибудь провалами, с недостатком каких-нибудь прав или с полным их отсутствием; ведь не с избытком же прав, этого сейчас нигде не допросишься.

К вечеру мы достигли гостеприимного дома в Санта-Монике, и хозяин после первых же приветствий сказал:

— Тебя весь день разыскивают журналисты. Прошу прощения, но Указом Президиума Верховного Совета СССР ты лишен советского гражданства.

СОСЕД

Жизнь в Америке развивает в человеке особого рода дух соседства, связанный, очевидно, с пилигримской традицией, с форпостами европейцев на незнакомом континенте. Вот и я научился симпатизировать тем, кто живет поблизости. Есть тут у меня сосед, можно сказать, притча во языцех по всему миру. Повсюду его вспоминают, и не всегда добрым словом: несдержан, мол, на язык, жестковат, ничего, мол, удивительного — ковбойское прошлое. Мистеры Г. и Ч. в отдаленных краях, те так просто ярятся при его имени. А вот для меня он прежде всего сосед, а это важнее всего остального.

Вот иной раз под вечер некая Морин Баньян, особа, известная в околотке тем, что ежедневно в 6 часов рассказывает «что, где, как, зачем», но никогда не говорит «почему», то есть не обобщает, сообщает про нашего соседа, что он только что вернулся из очередного путешествия. Сосед выходит из самолета и первым делом смотрит, откуда на него направлена кинокамера: профессиональная привычка — вторая натура. Мы с женой, конечно, как и все остальные обыватели, пытаемся сделать выводы — еще больше постарел или еще глубже помолодел? Сосед никогда не забудет бросить на ходу по дорожке от самолета до вертолета пару оптимистических фраз; вот этим он мне определенно нравится.

Мы едем в кино по улице Конституции, а он как раз перелетает эту магистраль по направлению к своему дому. Живот его вертолета скользит над нами, а если вовремя загорится красный свет, можно увидеть, как летательная машина садится на зеленую траву возле

белых колонн. Сосед выходит, салют всему миру — и домой, на боковую! Работа у него нелегкая, но лаун¹ перед домом, надо признать, всегда в хорошем состоянии.

Вопрос такого соседства, как ни странно, весьма интересует моего московского друга, внутреннего эмигранта Фила Фофаноффа, с которым мы переписываемся из Москвы в Вашингтон и обратно посредством почтовых голубей.

Знаешь, пишет мне Фил, мой сосед очень зол на твоего соседа. Понимаешь ли, он разозлился сразу же после того, как твой сосед перешел в нынешний дом, что нынче по соседству с тобой, и заявил во всеуслышание, что мой сосед всегда все врет, что ему нельзя верить на слово, что он резервирует за собой право на любое хамство. Такого раньше про моего соседа никто не говорил (странно, неужели не замечали?), и потому он ужасно обиделся, как будто был оскорблен в лучших чувствах, и теперь всему миру несет, что твой сосед — грубый, нехороший человек, реакционер.

Мы здесь, в Москве (надеюсь, не забыл), привыкли к тому, что нас уже давно и стойко тошнит от нашего соседа. Как еще относиться к тому, кто вечно вваливается в твою личную жизнь и командует, какую картину на стену повесить, какую книгу читать, а какую нельзя, каких гостей принимать, а каких от ворот поворот. А вот скажи, Василий, как обстоит дело в Америке, где, как ты говоришь, столь развит дух соседства?

Мне мой сосед, отвечаю я другу, вообрази, Фил, совсем не мешает.

Ну, хорошо, пишет Фофанофф, внутренний советский эмигрант, а не мешает ли тебе этот дух соседства

¹ Lawn — газон, лужайка (англ.).

смотреть на твоего соседа критически? Замечаешь ли ты, например, что он довольно жилист, довольно стар?

Эх, признаюсь, отвык я уже от московской диссидентщины. Что ж, отвечаю, Фил, готов признать, что мой сосед не молод и довольно морщинист, и пуля у него побывала в боку, однако на лошади, смею уверить, скачет он довольно лихо.

Клочки

...Карнавал американских шестидесятых принес в страну довольно сильное и продолжительное похмелье, однако и огромные достижения того времени очевидны. В целом можно сказать, что поколение шестидесятых в этой стране добилось своей цели, если видеть этой целью развитие американского либерального общества. Может быть, есть и какое-то разочарование, но там, где у американцев разочарование, у нас, советских шестидесятников, — крушение. Искоренение вольных надежд того времени — основная забота властей предержащих. Так что для Советского Союза это время следует назвать не временем пробуждения, а скорее временем блаженного короткого сна.

...Пресловутая наблюдательность русской литературы! Горлышко разбитой бутылки (Чехов), рой мошкеры над головой марширующего штабс-капитана (мое, и Чехову не отдам).

Пресловутый Запад делает вид, что спешит, кокетничает сам с собой: какой я нехороший, развратный, порочный... делает вид, что ему наплевать на русскую литературную наблюдательность; сейчас, мол, не до деталей!

Пишущему человеку впору впасть в транс: нечего уже наблюдать, все наблюденно, все наблядено, продано по двадцать раз на корню в «шоубиз» с учетом колебания биржевых ставок. Классик и тот спасует перед мерами, направленными на подавление литературной наблюдательности, как на Западе, так и на Востоке.

...По сообщению телевизионной программы «Интертейнмент Тунайт», киноактриса Джейн Фонда сделала головокружительное признание журналу «Стар». Оказывается, она в течение последних двадцати (20!) лет страдала патологическим обжорством и для того, чтобы поддерживать то, чем сейчас восхищается все прогрессивное человечество в пристойной форме, ей приходилось по нескольку раз в день возбуждать рвоту.

Джейн! На ГМР, который находился в приступе глубокого экзистенциализма, это сообщение произвело впечатление разорвавшегося патрона с горчичным газом. Начались метания со скрипом разладившихся суставов. Значит, и тогда, Джейн, в те времена, гудящие под ветром — они ведь тоже входят в зону вашего двадцатилетнего признания, — значит, и тогда, Джейн, вы по несколько раз в день... блевали, дорогая?

...«Мне приходилось играть в Советском Союзе, — сказал черный музыкант. — Русские — такие кисы...»

Вряд ли он имеет в виду физическую красоту или кошачью гибкость нашего народа, подумал я, скорее всего, его теплые душевные качества.

Вообще-то поначалу нас в этом подвале почему-то приняли за португальцев, несмотря на то что среди нас были две блондинки — украинка и финка. Подошла хозяйка заведения — в темноте видны были только

зубы и белки глаз, остальное сливалось — и спросила вежливо:

— Вы, наверное, из Португалии, фолкс, или из Бразилии?

Когда недоразумение выяснилось, пианист спустился к нам с эстрады.

— Русские — такие кисы, — сказал он. — Я там играл. Клево было.

Это был известный джазовый пианист, и я вспомнил, что он действительно лет шесть-семь назад гастролировал в Москве. Эти «кисы» весь день стояли в очереди за билетами. Кисы под дождем.

ТАКИЕ КИСЫ

Он стал рассказывать, как было в России. Ему явно повезло больше, чем Питерсону. Еще в аэропорту их встретили советские джазовые музыканты и фэны.

— О, Боже Всемогущий, они нас всех знали по именам, знали, кто с кем и когда играл, названия наших альбомов, даты выпусков, все клубы, в которых мы когда-либо играли, они и про других лабухов спрашивали, поверьте, они больше знали о джазе, чем мы сами. Среди них были два парня из Сибири, прилетели нас слушать — воображаете? — и одна девушка из Китая...

— Из Китая, Брайант? — переспросили мы его.

— Кажется, из Китая, — кивнул он. — В общем, из Азии. Ташкент, Ташкент! — вдруг вспомнил он со счастливой улыбкой. — Чудо из чудес, все они говорили по-английски, так что нам и переводчики не требовались. Они нам принесли цветы, а один даже вынул

из кармана бутылку водки и пустил по кругу, чтобы все сделали по глотку. Такие кисы...

Я подумал, что, наверное, почти всех людей, о которых сейчас, спустя семь лет, рассказывал Брайант, я знал лично. Откуда взялась в России такая страсть к джазу?

— Мы с ними встречались после концертов, — продолжал пианист, — и очень хорошо выпивали и разговаривали. Но нас в гости к себе они почему-то не приглашали. Эта девушка из Ташкента, знаете ли... я спрашиваю — а вы где остановились, мисс? — а она говорит — это не имеет значения... Потом они говорят, давайте играть джем-сейшн. Мы с восторгом соглашаемся и в свободный вечер едем с ними в какой-то клуб, предвкушаем удовольствие. Однако в клуб нас не пускают. Вокруг толпа фанатиков стоит, а в дверях несколько таких персонажей с красными повязками и говорят: ньет, ньет, ньет.

— Значит, не все русские кисы? — спросили мы Брайанта.

После некоторого размышления он сказал:

— Нет, не все, решительно не все. Впрочем, после этой неудачи один русский, как бы разозлившись, пригласил нас к себе домой, и мы там немного все-таки поиграли и опять хорошо выпили и поговорили... Мне кажется, что некоторые русские становились еще большими кисами, когда другие русские показывали себя такими не-кисами... Вот такое в целом впечатление.

Он вернулся на сцену, подмигнул нам и снова бурно взялся за клавиши в своем, как сейчас говорят, фанкующем стиле.

Мы поднялись на поверхность, прошли пару кварталов и вошли в шикарный отель. Из глубины холла

доносились очаровательные звуки. В России Борис был заядлым авангардистом, но играть свой авангард там он не мог, вернее, мог, но редко. Слушателей-то было навалом, спрос явно превышал предложение, но власть авангарда не поощряла. Здесь власти наплевать на авангард, однако, увы, здесь как раз наоборот — предложения превышают спрос, своих авангардистов навалом, вот и приходится Боре играть популярные мелодии, создавать для гостей отеля приятственный фон. Неплохо, в общем-то, зарабатывает.

Едва мы вошли и увидели его огромную полуседую гриву, как Брайант воскликнул:

— Я его знаю, фолкс! Это один из тех, кого мы тогда встретили в России, один из симпатичных кис!

Нынче джаз хоть и жив, но задвинут куда-то (а именно в надлежащее ему место) в уголок американской жизни гигантским коммерческим роком.

Любопытно, что джаз каким-то образом умудрился не подчиниться требованиям дурного вкуса, тогда как рок почти полностью адаптирован развязной, немойтой, мастурбирующей толпой.

Так же как Элвис Пресли сменил когда-то свою молодую кожаночку на дурацкий наряд какого-то африканского, марксистского царька, так и коммерческий нынешний рок, предав свинговую эстетику битлз, разукрасился блестками, мушечками, перчаточками, оборочками, кружевами, набрал в свой состав бесконечное число бездарностей с огромными губищами, с квадратными задами, с дурной кожей, с жалким вокалом и бездарной хореографией, а самое главное, с полным отсутствием юмора... тычет указательным пальцем в лицо кайфующей от плебейского вкуса толпы, похабным речитативом что-то тупое вопрошает...

Джаз между тем, так и не став достоянием плебса, скромно, но бодро живет в стороне от этой толпы, и для нас, беглецов с Востока, как ни странно, он часть нашей восточной ностальгии...

СПАЗМЫ НОСТАЛЬГИИ

... Из всего состава астронавтов на орбитальной станции «Америка Спейс» мистер Флитфлинт считался наименее сентиментальным, однако и он расхлюпался на концерте землянина Славы Ростроповича, а когда виолончелист закончил выпиливание своего Бетховена, Флитфлинт попросту попросил:

— А теперь, друг, сыграй нам, пожалуйста, «Грустного бэби»!

...Отвлекусь на минуту от бытовых описаний, чтобы окинуть взглядом технологическую цивилизацию. В Америке ты ощущаешь себя в самом ее центре. Может продрать лошадиная оторопь: каждый твой шаг, малейшее движение сопряжено с размахом технологии. Твой белый куб, разделенный перегородками и перекрытиями, со спиральной коммуникацией вверх и вниз, буквально набит технологией. Кроме перечисленных уже машин, он завален кассетами, пластинками, магнитофон вверху, магнитофон внизу, радио вверху и внизу, проигрыватель внизу, телевизор вверху и телевизор внизу, видеорекордер, копировальная машина, четыре пишущих машинки (одна из них электронная), автомобиль «бэби-бенц» под окном, «омега» жены запаркована на улице, фотоаппарат обычный и «Полароид» и, наконец, персональный компьютер с принтером,

не говоря уж об освещении, сушилках для волос, оборудовании ваннх комнат, холодильнике, кофеварке, фуд-процессоре, кофемолке, тостере, автоутюге, пылесосе, щипцах для завивки, электросбивалке, калькуляторе, электрогрелке, массажном душе, тренажере-велосипеде... Это то, что окружает нас, двух немолодых людей и молодого коккер-спаниеля, каждую минуту, попеременно вступая в действие, превращая частично уже и само существование в технологическую акцию.

Есть ли предел этому развитию? Советский ученый Борис Раушенберг (не брат ли американского художника Раушенберга?) считает, что технологическая цивилизация сама по себе не может продолжаться более ста двадцати лет и по прошествии этого срока самоуничтожается. Если отсчитывать, однако, от изобретения шарового котла, то окажется, что мы раушенберговский срок покрыли уже дважды. Никто, впрочем, не отрицает за братьями Раушенберг права на дерзновенные инскажи, ибо оба являются гордостью технологической цивилизации (один сфотографировал темную сторону Луны, другой наклеивал на холсты кусочки других материй), однако, отставив на время в сторону апокалиптические предсказания как необходимый, но несрочный элемент цивилизации, зададимся более скромным вопросом: есть ли тупик, иными словами, есть ли предел этой роскоши, всему этому буйству?

Из текста «Памяти Карла»

Есть в мире редкие примеры удивительной самоотдачи, обычно всегда связанные с уникальными человеческими качествами и талантами. Патриша Блэйк в

своей книге о знаменитом переводчике и ученом Максе Хейворте рассказывает, что Макс очень страдал, когда соцреализм навсегда отказал ему в визе. Однажды Патриша вернулась из Греции и сказала Макс: ты знаешь, эта страна напоминает чем-то наш «Анион»¹. Так они называли между собой Советский Юнион. Луковый вкус слова имел некоторое отношение к традиционным русским куполам, к той России, которую они любили. Через неделю Макс позвонил ей в Нью-Йорк уже из Греции. Он облюбывал там какой-то остров и провел на нем большую долю своих последних лет. Сидя посреди Эгейского моря, он работал над русскими книгами и обсуждал со своими гостями последние московские литературные коллизии.

Благодаря Карлу Профферу в русскую культуру вошел (без сомнения, уже навсегда) Анн-Арбор, мичиганский «большой маленький городок», город-кампус с его университетской «так-сказать-готикой», ресторанчиками, лавками и копировальными мастерскими даун-тауна, ярко освещенными до глубокой ночи книжными магазинами, толпами «студяра», запашком марихуаны, символизирующим либеральное меньшинство, и пушистыми зверьками, снующими среди поселений стабильного большинства, по всем этим улицам Хилл, Спрусс, Лэйк, Элм, проплутав по которым русский писатель неизбежно в конце концов выезжал на немощенный Хитервей, чтобы увидеть там, в глубине, за стволами кленов и сосен, большой дом, бывший когда-то загородным клубом, и мягкие скаты поля для гольфа, по которым неторопливо движется высокая сутуловатая фигура, сопровождаемая парой собак и тройкой детей.

¹ Onion — лук, луковица (англ.).

Именно здесь, по сути дела, возник новый период русского литературного сопротивления, непостижимыми «воздушными путями» идеалический пейзаж оказался связанным с пресловутыми кухнями московских и ленинградских интеллектуалов, с чердаками богемы.

Из американских славистов никто, пожалуй, так хорошо, как Карл, не понимал русской литературной среды. Он, в частности, улавливал некоторую этой среды «шпанистость» и даже сам был как бы тронут слегка этой «шпанистостью», во всяком случае, никогда не говорил о своем предмете ни с выспренними придыханиями, ни с академической холодностью, а вот артистическим матюком пускал нередко и с удовольствием.

Употребление этих выразительных средств, кстати сказать, и русской-то пишущей братией нередко выглядит курьезно, из предмета стиля они то и дело становятся неуместным попердыванием. Карл с удивительной для иноязычного человека тонкостью чувствовал русский литературный стиль и никогда его не терял.

К середине семидесятых годов Профферы, по сути дела, стали полноправными членами нашей среды. В Москве говорили о них не как о каких-то отвлеченных «морских меценатах, а как о своих, как о «ребятах». «На днях ребята звонили, снова к нам собираются...» — «Ребята хотят выпустить полного Булгакова...» и тд.

Проникновение этих двух типичных «мид-вест» американцев в русскую культурную среду было настолько глубоким, что они даже в конце концов почувствовали тот легкий «напряг», который всегда существовал между артистическими общинами Москвы и Ленинграда. Ища в канальных жителях наследников Серебряного века, Карл и Элендея все же чувствовали некоторый периферийный ущерб, дымок смердяковщины

и вздор иных псевдоклассических претензий. С другой стороны, и Москва ими не идеализировалась, с ее склонностью к конформизму, гедонизму и говнизму. Все, однако, поглощалось необъятной страстью к русской литературе, которая (выпуск знаменитой «тишэтки») «лучше, чем секс», не говоря уже о рок-н-ролле. Великие вдовы нашей словесности Надежда Яковлевна Мандельштам, Елена Сергеевна Булгакова, Мария Александровна Платонова были в фокусе этой любви. Уж и Бродский казался Карлу хрупким гладиолусом невского побережья. Соколов был заброшенным птенцом Набокова, сам Набоков подплывал к «Ардису», как великолепнейший айсберг, Лолита наверху, пять лолит под поверхностью; все это, конечно, не совсем так, но и не совсем не так.

Однажды я видел, как Карл разговаривал с двумя московскими писателями об издании их книг. Рядом с затертой, второго разбора, джинсовостью писателей он выглядел как настоящий заморский книжный делец — отличный костюм в полоску, крепчайший башмак, поза всегда расслабленная, как у баскетболиста в раздевалке, в глазах, однако, светилось полное отсутствие дяляческих качеств — светящееся отсутствие, хм, — сопровождаемое присутствием любовного чувства, но не к объектам беседы персонально, а к нашей общей теме. Ключевой момент — беседа с двумя источниками словесности, попытка спасти их от загнивания в подполье.

Будь Карл Проффер дельцом, он, наверное, иначе поставил бы свое предприятие и, возможно, прогорел бы на этом. Такой малотоварный предмет, как русская литература, вряд ли выстоял бы на деловой смекалке и на торговой инициативе, ему потребны были иные,

более аморфные качества, какие-то неясные сочетания артистичности и университетскости, приверженности к словесной игре, расхлябанного энтузиазма, чего-то еще, назовите это хотя бы среднезападной чудаковатостью.

Я услышал о Профферах впервые от Раи Орловой и Льва Копелева году, кажется, в 71-м. Тогда мы были соседями по лестничной клетке в аэропортовском кооперативе в Москве, теперь мы соседи по изгнанию — они живут на берегу Рейна, я — на берегу Потомака. Они мне показали первый ардисовский сборник «Russian Literature» и первый репринт — кажется, «Котик Летаев» Андрея Белого.

— Вот такие ребята, — с энтузиазмом восклицали Гая и Лев, — вот такие американские молодцы! Поставили у себя в гараже наборную машину и открыли издательство, первое американское издательство русской литературы!

— А кто же они такие?

— Молодые профессора Мичиганского университета, оба красавцы, а Элендея просто неописуемая красавица!

Так с массой восклицательных знаков, что в те времена еще не казалось перебором, пришла эта первая информация об «Ардисе».

— Милое начинание, ничего не скажешь, — кажется, пробормотал я, разумеется, даже не представляя себе, что это милое начинание, по сути дела, предложит альтернативный путь целому направлению или, лучше сказать, всей волне вольной современной русской литературы.

К тому времени в Советском Союзе уже окончательно установилось то, что принято называть «второй

культурой» или «литературно-художественным подпольем». Возникшая на откате оттепели, пишущая братия уже не пряталась по углам и не закапывала сочинений на садово-огородных участках, а, напротив, собираясь кучками, под портвейн, громогласно читала свои вирши и прозаические опусы, провозглашала новых гениев. Среди богемной графомании иногда и в самом деле возникало интенсивное излучение основательных талантов, вроде поэтов Евгения Рейна, Генриха Сапгира и прозаика Венедикта Ерофеева. Да и у официальных «противоречивых авторов» в ящичках стола накапливалось все больше так называемой «нетленки», то есть вещей, негодных для советского тлена, предназначенных как бы для другой, более осмысленной литературной жизни; многие писатели, хватившие славы в начале шестидесятых, становились «непроходимцами». Сужу по себе: продолжая, так сказать, развиваться в качестве писателя, я уходил все дальше от поверхности советской литературы, на поверхности же деградировали, там оставалось все меньше «написанного Аксенова» — две трети, половина, треть, узкий месяц... У Битова его лучший роман «Пушкинский дом» кусочками выбрасывался на поверхность под видом рассказиков и эссе, основная же глыба покоилась в глубине. Искандер из своего «Сандро» тоже выкраивал кусочки на прокорм, между тем как эпос все великолепнее разрастался.

Выход для всей этой культуры был только один — за рубеж. Забросить за бугор — такое стало бытовать популярное выражение. Однако печататься в русских эмигрантских изданиях вроде «Граней», «Посева» и позже «Континента» означало вставать в открытую конфронтацию к режиму, на это решались только по-

литически детерминированные люди. Художественное подполье колебалось, и не только по своей обычной и вполне нормальной трусоватости, но и по подсознательному отталкиванию от какой бы то ни было политической ориентации, то есть по анархичности самой своей природы.

Появление независимого, неэмигрантского, но американского, да и не просто американского, но университетского издательства, основным критерием которого стала художественность, предлагало уникальную альтернативу.

Позднее, когда скандал с «Метрополем» разгорелся вовсю, цепные псы соцреализма, разумеется, объявили Карла Проффера человеком ЦРУ. Вот, дескать, какой хитрый ход придумали американские соответствующие органы. Для этой своры мир делится очень просто — то, что не КГБ, то ЦРУ.

Сейчас, когда наш друг, спустившись со склонов поля для гольфа, ушел в луга невозвратные, я думаю о том, что его вклад в русскую культуру невозможно переоценить, даже употребляя самые превосходные степени. Для того чтобы это осознать, достаточно обозреть продукцию «Ардиса» за десять лет его существования, однако дело тут не только в перечне названий, но и в самом существовании этого холма как определенной эстетической и нравственной высоты, в самом появлении на пространстве русской культуры, в нужном месте и в нужный час этой фигуры, осуществляющей смехотворную по нынешним идеологическим и коммерческим параметрам, но все же существенную миссию артистической солидарности.

Впервые я оказался в «Ардисе» в июле 1975 года, будучи еще советским писателем, на обратном пути из

Лос-Анджелеса в Москву. Дом был полон народу, молодых славистов и русских беженцев. Каждый день появлялись какие-то новые лица, охваченные эйфорией эмиграции. На кухне (сказывались российские привычки) рассиживались от зари до зари. Карл и Элендея смеялись: никогда точно не знаешь, сколько народу тут пасется. Переговорить этих русских невозможно. Уходишь спать, оставляя за столом пятерку, скажем, гостей, а утром застаешь их на том же месте, хотя компания разрослась уже до семи, предположим, персон. Можно с ходу включаться в дискуссию, а можно и не включаться: на хозяев никто особого внимания не обращает. *УРАСС - ГУЛАГ - БИЧУКЕЦТ БРОШВА*

Несмотря на бесконечное хлопанье дверей, в «Ардисе» продолжалась как семейная жизнь, связанная с произрастанием детей, так и книжное производство — в подвале дома, собственно говоря, и помещалось злокозненное издательство, вмешавшееся в русский литературный процесс без санкций ЦК КПСС. Там функционировала современная американская технология книгопроизводства, все эти принтеры, композеры, копировальные машины. Развитие этой техники и ее быстрое удешевление удачно совпали с бунтом в советской литературе. Карл был безмерно увлечен новыми возможностями. Уже будучи безнадежно больным, он как-то долго мне рассказывал по телефону о новом автомате, который прямо читает рукописи, останавливаясь на неясных местах, запрашивает уточнения и тут же производит текст, готовый к печати.

В сентябре 1977-го «Ардис» приехал на Московскую международную книжную ярмарку. Чудеса в решете — их принимали как официальных гостей, у них был свой стенд на ярмарке! Я стоял с Карлом и Элен-

деей возле стенда перед открытием экспозиции. Толпа московских книжников за барьерчиком все разрасталась, дрожа от нетерпения, словно свора борзых. Международные дельцы, представители фирм, проходя мимо стенда «Ардиса», пожимали плечами: что тут происходит? Они не знали того, что знали все эти москвичи: «Ардис» — это особое издательство, не просто американское, частично как бы свое, но свободное.

Разрешено было выставить только книги на английском языке, но в последний момент перед пуском Карл, вспомнив свои баскетбольные дни, с быстротой необыкновенной расставил по полкам образцы и русской продукции — репринты забытых книг, стихи и прозу эмигрантов, внутренних и внешних, только что выпущенное любимое детище, альманах «Глагол». И вот наконец гордый русский клич: «Пуцают!» Книжники кинулись к полкам. Без промедления начался грабеж. Книжки засовывались в карманы, за пазуху. Я заметил одного деятеля, который явно подготовился к посещению стенда «Ардиса» заранее. На нем были необъятные байковые шаровары, схваченные резинками на лодыжках и с резинкой на поясе. С невозмутимой миной он просто оттягивал резинку на поясе и бросал книги в эти необъятные глубины.

Вряд ли какой-нибудь грабеж ранее вызывал такой восторг у его жертв. Ни до, ни после я не видел Карла в таком счастливом возбуждении. С сияющими глазами он только и делал, что подбрасывал на полки все новые и новые «Глаголы». Грабители-интеллектуалы тоже ликовали — книги, книги, открылась пещера Аладдина, разомкнулись «священные рубежи нашей родины»!. Это был редкий момент массового прорыва и вдохновения.

На следующую Московскую международную выставку «Ардис» уже не был допущен. Книги становились главной заботой пограничной стражи. «Букс», «бюхер», «ле ливр», «ксёнжки» волновали таможенников больше, чем гашиш и кокаин. «Русская цепочка» все-таки существовала, книги, будто неуклюжие перелетные птицы, пересекали границу — туда в виде рукописей, обратно томиками с эмблемой в виде дилижанса. Так однажды и мои два тома «Ожог» и «Остров Крым» плюхнулись на лужайку в глубине улицы Хитервей.

Мы с женой приехали в Анн-Арбор через два месяца после эмиграции из СССР. Карл перебросил мне ключи, однако не забывал оплачивать штрафы за неправильную парковку. Шаг за шагом он и Эллендея вводили нас в американскую жизнь; прежде всего это, конечно, касалось такой труднодостижимой вещи, как поддержание баланса банковского счета. Вскоре они выразили нам свое приятное удивление — как это мы быстро научились справляться сами с ежедневными заботами, вот уже и квартиру сами снимаем, и телефон сами устанавливаем, предшественники ваши не проявляли такой прыти.

— Не надоела ли вам русская литература? — спросил я их.

— Даже больше, чем ты думаешь, — засмеялись они и вручили мне приглашение на гала-парад «Ардиса» по случаю выхода «Ожога».

Потом мы уехали из Анн-Арбора, но связь с Профферами не прервалась и на неделю. То и дело, ближе к полуночи (окна «Ардиса» обычно сияли в ночи, как сталинский Кремль), раздавался звонок. Карл спрашивал, «как дела», или «хау ар ю» (англизация наших бесед

с каждым годом неизбежно увеличивалась), рассказывал какие-то новости из Москвы, и мы обменивались анекдотами свежей советской выпечки, только что поступившими в обращение через Париж или Копенгаген. Каждый раз, когда я слышал в трубке его голос, вспоминалась январская ночь 1979 года, кухня в квартире на Аэропортовской, метропольцы, сгрудившиеся вокруг приемника, завывание глушилки, интервью с главой издательства «Ардис» на волнах «Голоса Америки». Он говорил: «Мы только что получили из Москвы уникальную литературную коллекцию... Не знаем, будет ли она издана в официальном советском порядке... Мы выпустим ее в любом случае...» В отличие от иных наших так называемых собратьев, эмигрантских писателей, которые стали сразу искать за инициативой «Метрополя» некий второй корыстолюбивый смысл, этот американец сразу понял его литературную и идеалистическую суть.

Кроме всего прочего, я любил чисто физическое присутствие Карла, как здесь говорят, «в нашей толпе». Периодические встречи в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Милане, Париже... голова Карла приветливо маячит над среднеплечием толпы... Последний раз перед началом его трагического и героического финала мы встретились на атлантическом курорте Рехобо-бич. Боб Кайзер с Ханной, мы с Майей, Елена Якобсон, Карл... Младшая дочь Профферов крошка Арабелла то и дело прибегала, делала страшные рожи, как видно, под влиянием каких-то мультяшек. Ничто не предвещало беды.

Через несколько дней после этого вечера Карла сразила дикая боль. В таких случаях вспоминается пастернаковское: «Стихи мои, бегом, бегом. Мне в вас

нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, где дней порвалась череда...»

Карл Проффер был исключительно американской и исключительно университетской фигурой, и в своем умирании он продемонстрировал исключительно американский, исключительно университетский, если можно так выразиться, «подход к проблеме». Не было никаких умолчаний или иносказаний. Он говорил, что хочет протянуть как можно дольше для того, чтобы маленькая Арабелла успела его запомнить. Он боролся два года, прошел через несколько операций и циклов изнурительной экспериментальной терапии, а в перерывах даже на больничной койке занимался переводами, писал статьи (сенсацию произвела его статья о собственной болезни в «Вашингтон пост»), работал над мемуарами и даже путешествовал на тропические острова и в Европу.

Однажды они летели компанией над Карибским морем в Майами. Вдруг в самолете началась сильнейшая вибрация, пассажиров попросили надеть спасательные жилеты. В чем выражается англо-саксонско-шотландско-ирландская паника? Карл рассказывал:

— Кэтти закрыла глаза и стала вспоминать любимые стихи, Лэн, как юрист, чтобы убить время, составлял свое финансовое завещание, Элендея старалась успеть дочитать детективный роман, а я успокаивал соседку слева — не волнуйтесь, самолет не упадет, потому что ваш сосед справа находится на пути к другому финалу.

Болезнь как-то особенно подчеркнула его человеческие качества, в глазах его светилась мягкость, доброта, улыбка. Видно было, что он наслаждается каждой данной минутой, что даже дружеская болтовня для

него сейчас — дар Небес, каждый стакан воды — благо.

Вот теперь он ушел, сорока семи лет, провожаемый не только детьми, но и родителями. Русская литература, американский университет, мировая община писателей в наше время хлопотливой и бессмысленной суеты, когда никто не дослушивает друг друга до конца, когда книги не дочитываются, но лишь приоткрываются с единственной целью дальнейшего «по поводу» словесного блуда, когда творцы бешено колотят по своим пишущинкам, одержимые возвышенными идеями попасть в коммерческие книжные клубы, огрести лопатой пресловутые «роялти», захватить очередной «грант», а то и самого «нобеля», ублажить мегаломанические свои страстишки, хапануть-хапануть-хапануть, создать вокруг себя клику подхалимов и отшвырнуть подальше малопочтительных коллег, которые и сами, погрязая в бесконечных пусто-порожних интервью, презентациях, публичных дискуссиях, зверея от телефонных звонков, гонят, гонят, гонят круговую безостановочную гонку без промежуточных финишей, стараясь хоть на секунду задержать внимание совершенно озверевших под потолками книжного дерьма читателей, поразить мир злодейством, стащить штаны, продемонстрировать пенис, плюнуть в суп соседу по коммуналке, в наши дни, когда хрипящий в идеологической астме стражник призывает и дальше высоко нести знамя, создавать возвышенные образы современников, — в эти дурацкие дни из мира ушел один из немногих людей прямого позитивного действия, учивший студентов, писавший книги, сделавший делом своей жизни спасение униженной и оклеветанной литературы, поднявший свое издательство на уровень этого все-таки довольно высокого предмета.

ФАУНА Ди-Си

...Иной раз можно слышать: американское процветание остановилось. Елки-палки, если оно и приостановилось, то, может быть, лишь потому, что дальше некуда идти. Так называемый капитализм привел людей конца XX века едва ли не в тупик процветания, сделав роскошь достоянием многомиллионных масс. Дальнейшее развитие капитализма, если он намерен развиваться, может быть, направится в каких-нибудь других направлениях — скажем, к улучшению массового вкуса.

Впрочем, у нас под окном, на задах нашего элегантного дома в дворцовом проулке, капитализм пребывал еще в стадии весьма далекой от совершенства, демонстрируя свою грохочущую суть, столь справедливо осужденную Карлом Марксом. Каждое утро с шести начиналась конкурентная борьба четырех мусорных компаний, одна из которых носит имя лауреата ленинской премии мира, французского поэта Арагона «Aragon Waste». Один за другим четыре огромных трака наполняют наши зады грохотом раннего капитализма.

Наши зады, вообще, это особый случай. Несмотря на запаркованные там «мерседесы», «ягуары» и «корветы», они (зады) являют собой разрозненность, корявость, аляповатость, которым может позавидовать и рязанская «затоваренная бочкотара». Каждое домохозяйство асфальтирует кусочек почвы для своих паркингов, проезда, однако, остается ухабистым, как дорога между Ухолово и Покровским; объединяющие действия отсутствуют, или, как поется в песне Окуджавы «Черный кот»: «Надо б лампочку повесить, денег все не соберем».

Есть на этих задах и свой *enfant terrible* — мрачный, некогда белый, дом, крытый бугристым варом с пучками дикой травы, с жутким подвалом, к которому иногда посреди ночи «роллс-ройс» подвозит несколько оборванцев, белых и черных. Скопление мусора возле этого дома, граничащего с так называемой террасой ресторана «Баобаб», временами поднимается выше человеческого роста. Хозяин отвратительного строения, человек с социалистическими наклонностями, отказывается участвовать в конкуренции мусорщиков. Он абсолютно убежден, что его мусор должно убирать правительство дистрикта. Правительство, очевидно, придерживается другой точки зрения. Кто должен позаботиться о крысах, населяющих подвал, неизвестно.

Сначала мы отказывались верить своим глазам, когда видели, как здоровенные крысы неторопливо пересекают проезжую часть нашего двора. Это, должно быть, просто особого рода домашние животные, успокаивали мы друг друга, не может быть, чтобы крысы вот так запросто тут бегали, в столице Соединенных Штатов Америки. Потом мы обнаружили однодохлое «домашнее животное» на своем паркинге; это была явная крыса, черт возьми. Побежали к соседям, побежали к капитану нашего блока, мистеру Бернсу — тревога! Наши соседи — «яппи», народ чистый и спортивный, как с рекламы, — только плечами пожимали: подумаешь, крыса, забудьте об этом, не принимайте всерьез. Капитан Бернс пообещал воздействовать на капиталиста-социалиста. Куча мусора исчезла, видимо, заключен был контракт с «Арагоном» об одноразовой очистке авгиевых конюшен. Крысы продолжают бегать. В Советском Союзе в связи с этим была бы объявлена тревога по всей городской санитарно-эпидемиологической

службе. Поразительно, что в Америке это никого особенно не волнует. Что уж говорить о тараканах! Обнаружив у себя дома дюжину усатых, поэт Евгений Евтушенко разразился поэмой «Тараканы в высотном доме», полной «гражданского мужества». Здесь тараканы, по всей вероятности, не ассоциируются со Сталиным.

Однажды, прогуливаясь, я неизвестно с какой стати купил в книжной лавке Джорджтауна «Одиссею» на английском языке и поплелся к Дюпону — редкий случай, когда выдался свободный час для предания любимому и на сто процентов неамериканскому занятию — шлянию по городским улицам.

Все кишело вокруг в деловитых пробегах. На углах торговали поросячьими носами к предстоящему матчу наших «Скинс» с чужими «Долфинс». В новоотстроенном полустеклянном «Вашингтон-сквер» открылась еще пара шикарных магазинов. На Дюпо-серкл я был остановлен дамой, которая спросила, почему русские писатели столь склонны к сатире. В целях гармонизации действительности, мэм, ответил я и последовал далее за фонтан. Был серый, прохладный, столь идеальный для городского шлянья день. За фонтаном собирали деньги в пользу жертв режима Хомейни. Я дал что нашлось в карманах, файв бакс. Далее пара рыженьких требовала демонтажа ракет першинг. Им я не дал ни копыя. Над пиццерией «Везувий» поднимался тревожный дымок. «Крамер-букс» вывалил в окно очередную свалку книжных шедевров. Проголодавшись, я толкнул какую-то дверь и оказался в заведении, где пахло фаршированным перцем. И только лишь взяв меню, я сообразил, что сижу в греческом заведении, которое так и называется — «Эллада», что гипсовая статуя в углу —

не кто иная, как охотница Артемида, и что в сумке у меня лежит не что иное, как «Одиссея», которую я купил час назад по неизвестному побуждению. Заказав стакан рицины — неужели Улисс пил такую гадость? — я стал читать:

...И голосом звонко-приятным богиня
 Пела, сидя с челноком золотым за узорною тканью.
 Густо разросшись, отсюда пещеру ее окружали
 Тополы, ольхи и сладкий лиющие дух кипарисы;
 В лиственных сених гнездились там
 длиннокрылые птицы,
 Кобчики, совы, морские вороны крикаивые, шумной
 Стаей по взморью ходящие, пищи себе добывая...

Итак, к Средиземному, к колыбели человечества; остров Калипсо, США. Взят в плен нимфой.

Пишите — «вошла девушка»; этого достаточно. Вам кажется, что следует указать на ее несколько английскую внешность — выпуклый лоб, все чуть-чуть сужено, подбородок чуточку вперед, густые волосы малость пеговаты, — но это в самом деле никого не интересует, потому что подразумевается. Может быть, через полгода встреч вы заметите, что зрачок одного ее глаза (какого, забыл) начинает иногда бурно вращаться, но это и в самом деле не имеет отношения к мировому интертейнменту, это уж из вашей частной жизни.

Отцвели каштаны, скажете вы, проститутки на Бульваре Ланн все, как одна, похорошели, однако и эти ваши наблюдения вряд ли имеют практическую пользу, поскольку слишком нагло располагаются во времени.

Улицы идут одна за другой в строгой последовательности — 31, 32, 33... Никого, кроме вас, не восхитит

тот факт, что между 33-й и 34-й протекает улица Бетховена; ее можно было бы спокойно не заметить.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ МЕЖДУ O и Q

В пятницу вечером мы, как обычно, отправляемся на парти; на этот раз в Джорджтаун, на улицу O. Мистер и миссис Бенджамен Реджинальда Купер-Кларк (!) запрашивают удовольствия, выражающегося в нашем присутствии на их вечере.

Майя обычно замолкает, когда я начинаю искать парковку в пятницу вечером. Чтобы вдребезги не разругаться, лучше молчать, говорит она. Все-таки в какой-то момент она обычно не выдерживает и говорит: «Почему нельзя было вызвать такси?» Как раз в этот самый момент я нахожу какую-нибудь дырку и паркуюсь.

По кирпичикам улицы O под столетними деревьями цокали каблучки дам и щелкали подошвы кавалеров. В поле зрения было по крайней мере три ярко освещенных проезда, в которых принимали гостей. Группа людей в смокингах заворачивала за угол. Повсюду парти! Мы нашли нашу и попали сразу в гостеприимные руки хозяев. «Добро пожаловать!», «Как поживаете?», «Выглядите отлично!» Хозяин, взяв под локоть, отвел меня в сторону. «Ну, как вам это нравится?» — спросил он, подмигивая и бровями показывая направление — куда-то на юго-восток, кажется в правительственные сферы. «Невероятно», — сказал я. «Вот именно», — сказал он. Разговаривая, он все время смотрел мимо моего уха. «Сейчас я вас представляю нашему таланту». Тут вошли новые гости, он извинился, и мы встретились с Майей.

— Ты уверен, что мы на нашей партии? — спросила она.

— Конечно, — сказал я. — Вон, посмотри, стоит Грэг и Найди, вон Мэл жует, а вот и княжна Трубецкая пьет пиво!.. Это, конечно, наша толпа, только мы многих здесь не знаем.

Гости, очень плотно заполнив гостиную, столовую и кухню, работали дружно, коллективом не менее шестидесяти персон. Стоял концентрированный и напористый, не ослабевающий ни на минуту гул.

Мы выпили белого вина, положили себе на тарелки крекеры, сыр, морковь, порей, редис, картофель, салат, шлепнули по ложке соуса и стали дрейфовать к стене, чтобы там, обезопасив себе хотя бы один фланг, спокойно употребить указанные выше продукты.

Едва мы прикоснулись плечами к стене, как к нам приблизился пожилой элегантный господин и сказал, что он чрезвычайно рад наконец-то с нами познакомиться.

— Вы, наверное, будете удивлены, как я вас узнал. Однако нет ничего проще, сэр. Я видел ваше фото в журнале, и оно мне запомнилось. Прекрасный был снимок, очень впечатляющий, а ваша собака — просто прелесть.

— Собака, сэр? — Я пришел в некоторое замешательство.

С одной стороны, наша собака Ушик вполне заслужила слово «прелесть», но, с другой стороны, я еще не фотографировался с ней для журналов. Может быть, любезнейший американский Дженгльмен просто ошибся?

— Нет, нет, — запротестовал он. — Прекрасно помню, у вас была собака на коленях.

Мы заговорили с женой на свойственном нам языке. «У тебя на коленях, кажется, была книга, — сказала она. — Может быть, на обложке книги была собака?»

Наш собеседник с уважением внимал звукам незнакомой речи. Тут кто-то еще подошел, и он представил нас как уважаемых голландских гостей... м-м-м... фамилию малость подзабыл.

Пришлось его обескуражить:

— Прошу покорно извинить, сэр, но я не голландец, а русский.

Теперь его смущению не было конца.

— Позвольте, но вы говорили с вашей женой по-голландски, не так ли?

— Ни в коем случае. Мы и разговариваем по-русски. Она тоже относится к этому племени.

— Но почему же я вас принял за голландцев? — продолжал недоумевать наш собеседник.

— Ничего удивительного. У русских с голландцами много общего. Во-первых, наши языки отличаются от английского, а во-вторых, они научили нас строить корабли.

В этот момент в глубине гостиной бухнули дубинкой в гонг, хозяин призвал гостей к вниманию, и сразу все выяснилось. Оказалось, что это прием в честь голландца..

— Вот почему я вас принял за голландца, — с мимолетной улыбкой шепнул мне на ухо собеседник.

Голландец Эразм Роттербум, лауреат премии нефтяной компании «Эссо», оказался почетным гостем этого вечера.

Поднявшись на маленькую платформу, он поблагодарил за внимание, потом стал рассказывать о своих достижениях и слегка поиграл на скрипке.

Майя бросала на меня боковые взгляды.

— Удивительная все-таки страна эта Голландия, — сказал я ей. — Хотя и расположена ниже уровня моря, а какой огромный внесла вклад в историю цивилизации: мельницы, коньки, каналы, тюльпаны, торговля, мореплавание, вот этот наш скрипач, наконец.. Ведь именно в Голландии нашего Генерального секретаря Петра Великого обучили разным наукам, по слухам, и «наукам страсти нежной».. Достоинно сожаления, что русско-голландские связи за последние двести пятьдесят лет так ослабли. Когда-то ведь наши земляки ездили туда не реже, чем нынче в Венгерскую Народную Республику.

— Все это так, — сказала Майя, — но какое это имеет отношение к нашему приему?

Дождавшись очередных аплодисментов в адрес Эразма Роттербума, мы вышли на улицу О.

— Наверное, произошла ошибка в нумерации, — сказал я. — Должно быть, наш прием происходит вон в том доме с двумя маленькими колоннами и двумя крылатыми псами на крыльце. Видишь, как раз туда направляется наш знакомый контр-адмирал Т.

Мы прошли сотню ярдов вниз по улице О и вошли в дом. Здесь среди гостей преобладали дамы бальзаковского возраста. Казалось, в воздухе пахнет кружевным полотном. Мы успели к выносу главного блюда — жигу с бобами в отменном французском стиле. Я заинтересовался у соседней дамы, где же здесь мистер и миссис Купер-Кларк.

— Зови меня Лу, друг, — сказала дама и похлопала меня по плечу. — Право, не знаю, где сейчас старины Купи и крошка Клэр.

Похолодев, я подумал — уж не попали ли мы опять не на ту партию? Жена призналась, что испытывает та-

кое же чувство, и если бы не присутствие контр-адмирала Т., а также Грэга и Найди, Мэла Дершковица и княжны Трубецкой, то есть все-таки людей из нашей толпы, она бы в панике убежала домой.

— Что же? — сказала Лу. — Все остается в силе, фолкс?

— Пока что тянем, — неопределенно промычал я.

— Давай, давай, друг, без всяких «пока что», — дерзко, как девушка эпохи буги-вуги, подмигнула она. — Клянусь, не пожалеете! Будем купаться голышом! А как там у вас, в Квебеке?

Жуя жангильное жиго, мы заметили на левой груди нашей собеседницы карточку с надписью: «Лу Смайли. Поцелуй в Лыхайне!» Оглядевшись, мы увидели, что подобные карточки украшают груди и других дам: «Дорис Гарбовски. Смотри в оба, люби до гроба», «Нэнси Тарантайн. На перевале судьбы», «Кэнди Амбиваленштейн. По зову сердца»... Что-то совсем уже комсомольское. Прислушавшись, мы поняли, что находимся среди участников всеамериканской конференции писателей романтического направления.

...На третью парти мы успели к десерту. Здесь мы сразу поняли, что попали не туда. Было очень тихо. Общество утопало в креслах. Один лакей катал тележку с тортами, другой обносил ликером. Люди нашей толпы, Грэг с Найди, Мэл Дершковиц, княжна Трубецкая и контр-адмирал Т., жуя чиз-кейк, облизывая муссы и заглывая взбитые сливки, толпились поближе к выходу.

— Это опять не наши, господа, — говорил, потряхивая седыми бровями, адмирал. — Пехота. Общество покорителей Килиманджаро с восточной стороны.

Сдается мне, что мы все запутались в алфавите. Нам нужна не улица О, а улица Q... Точно такой же кружок, но сбоку у него болтается хвостик.

1970

ХЕМИНГУЭЙ И ФИЛ ФОФАНОФФ

Пятерку «Ф» своих лелея,
 Советский презирая быт,
 Ф-ф читал Хемингуэя,
 За что бывал нередко бит
 В дискуссиях крутых друзьями,
 Которые, уж отшумев
 Свои фиесты и усами
 Обзаведясь и поумнев,
 Читали Фолкнера. Все злее
 Славянофильский ветер дул.
 Нам всех коррид твоих милее
 Простой йокнапатофский мул!
 И все ж, как встарь, благоговя,
 Чудак, пьянчуга, бонвиван,
 Ф-ф читал Хемингуэя,
 Вростая задницей в диван.

НА ВОЛНЕ VOICE OF AMERICA

...Не хочется кончать на грустной ноте и потому, пользуясь уже установившейся традицией, преподношу вам еще один перевод песенки, напечатанной в «Вашингтон пост». На этот раз речь идет о динозавре, откопанном в местности Хакенсек. Авторы песенки Майкл Стайн и Мишель Валери.

Я — хадрозавр из Хакенсека,
 Сто миллионов лет в отключке...

Пришел проведать человека,
О, бэби, бэби, бэби, как раз к получке!
Нашли мой клюв, нашли хребет,
Хвостище выскребли и прочее,
И вот я в город на обед,
О, бэби, бэби, бэби, пришел из-под болотной почвы.
Хор:

Музеи, о, музеи,
Какая красота!
Стою себе, глазею!
Народов пестрота!

Сто миллионов лет в болоте,
А внешний вид пока неплох,
Нос на весу, хвост на отлете,
И юмор, бэби, не засох!

Хор:

Музеи, о, музеи,
Какая красота!
Стою себе, глазею!
Народов пестрота!

Я — хадрозавр из Какенсека
Пришел проведать человека...
О, бэби, бэби, бэби...

ВСЕ, КАК В ТЕЛЕВИЗОРЕ

Рэнди Голенцо в связи с продвижением по службе пригласил как-то кучу народу к себе, в наследственный таунхаус. Накупил гамбургеров, не забыл и про соус А-1. Родственников предупредил, подмигивая: «Будет чудаковатый народ из “Пацифистских палисадов”».

И действительно, явилась троица — закачаешься! Великолепная Бернадетта-декольте сразу же привнесла в парти аромат чего-то греко-римского. Генерал Пхи в парадной рубашке хаки со следами боевых наград и с новеньким зайчиком «Плейбой-клаба» тут же при-

нялся за обследование охлаждающей системы резиденции Голенцо. Скептически покачивал он хорошо причесанной головой — «вот так и мы рассчитывали на нашу стратегическую инфраструктуру».

Третьим в компании оказался русский бегун Лев Грошкин, с которым Бернадетта недавно познакомилась в Санта-Мелинде во время роликобежных уроков.

Лева в Америке процветал, не старея. Получая помощь по программе «велфер» и подрабатывая иногда наличными в транспортной фирме «Голодающие студенты», он обеспечивал себе 120 миль еженедельного набега, что в сочетании с научной диетой и контролем над рефлексами повернуло все процессы его организма в обратную сторону; он выглядел теперь вместо своих полста на чистый четвертак. Таким молодцом он и воспринимался теми, кто не знал его раньше, а тех, кто его знал раньше, Лева старался избегать. «Старая шваль», — думал он о них с понятным презрением.

«Чемпион», — представлялся он новым знакомым. Это хорошее русское слово было понятно местным народам. Дружба с Бернадеттой Люкс внесла в систему циркуляции дополнительную гармонию. «Постарайся понравиться мистеру Голенцо, Лайв, — сказала она. — Рэнди близок к сферам». Лев кивнул. Это нетрудно. Не понимая ни слова по-английски, он хорошо соображал. «Эге, — сказал он, — гамбургеры! — И добавил: — Ого!»

Рэнди такой подход к делу явно понравился. «Вам кажется, что это гамбургеры? — хитро улыбнулся он. — А вот попробуйте-ка покрыть их соусом А-1. Получатся настоящие стейкбургеры!»

Племяш Джейсон цапнул из рук толстенное угощение. Эва как широко и сокровенно открывается рот у малыша! Гамбургер, а на вкус стейкбургер!

— Эй, это твоего дяди стейкбургер! — вскричал Голенцо, вырывая едальное устройство из рук несовершеннолетнего человека.

Все замечательно захохотали. «Стейкбургер, — подумал Лева. — Государственная котлета, из спецфонда. Бернадетта, видимо, не врет. Рэндольф — важная шишка!»

КАФЕ «НЕНАШИХ ЗВЕЗД»

Я приподнял шляпу, то есть то, что было вместо шляпы на голове; кажется, ничего.

— Мсье Бельмондо?

Он вздрогнул.

— Откуда вы меня знаете?

— Я видел по крайней мере десяток фильмов с вашим участием.

Бельмондо засмеялся, вытащил пачку «Гитаны».

— Как видно, сэр, вы здесь тоже иноземец.

— Из России, Жан-Поль, с вашего позволения.

— Так я и думал. Меня здесь знают только русские эмигранты.

Я хотел было уже откланяться, но Бельмондо уцепился за меня.

— Вы бы, Василий, не линяли б так быстро. Я бы вам рассказал, как снимаются различные эпизоды кино. Вообще, почему бы нам хорошенько не выпить? В русском стиле, ха-ха-ха, как в Москве на фестивале, с утра.. С русским революционным размахом и с галльским острым смыслом, давайте, что ли, пообедаем? Я, знаете ли, очень ценю, что вы узнали меня в американской толпе. Сначала, знаете ли, я даже наслаждался тем, что

меня здесь никто не знает, как будто стал невидимкой, а потом, признаюсь, стал нервничать. Что ж, думаю, получается, что все труды как бы просто насмарку, в жопу, иными словами? Сеешь, как говорится, уже два десятилетия разумное, там, доброе, вечное, а в этой наглой Америке никто у тебя даже автографа не попросит. Помогает общение с товарищами, что оказались в таком же положении. Один предприимчивый одессит открыл здесь неплохое кафе «Ненаших звезд». Мы там собираемся. Едим, грустим...

...В самом деле, в кафе «Ненаших звезд» на задах Лексингтон-авеню Жан-Поля Бельмондо знали. Бармен сделал ему пальцем европейский жест от уха в пространство, наше, мол, вам с кисточкой! Официант без фамильярности, но вполне по-свойски взял его кожаное пальто, шумно стряхнул с него капли дождя, которые в Нью-Йорке пахнут чем-то двусмысленным.

— Как всегда, Жан-Поль, пожарские котлеты?

Мы разместились в углу.

— Вы кто по профессии, Василий? Наверное, дантист?

С любезностью необыкновенной Бельмондо предложил мне не стесняться при разборе меню.

— Вот, узнал меня на улице местный американский дантист Василий, — гордо пояснил он завсегдатаям, слегка, как видите, приврав.

Свидетель Зевс, вокруг за столиками сидели мировые звезды. Я узнал японского режиссера Куросаву, советского поэта Окуджаву, Шопена Ф., варшавского музыканта, философа из Кенигсберга... э-э-э... Канта... были также мелкие европейские нобелевские лауреаты вроде Канетти и Голдинга.

— Кстати, о Канте, — сказал я Жан-Полю Бельмондо. — Вы слышали, что Кенигсберг переименован

в Калининград, то есть в город козлобородого большевика Калинина? Недавно секретарь Калининградского обкома партии назвал Канта «нашим великим калининградским философом». Не знаю, будет ли это приятно Иммануилу?

Назвав великана Иммануилом, я почувствовал, что вхожу в душу этого кафе, в общую атмосферу панибратства. Гости Америки, будь это Клавдия Кардинале или Франц Беккенбауер, попадая в эти стены, вздыхали с облегчением, вместе с каплями дождя как бы отряхивали скверну неузнавания. Кое-кто из них приводил с собой «местных дантистов» вроде меня, за ними с любезностью ухаживали.

Изобретатель пиццы средневековый повар Габрелиус Пицца с улыбкой рассказывал Фолкнеру Шлёндорфу и Анджею Вайде о том, что в Америке полагают это блюдо подлинным американским изобретением.

Вдруг все смешалось в доме В.Р. Эбэлонских (имя предприимчивого одессита из крепостных евреев князя Степана Облонского). Вбежала некая брюнетка в декольте. Вечернее платье с блестками носило следы жадных рук, под ним угадывались тонкие ноги, дрожащие в результате бегства.

— Спрячьте меня, друзья, — задыхаясь, сказала дама. — Меня преследует толпа!

Все присутствующие повскакали со своих мест. Не верилось глазам. Это была она, Алексис, из нашей бесконечной «Династии», наш вариант Сары Бернар и Веры Комиссаржевской, несравненная наша американская Джоан Коллинз!!!

РАЗВИТИЕ УЖЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЫ

Вот один из моих американских сюрпризов — зажим авангарда! Издалека, из царства социалистического реализма, вам казалось, что авангардная традиция в Америке по-прежнему процветает, что американская литературно-театрально-киношная сцена представляет собой пульсирующий и светящийся космополитический плейграунд. Глядя изнутри, видишь со все нарастающим удивлением, что эта сцена при всем ее гигантском размахе носит черты деревенской лавки — поиски «вернячка», боязнь риска, паника при слове «эксперимент».

Провинциализм, разумеется, не всегда отрицательное качество, особенно если речь идет о национальной литературе.

Фолкнер в конце концов провинциальный американский писатель, даже в большей степени, чем Достоевский был провинциальным русским, однако только сейчас, живя здесь, я начинаю понимать, до какой степени американская литература является чисто американским, а не международным делом. Наше прежнее отношение к ней стояло на мифологии.

Среди космополитических мифов существует — или существовал — дивный миф «Знаменитого Американского Писателя» — ЗАП (FAW). В прошлые годы в Советском Союзе мне приходилось с этим типом встречаться, и я предполагал, что знаю, как себя вести при этих встречах. У моей жены опыта в этом меньше, и в связи с этим мы иной раз попадаем впросак.

Как-то раз звонит нам в Вашингтон один ЗАП, называет моей жене свое имя и делает паузу в ожидании соответствующей реакции. «Будьте любезны, по

буквам», — говорит жена. К ЗАПу уже тридцать лет не обращались с такой просьбой, ошеломленный, он, запинаясь, спеллингует свое имя. Я прихожу домой, и жена мне говорит: «Тебе звонил американский писатель по имени “вот посмотри”»... В ее транслитерации получилось что-то вроде Тутанхамона. Тут он позвонил снова: «Мистер... м... Акселотл, это звонит вам такой-то... — неуверенно добавил: — ...американский писатель». — «Как?! — вскричал я, стараясь восторженной интонацией исправить промашку жены. — Это вы?! Тот самый?!» ЗАП вздохнул с усталым облегчением: «Да, это я, тот самый...»

В начале литературной жизни моего поколения, которое столь счастливо совпало с развалом сталинского железного занавеса, пятеро американских писателей захватили наше молодое воображение. Хемингуэй, Фолкнер, Фицджеральд, Дос Пассос и Стейнбек — мы называли их Великой Американской Пятеркой.

Встретиться пришлось только с одним из пяти — Джоном Стейнбеком.

Это было в Москве в 1963 году. Посол США Фой Колер пригласил меня (очевидно, как представителя «новой волны») на обед в честь Стейнбека. Классик к моему приходу, должно быть, уже хлебнул и приветствовал молодого писателя сильнейшим хлопком по спине. «Как пишется, Василий?» Я пришел в восторг — вот она, рука ЗАПа!

Он был полностью в образе и за обедом нес много очаровательной чепухи, тревожа дипломатов и секретаря Союза писателей Алексея Суркова.

На прием в журнал «Юность» он пришел в другом настроении. Мрачно и сердито задавал молодым писателям какие-то темные вопросы. «Вы знаете, что

лес уже горит? Слышите треск сучьев, волчата? Будете драться за свои шкуры или превратитесь в шелудивых собак?» Может быть, он имел в виду незадолго до этого проведенную партией борьбу с молодым постсталинским искусством? Лучшим ответом на его вопросы стала бы знаменитая песня Владимира Высоцкого «Охота на волков», но она к тому времени еще не была написана. Мрак леса не очень-то соединялся с деревенским праздником нашей молодости — его не смог испортить даже Хрущев. «Расскажите нам, пожалуйста, о ваших встречах с Эрнестом Хемингуэем, мистер Стейнбек!» Он презрительно замолчал, а потом сказал, что ему нужно в туалет, и скрылся.

Джон нахлобучил свой floppy hat¹ и вышел из «Юности» в промозглый сумрак поздней московской осени. Он знал по-русски название одного воровского района здешней столицы. «Мар-р-рь-ина Р-р-роу-у-ца», смесь рычания с шипением. Так он и прорычал с шипением таксисту.

По дороге он думал о тяжелой доле нобелевских лауреатов. Повсюду сопровождающие лица, себе не принадлежишь. Русские, словно сговорились, все талдычат о Хемингуэе. Трудно понять, чем живет эта страна. Евтушенко, кажется, не типичный ее представитель. Посмотрим, каково будет в Марьиной Роше, куда рекомендуют не ездить...

Никакой роши, разумеется, в Марьиной Роше не было. Унылые строения и битком набитые троллейбусы. Светилась одна неоновая вывеска «Гастроном». Вот здесь, за неимением баров, русские общаются друг с другом.

¹ Мягкая складная шляпа (англ.)

Он уже слышал о широчайшем распространении тройственных союзов. Три персоны скидываются по рублю и берут пол-литра. Почему-то всегда на троих. Почему? — вот вопрос. Что за таинственные тройные ячейки и почему милиции это не нравится? Надо попытаться проникнуть в этот секрет. Нобелевские лауреаты, конечно, не из числа тех, что предпочитают с дайкири нежиться под гавайским солнышком, должны проникать в глубь народных масс, где бы то ни было, хоть в Северной Дакоте, хоть в Марьиной Роще.

Он вошел в кишачий народом магазин и с высоты своего роста огляделся. Гражданин в хорошо прожеванной одежде, сразу определив в нем единомышленника, делал знаки, показывая из-за пазухи дрожащий палец. Джон тоже выставил свой грешный указательный. Они сблизились. Подскочил третий пальчик. Все трое вынули по рублю.

С бутылкой, весело, головка к головке, тройца вышла из магазина и прошла в грязный скверик. Хорошо прожеванный гражданин вынул из кармана пальто два стакана. Двое культурно, один — горнистом. «Лады, Большой?» — спросил он Стейнбека. Тот кивнул. «Tell me, — сказал он, — why is it always by three?»¹ — «Глаз-ватерпас, — сказал маленький пальчик. — Каждому по сто шестьдесят шесть граммчиков, два грамма Большому на рост. Вздрогнули!»

После первой бутылки хорошо прожеванный гражданин извлек еще один хорошо прожеванный рубль. Маленький пальчик последовал его примеру. «Большой», то есть Джон Стейнбек, тоже не заставил себя ждать. Вторая бутылка прошла гладко и в темпе. Джон хлоп-

¹ Скажи мне, почему всегда на троих? (англ.)

нул друзей по спинам. «You bastards, tell me, thy is it always by three?»¹ — «Ты много разговариваешь, — сказал маленький пальчик. — Тот, кто много знает, тот мало разговаривает». — «Once more?»² — спросил Стейнбек. Вот это дело. Друзья стали выцарапывать мелочь из складок одежды. Джон дал три рубля. «Большой!» — восхищенно ухнули двое. После третьей бутылки Джон Стейнбек тяжело опустился на обледенелую скамейку и закрыл глаза. «This bloody good will mission»³, — пробормотал он и слегка отключился.

Очнувшись он от толчка в плечо. Над ним стоял милиционер и требовал документы. Морозный ветер скрипел в ветвях. Аптека, улица, фонарь. «Что за птица, — думал милиционер, — кажись, не наша». Стейнбек вспомнил еще два слова, которым его научила переводчица Фрида Лурье:

— Амэр-р-р-рикански пис-с-сатэл, — сказал он. Рычание со свистом.

«Так и есть», — подумал милиционер и взял под козырек:

— Добро пожаловать, товарищ Хемингуэй!

Из этой довольно популярной московской легенды видно, что даже московская милиция в некоторой степени была знакома с образом «знаменитого американского писателя» тех лет, к которому наш замечательный Джон Стейнбек волей-неволей был пристегнут.

Культь Хемингуэя возник в России оттого, что его лирический герой совпадал с идеализированным, то есть неверным, а может быть, как раз очень верным, в не-

¹ Вы, ублюдки, скажите мне все-таки — почему всегда на троих? (англ.)

² Еще? (англ.)

³ Эта проклятая миссия доброй воли (англ.)

котором астральном смысле, образом американца; он воплощал в себе то, чего так драматически не хватало русскому обществу, — личную отвагу, риск, спонтанность. Набоков как-то раз пренебрежительно назвал Хемингуэя «современным Чайльда Гарольдом». Довольно точное определение, но тут надо вспомнить, что и Байрон в свое время поразил русское общество, возбуждал дворянскую молодежь. Уникальные таланты Пушкина и Лермонтова начинались по разряду провинциального байронизма. Восстание гвардии в декабре 1825 года было вызвано байроническим вдохновением.

Существенным моментом притяжения был также хемингуэевский алкоголь. Излюбленный недуг России требовал периодической романтизации, каковую в девятнадцатом веке он получал от гвардейских гусар и кавалерийского поэта Дениса Давыдова. Теперь можно было пить на современный, американско-космополитический, хемингуэевский манер. Алкогольные эксцессы нашего поколения, конечно же, имеют отношение к творчеству Папы, а распутство литературных девочек отходит к эскападам Брет Эшли.

Потом вдруг как-то все устало, все вдруг как-то стало слабеть, тускнеть, и неудивительно: Хемингуэй — ренессансный писатель, и когда ренессанс испаряется, испаряется и хемингуэвина. Этот термин, звучащий слегка как похабщина, стали употреблять московские снобы, подхватившие чью-то фразочку «хвост мула у Фолкнера стоит дороже всех взорванных мостов Хемингуэя».

Нам говорил скабресный демон моды: не смешите меня своим Хемингуэем, хоть он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами, сколько уж лет он у вас висит. Сегодня выноси-

те всех своих хемингуэев на свалку! Пришла теперь пора прощаться... Прощай, прощай, Хемингуэй! Я встретил тебя однажды ночью, и ты мне рассказал нехитрую историю про «кошку под дождем». Прощай, солдат свободы! Мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть вино прямо из меха. Прощай, веселый твой, солдатский, лихой американо-средиземноморский алкоголь! Увы, нам уже не въехать вместе на «джипе» в пустой, покинутый немцами Париж, не опередить армию! В сумерках среднего возраста мы забудем твою науку любви, ту лодку, что вечно отплывает, и науку стрельбы по буйволам, науку моря, зноя и горного кастильского мороза. Прощай, тебе отказано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой половины «Ха-Хя», седобородый Чайльд, прощай!

Попрощавшись с ним таким макаром, я сообразил, что это новая встреча.

...Итак, мы едем на литературный гала-прием. Снегу в тот вечер было, как в Москве. Крутило. Таксист-нигериец в ужасе смотрел на несущиеся снежные космы. Доехав каким-то чудом до места назначения, он признался, что всего два месяца, как водит такси в Нью-Йорке, потому что и вообще два месяца, как в Нью-Йорке, и ничего подобного вот этому белому и холодному песку, который так неумолимо сыплется с неба и делает дорогу такой безобразно скользкой, он не ожидал здесь увидеть.

Я стою в толпе на приеме в центре Манхэттена. Есть что-то античное в этих стоячих американских парти — кажется, будто кто-то тут околачивается с парой кинжалов за складками тоги. Где же Цезарь? А вот и он, автор чего-то «самого захватывающего, са-

мого фундаментального». Знакомых лиц мало, парадругая — из тех, что когда-то посещали Москву, однако чувствуется, что ты в центре литературного истеблищмента. Поражает число высоких женщин. Высокие красавицы, как молодые, так и старые, — отбор, очевидно, идет давно.

Я вдруг подумал не без грусти, что меня сейчас не очень-то интересует современная американская литература. Вдруг я осознал, что произошло какое-то испарение ностальгии. Сигаретные дымки над головами высоких женщин, чуть пониже симпатичные седины и плечи моих американских коллег, окна, охватывающие полнеба, за окном подмигивание стоэтажных финансовых столбов... грустный момент утечки одного из ранних очарований.

Что случилось? То ли сама эта человеческая группа вместе с воплощающим ее образом ЗАПа так изменилась с прежних хемингуэвских времен, то ли она просто оказалась не такой, какой представлялась издалека, то ли я сам изменился в брюзгливости среднего возраста, то ли наша человеческая группа, именуемая «современной русской литературой», так основательно изменилась после того, что пришлось хлебнуть... Рассеялась аура отдаленных пространств, открытого мира, рискованного предприятия, нынче для меня американская литература просто встала в ряд других западных литератур.

Аурой рискованного предприятия нынче окружена сопротивленческая литература Восточной Европы и Советского Союза. Может ли современный писатель найти для себя более головокружительное приключение, чем литературное изгнание?

Сказав об утечке особого интереса, я вовсе не расписываюсь в равнодушии. Напротив, я полон профессионального любопытства, и на правах члена Американской авторской гильдии я постоянно обзираю уже частично как бы и свое профессиональное поле.

Образ ЗАПа и в самом деле претранный изменился под увеличительным стеклом американского быта. В принципе ведь и везде писатель озабочен созданием и сохранением персонального обличья. В Советском Союзе поэт Островой, автор бессмертной строки: «Я в России рожден, родила меня мать», — ни при каких обстоятельствах не снимает тяжелых очков. «Народ знает меня в этих очках» — заявляет он. ЗАП тоже не меняет обличья, не запускает бороды или, наоборот, не бреется, если был бородат к моменту своей славы, держит в зубах погасшую сигару, даже если она ему осточертела, живет в отшельничестве, если за ним повелась репутация отшельника.

Общество обожает ЗАПа, он — любимец, такой немножко как бы капризуля; из множества мифов он один из самых обаятельных, он, кроме всего прочего, и сам является персонажем американской литературы. Процент «писателей» из общего числа персонажей — весьма внушителен. Начинающий писатель пишет роман о начинающем писателе. Приходит первый успех, и появляется книга о первом успехе. Разочаровавшись в приманках славы, писатель пишет о писательском разочаровании. Начинается период семейных неурядиц, измен, адюльтеров, и появляется роман о писательских разводах, изменах, адюльтерах...

Соблазн велик, знаю по себе. Каждое утро, садясь к столу у окна над крышами Вашингтона, хочу написать: «Мистер Акселота, писатель в изгнании, сел к сво-

ему столу у окна над крышами Вашингтона». Увы, обуживаю свой нарциссизм: надо подумать, господа, и о молодых литераторах.

Первая проба профессионализма — написать не о себе. Начинающий писатель, однако, смотрит на своих старших собратьев: все пишут о собственных геморроях, а почему мне нельзя? В результате в «Атлантиках» и «Харперсах» появляются почти неотличимые друг от дружки рассказы, составленные по такой приблизительно схеме.

Сентябрьским вечером, сидя на крыльце своего дома, Шейла М. ждала гостей. Она была стройна (120 фунтов) и обладала пышной каштановой гривой, парой (!) голубых глаз и смугловатой кожей, залитой закатным солнцем (*sic!*). Спокойно и грустно она думала о своих литературных успехах и о недостатках своей половой жизни. Недавно она получила за первый сборник своих рассказов большой приз от Национального фонда искусств, но зато Брюс В., который только что ее покинул, спал с ней не чаще чем два раза в год, то есть за те пять лет, что они провели вместе, он спал с ней десять раз. Иные спят по десять раз зараз и ежедневно, то есть три тысячи шестьсот пятьдесят раз в год или семнадцать тысяч двести пятьдесят раз за пять лет. В чем причина нашей странной бессонницы? В стареньком «фольксвагене» подъехали гости, университетская подруга Шейлы М. Джин С. (несомненно, вторая Шейла М.) и ее бойфренда Гордон Ш. (несомненно, третья Шейла М.). С первого взгляда было видно, что пара наслаждается избытком половой жизни, близким к вышеупомянутой калькуляции.

Втроем они сделали салат из латука и немножечко покушали. Ночью Гордон Ш. пришел к Шейле М. и разбудил в ней женщину. Возможны варианты.

Утром они снова ели салат из латука и обсуждали свои литературные дела. Шейла рассказывала замысел своего романа об одинокой женщине-прозаике, Джим говорила о премии, которую ей обещали в Национальном фонде искусств за новую книгу стихов, Гордон поведал о своих мощных усилиях в Голливуде.

Несколько перемещений в толпе манхэттенского приема — подальше от Бруга, подальше и от Цезаря — и я оказываюсь рядом со знакомым ЗАПом; книги его читал еще в переводах, а самого встречал на международных конференциях. В разговоре он жалуется мне на неприятности с цензурой. Вот именно с цензурой, сэр! Вы думаете, только в России существует цензура? Недавно в Миссури школьный совет округа Тмутаракань постановил изъять мои книги из библиотеки. «Их, видите ли, смущают иные четырехзначные¹ слова и некоторые фривольности моих персонажей. Вот вам новое наступление ханжества, как во времена Маккарти! В Советском Союзе мои книги все-таки переводятся и издаются, не так ли?»

Я почесал в башке: «Кажется, сэр, я знаю, как решить проблему со школьной библиотекой в Миссури. Нужно сделать обратный перевод с советских изданий на английский, и, ручаюсь, никаких неприятностей у вас больше не будет».

Он посмотрел на меня в некотором смущении. «Прошу прощения, старина, в самом деле не очень-то уместно было говорить о цензуре с вами».

В одном университете после лекции меня спросили: знают ли в СССР ведущих американских писателей?

¹ Fourletters word — то же, что в русском «на три буквы».

Не без осторожности я задал встречный вопрос: каких именно писателей имеет в виду студент? Он назвал имена из списка бестселлеров. Пришлось развести руками. Эти имена почти неизвестны активно читающей публике в России. Я и сам их не знал, пока не приехал в эту страну, а между тем именно они волей-неволей направляют массовый литературный вкус, хотя, возможно, меньше всего думают об этом предмете.

Для читающей публики в России существует другая американская литература. Переводчики, надо отдать им должное, отбирают книги не по количеству проданных экземпляров, а по приметам так называемой серьезности. Конечно, в тех случаях, когда не удается обойти идеологический частокол, переводчики подвергают американских авторов порядочной стрижке с удалением не только излишней волосистости, но и кусочков плоти, но все-таки, благодаря высокому уровню переводческой школы, советские читатели смогли в течение последних двадцати пяти лет познакомиться с рядом блестящих имен.

Особенно четкой границы между серьезной и коммерческой литературами, как я понимаю, сейчас нет. Иной раз и серьезные попадают в золотые списки, другой раз и постоянные обитатели этих списков демонстрируют твердую руку и серьезность проблем. И все-таки ориентировка на списки торговых рекордов вызывает к жизни не только несметное число безвкусицы, но и особый тип пишущего человека.

Однажды я познакомился с романистом, который на вопрос, какого рода книги он пишет, ответил просто: «Бестселлеры. К сожалению, плоховато продаются», — добавил он.

В определенном смысле коммерческая литературная халтура имеет некоторое сходство с идеологической литературной халтурой.

Как-то раз на телебеседе дамочка-писательница делилась секретами своего ремесла. «Прежде чем начать новую вещь, — говорила она, — я тщательно изучаю спрос. Писатель, — она поднимала приятный пальчик, — должен знать литературный рынок». Легко воображаю эту даму в роли члена Союза писателей СССР. Таким же благообразным тоном: «Писатель должен изучать последние партийные документы, быть в курсе решений партии по литературным вопросам».

Кружным путем сообщество авторов бестселлеров напоминает советскую партийную номенклатуру: в нее трудно попасть, но из нее почти уже невозможно выпасть. Нынче в американской литературе книга часто становится бестселлером, потому что она написана автором бестселлеров. Читатели доверяют этим авторам, полагая, что вкладывают деньги в стоящее солидное дело. Авторы стараются поддерживать «торговую марку», выдавать на-гора то, чего от них ждет рынок. Вырабатывается коммерческая инерция, под которую нередко попадает и серьезная литература. Тут не до экспериментов.

К внутриамериканской торговой инерции я отношу и равнодушие к иностранным книгам. Успех итальянца Эко уникален. Один книготорговец как-то объяснял мне: пролистывая новую книгу и находя в ней иностранные «трудные» имена, наш массовый читатель автоматически откладывает ее в сторону. Забавно, не правда ли, для страны, где добрая половина населения состоит из Джонов Домбровичей и Джейн Дзапарел-

ло. В России, между прочим, наоборот — при виде иностранных имен читатель заинтригован.

Любопытно, что литературная критика очень мало влияет на продажу, она как бы существует вне коммерческой сферы. Вряд ли найдете вы в солидных еженедельниках рецензии на самое «горяченькое», иной раз лишь что-нибудь сквозь зубы, глуховато-ироническое, однако авторы бестселлеров в положительных ревью, очевидно, просто не нуждаются: они уже в списке! Воспитание литературного вкуса происходит в замкнутом кругу лиц с хорошим литературным вкусом.

В общем и целом я раскланиваюсь в любезной позе насколько могу. В какой-то мере я и сам уже часть этой литературы (и не только на правах национального меньшинства), литературы, в которой все еще, несмотря ни на что, крутится хвост йокнапатофского мула, взлетают в воздух испанские мосты, бренчит джаз бит-поколения и ковыляет раненый кентавр Новой Англии. Страдает ли литература от сожительства с долларом или что-то от этого выигрывает? — вопрос еще открыт. Увы, человечество пока не придумало системы отношений более естественной, чем деньги. То, что нам предложил Карл Маркс, на деле оказалось возобновлением отношений доденежной поры. Это, впрочем, не может отобрать у писателя права на когти. Венецианский книжник-лев лицом своим располагает к чтению, к писанию — когтями!

Русские литераторы, вообще русская интеллигенция, выкарабкиваясь, по выражению Солженицына, из-под глыб тоталитарщины, рассчитывала на солидарность художественной интеллигенции мира. В шестидесятые годы многие блестящие таланты Европы были еще под

влиянием так называемой прогрессивности, то есть если и выражали солидарность, то в адрес литературных бонз социалистического режима. К чести американских писателей следует сказать, что они реже попадали под власть идеологического гипноза.

Жан-Поль Сартр, например, высокомерно назвал Пастернака «строптивцем Востока», он отказался от Нобелевской премии, не желая следовать за этим «непрогрессивным» писателем, в то время как столь многократно упомянутый выше Хемингуэй просто сказал: «Если Бориса вышлют на Запад, я куплю ему дом».

ГНЕВ ФЕРНАНДЫ

Не так давно в журнале «Комментари» некая писательница Фернанда Эберстадт (не исключено, что приятельница Бернадетты Люкс) представила обществу ядовитый разбор моего романа «Ожог», сопровождаемый еще более ядовитым жизнеописанием автора.

В лучших традициях советской литературной коммуналки Фернанда поведала читателям некоторые неблагоприятные факты моей биографии и представила на обозрение неоконсервативной общественности мои сомнительные политические склонности и отвратительные черты характера.

Здесь, разумеется, не место говорить подробно ни об обвинениях миссис Эберстадт, ни о том, что ее писания поразительно отличаются от привычного стиля американской журналистики и напоминают скорее словесный блуд иных моих соотечественников — доброжелателей как из эмигрантской, так и из советской

среды; уместно, может быть, лишь остановиться на одном эберстадовском пункте.

После того, пишет она, как Аксенов в 1963 году лицемерно покался в «Правде», он в течение двадцати лет наслаждался благоволением Кремля и непрерывными поездками за рубеж, в том числе в 1975 году в Калифорнию, а именно (очевидно, в соответствии со своими анархическими склонностями. — В.А.) в пресловутый Беркли.

Тут очень много неправды, которую можно отнести и за счет хорошо мне ведомых «русских консультантов» Эберстадт (она была студенткой в классе Бродского), а можно, впрочем, оставить и на ее совести. Во-первых, с 1963 года («покаяние») до 1980-го (высылка и лишение гражданства) двадцати лет явно не прошло, во-вторых, в течение этого периода я, по крайней мере три раза, на многолетние сроки становился «невъездным».

Что касается поездки 1975 года в Калифорнию (в UCLA, а не в Berkeley), то за эту поездку я бился едва ли не целый год, писал бесконечные заявления, ходил на приемы к различным «бульжникам» и даже инсценировал что-то вроде истерики в секретариате Союза писателей с криками: «Я вам не крепостной мужик!» Так или иначе, — каюсь, Фернанда! — я и в самом деле провел тогда два месяца в США и по приезде написал книгу американских очерков «Круглые сутки нон-стоп».

Любопытно мне было сейчас, когда я завершаю свою вторую книгу об Америке и нахожусь в преддверии своего американского романа, почитать те очерки 1975 года. Забавно прежде всего то, что в них, напечатанных в советском журнале «Новый мир», не

содержится почти никакой критики американской жизни.

Весна 1975 года в Калифорнии была для меня, может быть, самым беззаботным временем моей — прости еще раз, Фернанда! — хлопотливой и суетной жизни. Дважды в неделю семинар на родном языке, а потом Санта-Моника-бич, «многопартийная система», всякого рода шлянья — как будто молодость вернулась. Может быть, эта беззаботность и сказалась прежде всего на карнавальном и — Фернанда! — конечно же, гедонистическом характере книги «Круглые сутки нон-стоп», а может быть, тут что-то присутствовало и по-серьезнее, а именно нежелание чужака замечать изъяны здешней жизни.

Подсознательно я как бы отшвыривал стереотипы многолетней антиамериканской пропаганды и, изображая волшебную карнавальную Калифорнию, как бы бил по социалистическому реализму. Как еще я мог писать тогда о самом западном Западе, после которого снова уже начинался Восток? Вся моя критика тогда направлялась в адрес родины, что и окончилось, как уже было сказано, потерей родины.

Сейчас я уже почти американец. Я привык к тому, что меня раньше раздражало, — например, к запаху попкорна в кинотеатрах, к слабому американскому кофе, к тому, что футболом называется не-футбол, я привык ставить месяц впереди числа, говорить «у-упс» вместо «оп» и «ауч» вместо «ой», потряхивать кистью правой руки, будто обжегся, если что-нибудь непомерно дорого... Будучи американцем, я уже свободен от безоговорочного восхищения, я вижу не только светлые окна, но и затхлые углы моего нового дома, будучи им «почти», я все-таки временами почесываю себе

башку: а не вышвырнут ли меня и отсюда за критиканство?

Вот Фернанде Эберстадт мое ворчание ведь явно не нравится. Сидит, дескать, в Вашингтоне какой-то развязный анархист, бывший «комсомольский хиппи», прохлаждается, да еще денежки получает за критику американской массовой культуры.

Консервативная дама, впрочем, не высказывает своих соображений по поводу моего правового положения в этой стране, но вот К.-Е. Матиас из Атенса в ответ на мою статью в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» пишет: «..Мы не выбросим Аксенова из нашей страны, но мы ответим более суровым возмездием на его мрачные размышления о нашей художественной жизни, мы будем игнорировать их» Это заявление дает мне повод предположить, что, если Матиас вдруг смягчится и воздержится от «более сурового возмездия», меня все-таки выбросят.

Боги! Куда же мне тогда деваться, «куда нам плыть», ведь дальше вроде и некуда, ведь Америка же это вроде как бы last frontier, на которой предполагалось отбиваться до конца?.

АМЕРИКАНСКИЙ ДОЖДЬ

Дождь в Джорджтауне, все замедленно, машины наплывают одна за другой в ритме долгого дождя, почти элегически мы движемся в своем «бэби-бензе» в поисках местечка, чтобы пришвартоваться, мимо маленьких домов с медными ручками дверей, с фигурками уток и фламинго на крыльце, с окнами, за которыми видны

картины, камины и лампы, мимо этнических ресторанчиков и маленьких лавок, демонстрирующих фокусы обувной, табачной, мебельной и прочих элегантностей и экстравагантностей, вдруг слегка вздымаемся, оказавшись на мостике через канал, где еще уцелели деревянные шлюзы, — в конце улицы, в сумерках серой полосой прокатывается Потомак — появляется расплывающийся красный светофор, обзор закрывается складками плащей, разноцветными клиньями зонтов, мелькают два-три смеющихся лица, ритм внешнего движения вдруг совпадает с блюзом внутримашинного радио...

«Ах, американский дождь...» — вздыхает наша московская приятельница. Третьего дня мы случайно натолкнулись на нее возле памятника Линкольну. «Вот, посмотри, — сказала Майя, — на ступенях сидит женщина, как две капли воды похожая на Галю Груздеву».

В первые годы после эмиграции, надо сказать, перед нами то и дело мелькали в американском калейдоскопе знакомые московские лица: то сенатор какой-нибудь на газетной странице оказывался похож на Женьку Р., то бартендер в ресторане на Витьку Е., то банковская кассирша смахивала на Ирину Д. и т.д. Даже в чертах баскетболистов на экране ТВ нам виделись наши прошлые Жоржи, Таньки, Светки, Мишки.

Двойник Галки Груздевой встала и оказалась Галкой Груздевой. Оказалось, что большевики вдруг расщедрились и отпустили ее в Америку, и вот именно в Вашингтон, на научный конгресс. Нет, она нам не звонила, у нее и телефона нашего не было. Ну, конечно, она могла бы достать наш телефон в Москве, спросить у друзей, но не спрашивала, боялась, трепетала над своей визой, как над фарфоровой — как бы не кокнуть, а вдруг отберут, если узнают, что с Аксеновыми дружна.

И вот такая встреча. «Я о вас думала, а вы вдруг материализовались, нет-нет, я теперь не боюсь, ведь это уже Америка». В дождливые сумерки мы едем вместе ужинать в Джорджтаун. Она, не отрываясь, смотрит в окно на брызги дождя и, очевидно, замечает гораздо больше, чем мы, в окружающей столь влажной действительности. Немолодая женщина, ученый-биолог, умная и уже основательно усталая, как и все немолодые советские женщины-биологи. Она впервые в Штатах и, кажется, впервые вообще на Западе.

Вдруг — удача! Какой-то браваый малый бодро подходит к своему «камарро» — значит, мы сможем встать на его место. Я открываю окно. Are you leaving, sir? Он улыбается. Your luck!¹ Галя смеется. «Мне все еще забавно, что вы разговариваете по-английски». В самом деле, забавный образ жизни, соглашаемся мы: внутри ты говоришь на своем языке, открываешь дверь и оказываешься как бы в другом составе воздуха.

...Мы ужинаем в китайском ресторане. Наша приятельница разглядывает других едоков, вполне обычный подбор Джорджтаунских dining parties².

— Знаете, ребята, я иногда думаю, — говорит она, — что американцам, наверное, гораздо труднее умирать, чем нашим людям.

— Ты думаешь, здесь мало беды?

— И все-таки, — она вздыхает. — Здесь, может быть, не меньше драм, но меньше тоски, худосочия, унижения. Жизнь здесь человечнее, из нее уходит труднее, чем из нашей..

— Однако они не знают ведь другой, для них эта жизнь вполне обычна, они не помещают себя в ту

¹ Вы уезжаете, сэръ.. Вам повезло! (англ.)

² Дружеских обедов (англ.)

жизнь, которую ты, Галя, столь метафорически называешь нашей...

ЦВЕТУЩИЙ СКЛОН

Апрельским пополуднем (так и хочется сказать «афтернуом») я гуляю с нашей собакой в Рок-Крик-парке. В этой его части нет ничего культивированного, возникает иллюзия леса, хотя по берегам каньона в десяти минутах ходьбы располагаются иностранные посольства. Ручей, тропинка, склоны, кусты орешника и вишни, стволы огромных дубов, каштанов и кленов.

Мы одни. Ушик хлопотливо что-то выискивает в камнях и траве, бросает задними лапами прошлогодние листья. Полное отсутствие ветра. Все неподвижно во всем объеме леса и неба. Рассеянный серый свет. Крутой склон прилегающего к каньону парка «Дамбертон оакс» в полном цветении: все оттенки розового перемешаны с пятнами яркой желтизны и пучками белого, и все пронизано нежнейшей зеленью. Я долго смотрю на этот цветущий склон, и вдруг меня посещает уверенность в том, что это не что иное, как душа моей недавно скончавшейся в Казани девяностодвухлетней тетки Ксении.

Она умерла полгода назад, но я узнал об этом только за неделю до этой встречи. Письма из Казани почти не доходят, телефонные звонки из Вашингтона, думаю, поднимают по тревоге полный состав местного ГБ.

Сестра моего отца, она росточком не доходила ему до плеча, некрасивая, нос картошкой и удивительно голубые глаза. Муж ее погиб, господи, еще в Первую мировую войну, и с того времени она была одинока,

если не считать оравы чужих детей, которых ей, поколение за поколением, пришлось воспитывать.

Я оказался в ее доме после ареста родителей пятилетним детдомовцем, и она воспитывала меня до шестнадцати лет, пока я не отчалил в свое магаданское юношество, к ссыльной маме. Во время войны в казанском доме остались одни женщины и дети. Чтобы прокормить всю ораву, тетя Ксения отправлялась и в дождь и в стужу на местную «барахолку». Она торговала там чужими вещами и получала с продажи какой-то процент. Дети ждали у окна ее возвращения. Вот она появляется сквозь пургу, кургузая, маленькая, тонкие губы упрямо сжаты. Иногда она приносила краюху хлеба, луковицу, иногда пару килограммов картошки, иногда ничего.

Вернувшись после десятичасового стояния на рынке, она рубила сучковатые дрова, — слышны были ее натужные выдохи, от которых нам всегда становилось стыдно, — варила еду, иной раз устраивала общую баню.

Запомнилась сцена. Я стою в корыте. Она мне трет невымытую грязную ногу мочалкой, потом отстраняется, как бы любуясь результатами своего труда, и говорит: «Ну, вот, сравни теперь ту и эту, какая же лучше?» Мы оба смеемся. Счастливый момент детства — тетка меня любит!

При жизни о тете Ксении говорили: «У нее большая душа». Встретив ее в цветении склона «Дамбертон оакс», я увидел, какая это была спокойная и мирная красавица.

Большевики изгнали меня с моей родины, отрезали путь к дорогим могилам, однако души витают вне их власти и встают перед изгнанниками в испарениях американской земли.

ИЗ ДНЕВНИКА ГЕРОЯ БУДУЩЕГО РОМАНА

Внезапно обнаружил себя лежащим на ложе, жестковатость и малопружинистость которого вызывали странные ощущения той жизни. Это ощущение усугубилось пятном на стене, до странности похожим на то, что образовалось там в 1969 году, когда Виктория швырнула в меня банку с майонезом, но промазала, после чего в течение долгих лет это невыводящееся пятно служило мне доброй опорой: стоило только выразительно взглянуть на него, как Виктория прекращала спор и покидала комнату.

«К счастью, все это лишь капризы подсознания», — подумал я. В окно с прежней яркостью жарит солнце Бетховен-стрит, стоит одно из тех утр, не так уж редких здесь, когда кажется, что за ночь мир переменяется к лучшему, или во всяком случае не сподличал в очередной раз — никто не взорван, никто не похищен.

Если только я сам не похищен. Будто похмельная спазма прошла по коже, показалось, что откуда-то хоть и стороной, но вполне отчетливо прошла фраза «нарастает темп уборки урожая, труженики полей по достоинству оценили меткие замечания товарища Горбачева».

Как обычно, большим пальцем левой ноги я включил телевизор. От сердца отлегло: на экране оказался Брайант Гамбл. Он хоть и сказал по-русски «доброе утро», но все-таки с нашим акцентом. Просто Эн-би-си ведет очередную «живую» программу из Москвы, вот наш парень и научился немного вякать по-ихнему.

На кухне не оказалось ни пива, ни кофе, чтобы поправить голову. Снова взяла оторопь: это ведь тоже оттуда, это выражение, здесь-то давно муки похмелья в отставке.

Отправился на угол в магазин «7—11», купить себе кофе. Бетховен-стрит выглядела странновато. Куда-то исчез филиппинец, торговавший с коляски хотдогами и мороженым, весь бизнес которого держался на людях, коим не с руки было пройти лишнюю сотню метров за тем же товаром в «7—11». Вместо него стоял богато одетый узбек с золотым орденом Чойбалсана на лацкане цековского спинжака. Чего он тут стоит, к чему приценивается? Откуда вообще взялся этот персонаж среди нашей хипни? Ага, должно быть, просто член делегации парламентариев, вышел из «Хилтона» пробздаться, мечтает о девке...

А вдруг?.. Прошиб лошадиный пот. Влетаю в лавку. Сердце стучит, как лошадь. Цепляю со стенда свеженький «Пентхаус», бодрю себя смешком: интересно, какие тут сегодня лошади, какие ляжечки на обложечке? В зеркале вижу лошадиную загнанную рожу, в руке журнал «Советский экран». Швыряется в глаза фраза передовицы «нынче вряд ли найдется в нашей стране человек, не поверяющий себя решениями Апрельского (1985) пленума ЦК КПСС»...

Неужели влопался? За ночь перевезен из нашего города в их, то есть в нашу ту из этой их, иными словами, в эту вот прежнюю, из той настоящей?

Что-то все-таки вокруг еще вращалось, подмигивало и предлагалось, продуктов и товаров было вокруг еще немало, однако не оставляло ощущение зыбкости и незаконности.

Надо срочно брать такси и мчаться куда-то. Если есть еще хоть малый шанс удержаться, надо его использовать!

Такси различных фирм пока предлагались в избытке. «Желтый кеб», «Атлас», «Пять звезд», «Голубая вер-

шина»... Выбираю почему-то без надписи на борту, но зато оливкового цвета и с шашечками. «Гони!»

Таксист сразу начал ругать правительство и делал это с провокационным упоением: хмыри, мол, аферисты, поганой, мол, их метлой! Парирую: «Если вам не нравится правительство, выбирайте другое!» Он радостно сверкнул цыганским глазом: «Помоги, друг, достать произведения Солженицына!» Нет, этот номер не пройдет, не спровоцируешь! Начинаю мычать что-то вроде «этих превосходных полетов», а получается генетически опротивевшее: «Мы красная кавалерия и про нас»... Машина останавливается у подъезда «Союза творческих союзов». Вижу часовых с четвертой и второй буквами русского алфавита на погонах. «Куда ты меня привез, распиздай?»

«Кажется, по адресу», — отвечает раб, подавляя рыдания. «Нет, не выйдет, вези туда, где у меня еще остался шанс!» — «Куда? Где это ваш шанс? Сами не знаете!»

...Площадь вздымалась брусчатым горбом и сплющивалась по краям, будто в широкоугольной оптике. Агарофобия окаймлена была клаустрофобией громоздящихся строений, все эти красные кирпичи и плиты шлифованного лабрадора, все эти зубцы, шпилы, козьи ножки карнизов, витые тюрбаны куполов, вся эта социалистическая Византия.

Нескончаемая очередь тащилась по краю площади и утекала в прямоугольную черноту. Предполагалась торжественность, но кто-то тихонечко жевал, кто-то, заглядывая в рукав, читал книжку. При полном отсутствии шансов люди все-таки не хотели даром терять времени. А может быть, каждый, как и я, лелеял последнюю надежду?

Из-за угла дома, похожего на сундук персидского царя, вдруг выполз круглый нос и крутой лоб «Боинга-747». Кажется, это и есть мой шанс, нужно только пересечь площадь. Однако я не смогу этого сделать в одиночку — агарофобия сдует, как мотылька. Все-таки оторвался от вечной очереди, шатким шагом достиг вершины бугра и там закачался под ветром. На счастье, из башенных ворот вдруг появилась толпа авиапассажиров и зашагала ко мне, персон не менее трех сотен.

Они шли в ровном темпе, неся через плечо или в руках свои сумки, фотокамеры, туалетные ящички, и брифкейсы, и прочее, то есть теннисные ракетки и клюшки для гольфа. Выглядели они как-то вразнобой — иные загорелыми и цветущими, будто прямо из Майами, другие бледными и задроченными, будто не иначе как из Нью-Йорка. Одни шли по-простецки, едва ли не на босу ногу, другие по всем законам клуба, одни беззвучно хохотали, демонстрировали сильнейшее возбуждение, будто только что освободились из бейрутского плена, другие шагали с сосредоточенной вяловатостью, словно возвращались из деловой командировки в Чикаго.

Вот вам два-три портрета. Милейшая толстуха буфетчица в растягивающихся джинсах и в майке с надписью «I'm sexy»: задниц таких не видывал ни Крым, ни Кавказ. Трудящийся миллионер в длинной шубе из скандинавских мехов шествовал, потупив глаза, как всегда немного смущаясь своего богатства, будто «роллсройс» среди «фольксвагенов». Стройная женщина-администратор с негативным выражением лица, но зато с великолепнейшим, до складочки, разрезом на юбке; смущало некоторое несоответствие — лицо намеренно отталкивало, нога намеренно привлекала. Длиннорукий выпуклоглазый малый в майке с надписью «пума»,

с изображением оной и с пучками рыжих волос, из-под майки выпирающих.

Вот к этим своим согражданам я попытался подвалиться, стараясь отвалить подальше от соотечественников, безучастно взиравших из очереди на агарофобический пейзаж. Шатко и неуклюже я шагал вровень с авиатолпой, срезая понемногу, осторожно сближаясь, стараясь не привлечь чрезмерной резвостью внимания сторожевых башен.

Вскоре я заметил, что слился с этой беззвучно шагавшей, жестикулирующей и артикулирующей толпой. Я оглядывался во все стороны, и мне казалось, что я вижу среди идущих немало то ли знакомых, то ли примелькавшихся лиц: своих соседей по кондо, джоггеров, шоферов грузовиков, патрульных, профессоров-либералов-консерваторов, стареющих хиппи, двух поэтов и пяток киношников, дипломатов из Ди-Си, китайских кулинаров, директора, адмирала, писательницу романтического направления, адвоката и чиновницу, водителя скул-баса, студентов-троянцеv и студенток-амазонок, пару кандидатов в президенты, болельщиков футбола, женских активистов, нищих, яппи, фотографа с тремя котами, грабителей, священника, синклит русистов, джазменов, нудиста, Джейн Фонду, ЗАПа, Ромео, Меркуцио, няню... Неужто мой шанс сработал, а если это так, то почему бы и другим с того дальнего берега площади, из тех зубчатых теней, не попытаться соединиться с идущими и не топать вместе? «Не жди ответа, — сказал я себе, — ни на первый вопрос, ни тем более на второй».

Рыжий в майке с надписью «пума» — мистер Флит-флинт? — вытянул губы и стал что-то насвистывать. Тут включился звук.

V

ЯЙЦО

Иногда третья степень американской эпистолярной прозы — это не просто роман, а то, что называется романом-эссе. Попробуем эту жанр назвать уже у нас — роман-эссе, но есть и исключение: британский роман обмануться *Talk of the Egg* («Беседа об яйце») — это не просто роман, а то, что называется романом-эссе. Попробуем эту жанр назвать уже у нас — роман-эссе, но есть и исключение: британский роман обмануться *Talk of the Egg* («Беседа об яйце») — это не просто роман, а то, что называется романом-эссе.

У той же книги довольно странная печать. С первого же листа видно, что автор — американец, а страна хунгарь, в том, что касается языка, автор пишет свой американский роман. Судя по-то, что термин «яйце» — это не просто слово, а целый мир, принадлежащий американскому менталитету средних лет. Заглавием на русском языке будет «Яйце», а в оригинале — «Яйце», а в оригинале — «Яйце». Я думаю, что это не просто слово, а целый мир, принадлежащий американскому менталитету средних лет. Заглавием на русском языке будет «Яйце», а в оригинале — «Яйце», а в оригинале — «Яйце».

И наконец, третья сугубо американская книга, на этот раз не non-fiction, а самая что ни на есть «фьюкшн»; роман, да и не просто роман, а то, что называется «роман с ключом». Повернуть этот ключ надо уже в самом-самом начале, то есть в названии; по-английски роман называется *Yolk of the Egg* («Желток яйца»), а произносится это так же, как *Yoke of the Egg*, то есть «Иго яйца». По-русски ключ здесь не поворачивается.

У этой книги довольно странный генезис. С первых же дней жизни в Америке я стал думать о том, что когда-нибудь начну писать свой «американский роман». Сидя как-то на террасе кафе в приморском районе Лос-Анджелеса, я услышал среди обеденного гула чей-то голос, произносящий возбужденные фразы по-русски. Он принадлежал довольно опустившемуся молодому человеку средних лет. Запомнилась задранная на коленку босая нога, с большого пальца которой свисала стертая сандалия. Отхлебывая пиво и ни к кому не обращаясь, этот человек говорил о системе Станиславского. Я вдруг почувствовал момент зачатия своего «американского романа», приехал домой и записал в альбом, подаренный мне Беллой Ахмадулиной, что-то вроде: «Вэнэс, солнце, босая нога, система Станиславского, get up, Stan!»

Кстати, об альбомах. С того Беллиного я повадился начинать всякий новый «проект», как сейчас говорят, в таких толстых, эстетически привлекательных книжечках без букв, крытых чаще всего какой-нибудь материей. Сам акт записи, даже ничтожной, в такой гробух становится чем-то вроде опрятного и уединенного рисования. Приятно видеть, как альбом заполняется буквами, словами, всякими птичками, корабликами. Вас уже тянет к альбому, он становится некоторой материализацией замысла, причем не в занудной последовательности, а в разных частях контура, иной раз и за пределами.

Я так и студентам своим советовал. Придет какой-нибудь Чарли Кукел: профессор, меня тянет к роману, но не знаю, как начать. Заведите альбом, Чарли, говорю я ему. Записывайте туда все, что думаете о романе, все, что находите нужного в книгах, на улице, в любой болтовне, запишите какой-нибудь диалог, потом какое-нибудь описание, варианты начала, финала. Только не составляйте плана. Роман интересно писать, когда не знаешь, что будет через пять страниц. Заполните весь альбом и увидите, что роман начинается. У Чарли Кукела освещаются глаза, лицо превращается в лик одержимого. Он все понял и бежит в магазин «Бордерс» искать альбом.

Забыл ему сказать, что на это может уйти гораздо больше времени, чем он сейчас думает, мчась в «Бордерс»; иногда годы. Иногда ты можешь даже забыть о таком альбоме (как у меня получилось с «Новым сладостным стилем»), чтобы потом его найти и заново заторчать.

В первой половине 80-х мне пришлось отложить свой романый альбом, чтобы заняться английским. Для

преподавательской работы в Университете мне нужно было улучшать английский, и для этого я завел себе новый — совсем другой — альбом. Буду составлять в нем списки новых слов, а потом записывать какую-нибудь сцену с использованием этих слов, что-нибудь разговорное, или описательное, что-нибудь простое, а потом что-нибудь снобистское, попытаюсь, скажем, записать некий лимерик.

There was a man in well known a nation,
 He was worth of a modest quotation.
 Having beer once he said:
 You can grasp outset,
 You cannot understand termination.

Получалась какая-то смешная игра. Вдруг осенило: а почему бы не попробовать из этой писанины составить какое-нибудь повествование? Если получится, убью сразу двух зайцев (это по-русски), то есть two birds by one shot (по-английски). И язык свой улучшу, и повесть какую-нибудь напишу. Перелопачу ее родной кириллицей и напечатаю. Потом ее переведут на английский. Сравню их английский со своим. Таким образом еще больше улучшу свой университетский working English. Вот такие хитрые были соображения.

Дальше — больше, залезаю все глубже. Замечаю, что все реже копаюсь в словарях. Все реже строю фразу по-русски. Чувствую, что начинаю проборматывать кое-какие фразы (как это часто получается в родном), то есть получаю удовольствие от фонетики. Однажды приходит в голову курьезная мысль, что, если бы «товарищи» выперли меня из СССР лет на 10—12 раньше, я вообще перешел бы на английский. (Сейчас, после стольких больших русских романов, благодарю «това-

ришей» за то, что они этого не сделали.) Завершающие фразы идут весело, вся штука получается по Шкловскому, в манере «остранения» (defamiliarization), то есть здешний читатель увидит, как воплощается на их языке русский авангардный «сказ» (the skaz). «Яйцо» снеслась!

Надо, конечно, проверить на своих. Даю манускрипт нашей адмиральше Владочке Толли. Книга возвращается к автору в красочном двухцветном варианте (Влада работала красными чернилами). Даю местной девушке из нашей компании, Фрэнсис Хардин. Книга украшается зелеными чернилами.

Итак, редактура закончена, и я начинаю пробовать текст на публике. Читаю кусок в университете, другой в писательском обществе Вашингтона, третий в одной из интеллектуальных book groups. Реакция вроде вполне адекватная, но самое интересное состоит в том, что никто не выражает никакого удивления по поводу перехода автора из одной языковой стихии в другую.

В книжной группе после чтения ко мне подошел шикарный вашингтонский адвокат и предложил свои услуги в качестве литагента for the Egg. Слушайте, мы можем здесь сделать большой прорыв, сказал он. Пошлем книгу сразу в 15 нью-йоркских издательств и объявим аукцион. Я, как дурак, думая, что передо мной опытный аукционер, согласился. К тому времени (середина 80-х) у меня еще сохранились иллюзии по поводу нью-йоркских литературных вкусов. Что касается аукционов, я видел только аукцион тунцов на рыбном рынке в Токио.

Рукописи вернулись из всех 15 адресов. Интересно, что все ответы звучали примерно в одном ключе, все хвалили фантазию автора, но выражали убеждение, что их читатель не примет «тотальной иронии по по-

воду серьезных проблем». Интересно, что никто не выразил никакого удивления по поводу перехода на английский. Я-то воспринимал этот факт как литературную игру, но такие дела были не приняты в этом сообществе: народ серьезный, финансовый. Весомое мнение быстро распространяется. Послав роман в 15 издательств, мой адвокат одним махом угробил книгу. Впоследствии несколько отрывков из «Яйца» были напечатаны в малотиражных американских журналах. Потом его перевели с английского и издали книгой во французском издательстве «Денозль». В 90-е годы, когда советская цензура приказала долго жить, я сам перевел роман на русский — к моему удивлению, это оказалось не такой уж легкой работой — и отдал его в журнал «Знамя».

Теперь по делу. Является ли сей курьез подлинно американской книгой? О чем она? Вот краткий синопсис: ФБР получает «утечку», что КГБ интересуется ЛЛЛ, то есть Либеральной лигой Линкольна, культурным центром, расположенным в яйцеобразном модернистском строении на Вашингтонском молу, то есть на эспланаде между Капитолийским холмом и Белым домом. Одновременно становится известно, что в ЛЛЛ прибывает по приглашению президента этого заведения, американского аристократа Генри Трастайма его личный друг, выдающийся лингвист, а также известный московский чудака и эксцентрик Филларион Ф. Фофанов. Молодому спецагенту ФБР Джиму Доллархайду поручается вести тайное расследование.

Все интересуются гостем из «перестроечной Москвы», в том числе и молодая лингвистка и убежденная феминистка Урсула Усрис. Она постоянно его задирает, подвергая сомнению существование таинственных рус-

ских суффиксов «кртк», «мрдк» и «вспч», за коими охотится вся лингвистическая община. В процессе расследования Джим узнает, что ЛЛА находится в фокусе интересов никому не ведомого агента Зеро-Зет.

Советник советского посольства по садовым культурам и скрытый монархист Черночернов получает от своего шефа генерала Егора Егорова приказ добыть из «Тройного А» «самый острый идеологический материал в мире», «Висбаденский дневник» Ф.М. Достоевского. Их также интересует суперагентура Зеро-Зет, которая раньше выполняла задания КГБ, а теперь выходит из-под контроля.

Начинаются любовные приключения. Президент Трастайм находит в Чикаго свою старую любовь Ленку Щевич. На катке возле Национального Архива Джим Доллархайд, юноша неортодоксальной ориентации, впервые в жизни влюбляется в женщину. Это Урсула. Последняя спешит на blind date и в лице партнера находит Фила ФофанOFFа, и никого иного. ФФ, разумеется, влюбляется в неотразимую УУ. Под их постелью распластанный страдает полковник Черночернов.

ЧЧ напоминает ФФ о том, что 20 лет назад по пьянке он дал подписку о сотрудничестве с КГБ. Теперь он должен помочь завладеть дневником Достоевского. Все подозревают друг друга и самих себя. Оказывается, что весь шпионский Вашингтон жаждет завладеть дневником, хотя он никому не нужен.

Ночью все собираются в «Яйце». Внезапно через главный компьютер начинает действовать структура Зеро-Зет. Начинается «вакханалия монстров среднего размера», в которых можно разгадать три страшных суффикса русской лингвистики, кртк, мрдк и вспч.

Дело приближается к трагической развязке. Герои показывают неплохие человеческие качества. Зеро-Зет в конце концов уничтожает «Яйцо» и как гуманитарный институт и как роман.

В заключение, уже за пределами книги, уже лишенные теней и отражений, персонажи собираются на льдине, которая отражается в водах Леты в виде Вашингтона.

Итак, все реальное действие, если можно так сказать о действии этого романа, происходит в столице Соединенных Штатов. Большинство героев и персонажей романа — американцы. Представляю вам их в том порядке, в каком они перечислены в последней главе «Отражение и слияние».

Генри Трастайм, президент ЛЛЛ.

Филларион Ф. Фофанофф, московский чудак.

Джим Доллархайд, спецгент ФБР.

Урсула Усрис, феминистка.

Каспар Свингчзар, начальник охраны ЛЛЛ.

Полковник Черночернов, монархист СССР.

Генерал Егор Егоров, ст. повар советского посольства.

Филиситата Хиерарчикос, библиотекарь ЛЛЛ.

Елена Шевич, хозяйка прачечной «Оптимистическая трагедия».

Карлос Хаммарбургер, суперагент Зеро-Зет.

Доктор Хоб-Готлиб

Брюс д'Аваланш

} контрразведка ФБР.

Чарльз

Тед

Матушка Обескураж

} бродячие призраки
мировой литературы.

Быть может, эти лица и не совсем похожи на среднетиповых героев нынешнего периода американской

литературы, иными словами, они не похожи на Johnny & Jane next door, однако подумайте сами, господа читатели, где же мог их выудить автор, если не в Вашингтоне предпоследнего десятилетия XX века.

Главным же героем книги безусловно является сам город. Отвлекаясь от шутовской метафизики, я жаждал написать образ американской столицы, которая сама по себе является яйцом с тремя оболочками. Большой Вашингтон — это огромное городище на 5—6 миллионов жителей, пересеченный автотрассами. Виды его пространств мало отличаются от всем привычной «американцы»: бензоколонки и торговые плазы. Внутри у него помещается собственно столица, Вашингтон, дистрикт Колумбия, небольшой, на 0,5 миллиона, город европейского типа, по которому приятно таскаться пешком: музеи, кафе, книжные магазины. И наконец, внутри D.C. сидит совсем уже маленький Джорджтаун, по старинному каналу которого гигант Фил ФофанOFF передвигается на каяке. Все основные фигуры романа являются «фланерами», то есть они все время, и большей частью бесцельно, перемещаются внутри своего города, создавая его портрет. Этот образ жизни роднит их с героями Белого, Николаем Аполлоновичем Аблеуховым, с Дудкиным и Липпанченко, равно как и с героями Джойса, Леопольдом Блюмом и Стивенем Дедалусом. В этом контексте можно сказать о Вашингтоне как о городе спецагента Доллархайда и филолога ФофанOFFа. Что касается их города, то о нем, перефразируя советскую банальность «Москва — город герой», можно сказать «Вашингтон — это город, литературный герой».

Вот несколько фрагментов из этого сугубо американского романа, написанного не очень-то американским автором.

Вначале был Хаос, и Мрак, и Хмарь,
Тоскливые бездны Тартара.
Не видно Земли, не заметно Небес,
Но вот в глубине, в жалкой пазухе Мрака,
Возникло Яйцо из круженья стихий,
Это Ночь возложила его, овеяв
Своим соболиным плюмажем.

Аристофан. Птицы

...Словно зачарованный Джим смотрел на вершину светящегося Яйца. Внезапно свечение испарилось, склоны структуры угрожающе потемнели, будто покрылись листьями свинца. Что вызвало эту метаморфозу — пролетающее облако или этот чертов дирижабль, рекламирующий шины «Гудиеар», что день-деньской циркулирует по столичному своду небес, будто демон прокрустинации, промедления?

Яйцо... основная цель моей активности... То, что вы делали до этого, Джим, было изнанкой нашей работы. Теперь вы вступаете...

Во что же он вступал и какова была суть операции ФБР, что стала разворачиваться вместе с сюжетом нашего романа?

— Как вы прекрасно знаете, Джим, — сказал Доктор Хоб, — этот город иногда называют Утечкоград. Утечки тут повсюду, стены сочатся утечками, отовсюду течет, иной раз ливнем льет из наших сфер. Утечка — это двигатель здешнего перпетуум-мобиле. Нечего и говорить, наша Утечка вовсю старается утечь за границы страны. Это довольно естественное явление,

и поэтому мы не удивляемся тому, что наша Утечка старается слиться с советской Утечкой, чтобы образовать международное содружество утечек, в котором стаи ложных утечек вечно парят над иными весомыми, не особенно ложными.

— Впечатляюще, — пробормотал Джим с благоговением.

— Спасибо, — серьезно кивнул Доктор Хоб. — Итак, давайте выжмем излишнюю воду и подойдем к сути. У нас есть довольно основательная утечка из Москвы. Наши коллеги с Лубянки вроде бы собираются поселить своего «крота» в той самой структуре, которую вы только что лицезрели, то есть в сферы Тройного Эл, Либеральной лиги Линкольна. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Зачем секретно проникать в институт, который не имеет никакого отношения к засекреченным материалам? Ну, на данный момент мы ничего не знаем об их мотивах, однако по каким-то причинам Тройное Эл их сильно беспокоит, в этом нет сомнения. Да, джентльмены, у Москвы, как говорится, бабочки в желудке летают, когда доходит до этого гигантского яйцеобразного клуба болтунов.

Недавно мы заполучили еще не подтвержденную информацию, что их резидент в Большом Вашингтоне — кодовое имя Пончик — всю старается добыть как можно больше информации о людях Тройного Эл. Больше того, есть утечки, правда, еще легковесные, что они будут подключать к этому делу своего супершпиона Зеро-Зет.

Мы еще должны идентифицировать Пончика и Зеро-Зет. ЦРУ, разумеется, не обращает внимания на наши запросы, ребята из Лэнгли, как всегда, придерживаются своей обычной двусмысленности и вздорно-

го снобизма. Беру на себя смелость предположить, что знают даже меньше, чем мы. В общем, Бюро придется отдуваться за всех..

К этим словам Доктор Хоб прибавил еще несколько своих собственных, что были восприняты всеми присутствующими, кроме Джима, как некая премудрость на латыни.

— Джим, вы, кажется, вздрогнули? — спросил Доктор Хоб.

Спецагент Доллархайд потупил глаза.

— Мне очень неловко, сэр, но ваша последняя цитата напомнила мне какие-то восклицания советских хоккеистов на матче дружбы в Монреале.

— Bravo, Джим, это показывает, что мы не ошиблись в выборе. Давайте-ка теперь сконцентрируемся. Вскоре после того, как мы заполучили утечку о намерении Москвы внедрить «крота» в Тройное Эл, мы перехватили еще одну порцию полезной информации. Выдающийся советский ученый-лингвист прибывает сюда следующим рейсом Аэрофлота. Он получил на год стипендию — феллоушип для работы в Тройном Эл. Его зовут Филларион Флегмонтович Фофанофф, на конце двойное ф, как это сейчас принято.

Один из троицы Эпплайт — Эппс — Макфин вскочил на ноги, и комната тут же погрузилась в темноту. На стене появился экран и на нем — проекция обсуждаемого господина. Снимок был сделан явно скрытой камерой, однако высшего качества. Потрясающий толстяк стоял один в середине широкой и пустой асфальтовой площадки, создавая впечатление баобаба в выжженной пустыне. Он был, пожалуй, лыс, если не принимать во внимание легкий ореол вокруг темени и другие остатки некогда пышной растительности,

а именно кустистые баки и мощную гриву сзади, достаточно неуправляемую, чтобы придать ему сходство с дикобразом. На картофелине носа он носил пенсне, а его непостижимый гоголевский шапокляк был поднят для горячего приветствия кого-то, кто не попал в рамку видеокамеры.

— Да ведь это же новый Пьер Безухов, джентльмены! — вскричал Джим Доллархайд. — Да ведь это же человек Ренессанса!

Отступление. Сергей Аверинцев однажды сказал В.В. Иванову, что Аксенов, очевидно, изобразил его в образе Ф.Ф.Ф. Боже упаси, Комо, возразил Аксенов, просто его внешность списана с Пьера Безухова. Иванов засмеялся: Дело в том, что меня в молодости как раз называли Пьером Безуховым.

Благодаря одному из капризных вывихов современной или, лучше сказать, постмодерной архитектуры президентский сектор «Яйца» был выполнен в стиле Викторианской готики с каминами начала XVIII столетия, старомодными лестницами, пилястрами и панелями. Президент института, distinguished Генри Тоунсенд Трастайм, не делал секрета из своей привязанности к этим помещениям. При всех обстоятельствах они все-таки больше подходили к его происхождению, чем ненадежные спирали, дыры, трещины, трамплины, катящиеся стены и скользящие полы основной части структуры. Долговязый, великолепно седоватый и моложавый пятидесятиоднолетний англосакс мог бы без остановки проследить свое происхождение непосредственно к пилигримам: хотя никогда особенно не стараясь пуститься в это путешествие.

Между тем достопочтенный ГТТ испытывал некоторые, и весьма серьезные, трудности, когда пытался обозреть свое существование как жизнь одного и того же человека.

— Возьмите, к примеру, вот этот снимок с моего стола — Золотые пятидесятые, двое в открытом «кадилаке», он и она, чудо-детки, все шестьдесят четыре зуба в хохоте, неудержимый разгул летящих волос. Снялись вскоре после того, как я похитил Джоселин из ее общаги в Свитбрайер-колледж. Я был в пижаме, а она в ночном платье, и мы мчали всю ночь через Вирджинию, Мэриленд, Делавер и Нью-Джерси, пока не примчались в Нью-Йорк, где сняли комнату в «Уолдорф Астория», вот так, не менее, и с ходу свалились на ковер в неуклюжем совокуплении. Я просто не могу поверить, что этот проказник, любимец общества, и я нынешний — одно и то же лицо.

Чтобы избежать окарикатуривания этой, действительно, весьма достойной персоны, мы должны сразу сказать, что Генри Трастайм был достойнейшим членом академической общины, поглощенным своим делом литературоведом, выдающимся экономистом, ведущим историком, непревзойденным советологом и даже признанным биологом в области холоднокровных и амфибий. И все-таки главным его делом, призванием его жизни была лингвистика со специализацией по префиксам и суффиксам, этим бесчисленным русским частичкам, которые он воспринимал как некие языческие орды, рыщущие в пустынных степях в жажде еще большего опустошения.

Джим Доллархайд спрыгнул с лесов Смитсоновского института и бросился через авеню Независимости к

тележкам уличных торговцев. Он купил пакет жареной картошки «френч-фрайз» и вышвырнул его содержимое в мусорную урну. Потом он купил губную помаду и с помощью этого дивного прибора нацарапал на картоне два слова: «эмоциональная нестабильность». Две толстые бабы смотрели на него с автобусной остановки.

— Чё это мужик делает? — спросила одна.

— Мужик пишет губной помадой на пакете из-под картошки, — сказала другая.

— Понятно, — сказала первая.

Подошел автобус.

— Что нового о нашем всеобщем друге? Что он, действительно на коньках катается? — спросил Мелвил Хоб-Готлиб, выказывая что-то выше обычной фэбээровской любознательности.

— Еще как! — воскликнул Джим с энтузиазмом, который заставил брови старшего агента Брюса д'Аваланша взлететь вверх и воспроизвести галочку на его лице вечно дежурного офицера.

— Вы должны увидеть это сами, Доктор Хоб! Стоящее зрелище! Есть нечто сюрреалистическое в том, как он скользит на фоне нашего величественного Национального архива, сдвинув набекрень свой гоголевский шапокляк! Скольжение — моя вторая натура, поясняет он. До недавнего времени он этого не знал, пока при стечении благоприятных обстоятельств вдруг не выяснил, что преодоление законов трения — это не что иное, как его вторая, если не первая, натура, сэр.

— Кому он это объяснял? — спросил старший агент д'Аваланш.

— Другим конькобежцам, сэр. Кто-то спросил, не из цирка Барнума ли он, в ответ последовал пространный монолог о трении и скольжении.

— Общительная персона, — сказал Хоб-Готлиб не без тени зависти в голосе.

— Вот именно, сэр. Его внешность привлекает всеобщее внимание, и он без задержки пускается в разглагольствования, хотя его английский оставляет желать лучшего. Он может безгранично дискутировать любую философскую тему, о Кьеркегоре ли, Конфузии ли, но из-за своего, скажем так, малообиходного словаря оконфузится в простейших обстоятельствах. Вот, например, третьего дня он пересекал Висконсин-авеню во время часа пик, и один водитель адресовал ему приятное выражение: «Ты что, не видишь красного света, задница?» Доктор Фофанофф одарил его улыбкой и взревел, потрясая своим шапокляком: «Вот они американцы! Ну, как приветливы, черти!»

— Кому он это сказал? — спросил д'Аваланш. Уточнения были его специальностью.

— Пролетающим облакам, сэр!

В комнате, не заслуживающей никакого специального описания, тем более что она уже известна нашему читателю как кабинет главы Пятого подотдела Третьего департамента контрразведки ФБР, Джим Доллархайд делал доклад о результатах своих предварительных наблюдений.

— ...Прежде всего, мистер Фофанофф не прячет своей определенной осведомленности относительно вашингтонской среды обитания. Приехав, он выразил желание немедленно получить ощутимые доказательства существования некоторых гипотетически существующих мест. Простите, Брюс, но это не имело никакого отношения ни к Пентагону, ни к Старому дому администрации, ни даже к Арлингтонскому мемориальному кладбищу. Он захотел увидеть книжный магазин «Йес», а также джаз-клуб «Блюз-эллей» в Джорджауне.

В первом он сделал довольно дикий выбор книг, купив, в частности, «Симпатизирующие вибрации», «Власть вашей второй руки» и «Как приучить вашего чертенка». В последнем он фактически повернул внимание публики от пианиста Леса Макэна на себя. Всякий раз, как Лес пускался в свой «фанк» и публика по его знаку начинала петь «Пусть это будет правдой! В сравнении с чем?», доктор Фофановф трубил, как потревоженный слон: «В сравнении с Кантом!» Даже либеральная публика не выдержит, когда все время кричат: Кант, Кант! Его едва не вышибли общими усилиями, пока он не пояснил, что он имеет в виду не только мистера Иммануила Канта, но и всю германскую философию. После этого они обнялись с Лесом Макэном и несколько секунд стояли в молчании.

— Сколько народу присутствовало? Какие-нибудь иностранцы были? — спросил старший агент д'Аваланш.

Джим обожал деловые вопросы своего начальника.

— Присутствовало сто сорок семь полнокровных американцев, сэр, и один декадентный араб, сэр. Да, джентльмены, там был шейх Саид Кисмет Манна. Где он остановился в Вашингтоне? В настоящий момент он разговаривает с вами. Так точно, сэр, шейх к вашим услугам.

Доктор Хоб мягко поаплодировал: браво, браво, браво! Не нужно хмуриться, д'Аваланш. Это как раз то, что нам нужно, — импровизация, дар артистизма и так далее. Трое помощников, Эплауйт, Эппс и Макфин, закивали в полном согласии. Как раз то, что нам нужно. И да и так далее.

Спецагент Доллархайд продолжал свое сообщение о вашингтонской активности москвитянина. На Коннектикут-авеню в магазинчике «Поло» Фил купил себе

дюжину рубашек свержкорольского размера. Я знаю, что джентльмены покупают рубашки дюжинами, сказал он своему другу Генри Трастайму. Тут же он был ошарашен, когда ему предложили заплатить за эту покупку девятьсот шестьдесят пять долларов девяносто два цента. Как же так, я думал, что в Штатах можно машину купить за такое количество «презренного металла» (так он называет деньги). Конечно, можно, сказал ГТТ.

Они отправились в хозяйство подержанных автомашин и купили обшарпанный, но весьма грозного вида «чеккер» образца 1969-го, за одну тысячу сто тридцать шесть с копейками. В этой машине нашего клиента можно принять за колдуна из болот Диксиленда.

Однажды он был ограблен во время небрежной прогулки в полночь вдоль Эй-стрит, юго-восток, где, как известно, после захода солнца жители не высовывают носа из дома. Для полной точности следует сказать, что это был не гоп-стоп, а только лишь попытка гоп-стопа. Вместо того чтобы удовлетворить требования молодых революционеров и вывернуть карманы, он сгреб их всех в одном медвежьем объятии и провозгласил мировое братство имени Франсуа Вийона. Когда же он ослабил свой зажим, все три пары кроссовок пустились врассыпную на светящихся подошвах. Интервенции сил порядка в лице вашего покорного слуги не потребовалось.

Фил выказал также определенный интерес к религиозной жизни, посетив католическую, русскую и греческую православные, протестантские, синагогу, мечеть, равно как и другие церкви дистрикта Колумбия, пока не присоединился к буддистскому ашраму «Луч света в темном царстве». Да, Брюс, это интересно. Вы правы, Брюс, это очень, очень интересно.

К несчастью, его изгнали оттуда спустя короткое время. Да, это тоже интересно, но дайте мне сначала вкратце рассказать эту историю, детали потом.

В последнее время эта компашка чудил была одержима идеей так называемых «волн Добра». Во время своих сборищ они передают эти волны то в Белый Дом, то в Кремль. Они абсолютно убеждены, что последний договор был подписан благодаря их усилиям, а госсекретарь Джордж Шульц тут абсолютно ни при чем.

Филларион ревностно посещал ашрам, молился и передавал в сторону Кремля «волны Добра», пока их гуру Годиванагуше (в миру Триша Адамс) вдруг не взорвалась криками со слезами, обвиняя новичка в недостатке искренности. Он клялся, что он ее верный последователь, но она сказала, что этого мало. Она провидела его будущее изгнание из этого мэрилендского рая, поскольку он не может выразить искреннюю любовь к Политбюро.

Некоторое время он еще болтался там на птичьих правах, а потом его окончательно вышибли. Надо отдать ему должное, он не был слишком огорчен. Выходя из ашрама, он насвистывал Россини, а потом приехал в кафе «Сплетни» и заказал пару пива.

— А были у него какие-нибудь контакты с советским посольством? — Старший агент д'Аваланш задал этот вопрос как бы мимолетно, что не оставляло сомнений в его чрезвычайной серьезности.

— Простите, Брюс, должен вас огорчить, «контакты с посольством» и Фил Фофанофф — понятия несовместимые. Во время той шикарной вечеринки «короткого замыкания» советник по садовым культурам Черничернов потихоньку сказал ему: «Есть разговор, зайди ко мне», но мне кажется, что он этого даже не

расслышал. Фактически никто этого не слышал, кроме вашего покорного слуги.

— А как насчет сексуальной ориентации доктора ФофанOFFа? — торопливо спросил Хоб-Готлиб, как бы стараясь пресечь дальнейшие уточнения предыдущего вопроса.

— Пока еще это тайна, завернутая в загадку, — усмехнулся Джим. — Неистребимое любопытство однажды завело его в «Горячие ванны Гвдааахары». Во всяком случае, я там на него натолкнулся... — в этот момент спецгент вдруг сообразил, что едва не проговорился о своей собственной ориентации. — Собственно говоря, я шел за ним, когда он неожиданно туда завалился. Когда я вошел... то есть когда последовал за ним, он разговаривал с молодым стильным ювелиром. Ну, собственно говоря, профессия этого парня была установлена позже... но, в общем, я подслушал, как Филу предложили «квики», и он, конечно, тут же согласился, не имея понятия о том, что ему предлагают.

Когда же ситуация прояснилась и стало понятно, что такое «квики», он разразился хохотом и сказал, что ни при каких обстоятельствах не принадлежит к «толубой дивизии». Ювелир обиделся и назвал профессора ФофанOFFа расистом.

— В добавление к этому столкновению... хм... двух, так сказать, концепций, — продолжал Джим, — я не могу не обратить ваше внимание, джентльмены, на весьма диковинное объявление в «Нью-Йоркском книжном обозрении». Извольте, вот оно: «Среднего возраста джентльмен — жизнелюб, заметная наружность, быстрая смена интересов и убеждений, полный набор вредных, хотя и безобидных привычек (копание в носу не включается), ищет знакомство с дамой при-

ятного свойства (совершенство не требуется). В добавление к интимным отношениям философские темы и художественное пение. Можно звонить или заходить без предупреждения. Дикэйтор-стрит, номер такой, телефон такой-то...»

— Отличная работа! — воскликнул Хоб-Готлиб. — Согласны, ребята, что Джимми проделал великопепную работу?

— Конечно! Конечно согласны! — срезонировало трио Эплауит — Эппс — Макфин. Брюс д'Аваланш, сдержанный больше, чем обычно, только лишь кивнул в знак одобрения. — Теперь самое время ободрать кошку, ребята, — проскрипел он. — Этот шизик — шпион?

— Он такой же шпион, как я Ромео, — сказал Джим убежденно.

— А почему вы не можете быть Ромео, молодой человек? — мрачно спросил д'Аваланш.

— Я хотел сказать — Джульетта, — поправился Доллархайд.

Советнику посольства СССР по садовым культурам полковнику тов. Черночернову вспомнилась юная черная девочка, которую он заметил третьего дня выходящей из квартирной секции комплекса Уотергейт. Может быть, она не кто иная, как маленькая наложница какого-нибудь миллионера среднего возраста с волосатой грудью и хорошо развитыми мускулами на ляжках? О, великодушие капитализма! Имей достаточно добра, и можешь в любой момент вызвать какую-нибудь стройную, благородную крошку, вдумчиво и осторожно раздеть ее, а потом медленно надеть пару белых чулок на ее длинные мальчишеские ноги и бей-

сбольшую шапку на ее панковскую прическу, и... лимиты, лимиты, товарищ полковник!

Помолодев при помощи этих фиgmentов воображения, Черночернов встал и энергично прошел в ванную бриться. В хозяйстве у него имелся смышленный прибор, который мог одновременно включать бесшумную бритву, ароматную кофейную машину и всегда поднимающий настроение (даже и гадкими новостями) голос радиостанции БЛАД-96. Из всех «безнравственных приманок» капитализма Марта Арвидовна пуще всего ненавидела именно этот прибор, между тем как полковник нежно его любил.

При первых звуках утренних новостей он перекрестил на православный манер свой лоб, живот и плечи: долгожданное событие в конце концов свершилось. Пока он мечтал о той славной мальчиковой девушке, морские пехотинцы США завершили высадку на пляжах и в глубине одной субтропической сюркоммунистической страны, чтобы изолировать ее кровожадную, саморазрушительную хунту и принести туда вечный мир и справедливость под покровительством Ее Величества Современной Рыночной Системы.

Спасибо, Ронни, за такой подарок, прошептал полковник. Чем скорее падет Империя зла, тем больше будет у нас шансов для Возрождения!

У советника Черночернова был выходной день, и он был намерен провести его к своему высшему удовольствию, а именно прогуливаться по городу, изображая несоветскую персону. Для этого требовались небольшие маскировочные меры: ну, скажем, вот эти густые брежневские брови, которые сбалаксируют аккуратные британские усики, ну, скажем, вот эта мятая шляпенция ирландского твида, как у отставно-

го консервативного служащего, ну вот, и пара затемненных очков... — извольте, теперь мы неузнаваемы.

Как это приятно, когда тебя не принимают за советского! Приобщиться к норме, как это славно!

Почему бы не посидеть спокойно у обычной стойки, не почитать «Пост» за брекфестом, почему бы не ответить спокойной улыбкой и кивком на обращение «сэр»? Какое огромное удовольствие поделиться с кем-нибудь деловой секцией газеты, обратить чье-то внимание на рост акций пиломатериалов, положительно ответить на чью-то просьбу о карандаше, о зажигалке... конечно, сэр... извольте... она ваша, сэр...

Иностранный акцент можно прекрасно замаскировать некоторым заиканьем и шепелявостью... небольшое врожденное косноязычие, джентльмены... Всем известно, что американцы, особенно британского происхождения, исключительно отзывчивы к малейшим формам неполноценности. Будучи стопроцентным консерватором, полковник Черноморнов не делал секрета из своей англофилии.

А почему бы просто, с классическим зонтом в руках, не прогуляться вдоль Коннектикут-авеню? Никто из прохожих никогда и не подумает, что я советский. Почему бы не продолжить чтение газеты на скамье у фонтана на Дюпон-серк, отечески наблюдая тамошних белых и черных бичей? Почему бы даже не подать им какую-то мелочь для поддержания существования, хотя и очень малую мелочь, чтобы не одобрять тунеядство в обществе. Бремя Белого человека гласит: «Кто не работает, тот не ест!» У-у-пс, это вроде из другой оперы, ленинская идея, черт ее дерь!

Почему бы мне не пройти затем через Дюпон-серк к книжному магазину «Лямбда на взводе» и почему бы

там не посидеть в углу с книжкой на коленях, сенаторские очки на носу, почему не посмотреть на красивый «голубой» народ, такой непосредственный, такой спонтанный?

Эти почти нестреноженные, утренние мысли полковника были внезапно прерваны телефонным звонком. Кто, черт дери, звонит по утрам? Кто бы это ни был, ни одна советская личность (за чисто теоретическим исключением вновь прибывшего шизика) не могла соответствовать блаженству Черночернова. Что касается несоветских личностей, то они никогда не тревожили его домашний телефон. Наиболее вероятно, это не что иное, как «свистать всех наверх» из посольства, созыв чрезвычайного загребанного собрания по поводу падения этой заплеванной субтропической сюрреволюционной хунты. Большое дело, разогнана еще одна кодла захребетников... разве это не на пользу матушке-России, совсем уже досуха высосанной интернациональными подонками? При всех обстоятельствах, это не Афганистан, где мы отстаиваем наши корневые интересы. Каждый знает, что Россия исторически и... хмм... метафизически — это медленно расширяющаяся сила, а не авантюрная пантера, прыгающая с острова на остров. Любой человек в посольстве сведущ в том, что это зона не наших интересов и нам следует тут вести себя скромнее, и тем не менее мы будем все час или два жевать весь этот мусор насчет «дальнейшего углубления хищнической сути империализма», «классовой солидарности» и «хода истории, который никто не может повернуть вспять», как будто паршивая немецко-еврейская борода уже раз и навсегда установила все направления.

Эти идеи произвели своего рода торнадо в сознании полковника между первым и вторым звонком телефона. Не буду отвечать, подумал он и снял трубку.

Бессчетное число раз в своей жизни товарищ Черночернов благодарил свое благоразумие за то, что оно брало верх над идеями. Вместо всех этих вздорных голосишек из парткома он услышал единственно кого уважал безгранично, шеф-повара посольской столовой, самого Егора Егорова! Автоматически он встал по стойке смирно. Звонки Егорова всегда касались самого важного и самого деликатного. Управляя одним из ключевых секторов посольства (кто будет недооценивать значение питания персонала в осажденной крепости?), этот дюжий курчавый волжанин, основательно за полста, на самом деле отвечал за все тайные операции в США и Канаде, а потому имел чин генерал-лейтенанта.

— Хей, Федот-дот-дот-дот, хау ар ю эва янг? (Привет, Федот-да-не-тот, как твое ничего-себе-молодое?) — сказал Егоров. Он явно не собирался обсуждать империалистическую агрессию и классовую солидарность. — Как насчет «малость прогуляться» вместе? Давай глотнем свежего воздуха на Хэйнс-пойнт, а? Отлично!

С добродушным смешком генерал добавил к приглашению:

— И на всякий случай не забудь свой английский зонт, олд фэллоу. В прогнозе кратковременные дожди.

С легким укором совести полковник Черночернов понял, что его одинокие несоветские променады не остались незамеченными старшими товарищами.

Час спустя он ждал генерала на Дюпон-серкл. (Проницательный читатель, конечно, уже догадался, что Хэйнс-пойнт был кодовым именем для площади Дюпона.) Не без симпатии он наблюдал за своими сото-

варищами-вашингтонцами, которые к этому времени начали показывать первые признаки оживления после изнуряющей летней парилки в болотистом параллелепипеде у рек Потомак и Анакогния. С первыми порциями осеннего прозрачного воздуха люди жадно возобновили свои прогулки и околачивание вокруг фонтана и поперек двух кольцевых проездов, которые делают Дюпон одним из наиболее вывихивающих мозги транспортных узлов в мире.

Две группы собирали деньги в сквере. Одна обогащалась для дальнейших атак против Стратегической оборонной инициативы. «Красные выродки», — прошептал полковник и ничего им не дал. Другая алкала поддержки в их борьбе против аятоллы Хомейни — Черночернов дал им однодолларовую бумажку. Наслаждайтесь своей борьбой, персы! Ударим еще раз по позорному отродью бесноватых подонков шаксей-ваксея 1829 года, убивших посла нашего просвещенного Императора, гениального драматурга Грибоедова! Солидный черный джентльмен, попросив разрешения, сел на его скамью.

Чернокожий в классическом синем блейзере был похож на отставного метрдотеля, скажем, из «Хей Адамс» или «Мэдисона». Во всяком случае, он принадлежал к тому разряду людей, которыми округ Колумбия может гордиться. Он открыл свой «Уолл-стрит джорнэл» и закурил ароматную сигару. Не без мимолетного удовлетворения Черночернов подумал, как их скамья может выглядеть издали: два джентльмена, белый и негр, оба несоветские.

Десять минут, однако, прошло, а генерал так и не появился. Негр высказался о «хорошей погоде», а потом представился как Тимоти Инглиш, первый помощ-

ник старшего официанта «Хей Адамса», в отставке. Черночернов пожал его руку и сказал, слегка заикаясь: Джордж Шварценеггер, в прошлом офицер разведки. Простите, больше ничего не могу рассказать. Очень приятно познакомиться, сэр.

Черночернову было действительно очень приятно сделать такое славное знакомство в консервативных кругах, однако, увы, генерал мог обеспокоиться присутствием этой весьма общительной персоны, что сразу же после знакомства начинает увлекательный разговор о Ближнем Востоке.

Чувствуя себя как на иголках, Черночернов уже готов был покинуть скамью, когда пожилой черный консерватор вдруг произнес с сильным русским акцентом:

— Кончай, мэн! Не оставяй меня!

Это был, конечно, не кто иной, как генерал Бгоров собственной персоной. «Браво», — прошептал Черночернов. «Вот она, старая сталинская гвардия!»

...Велосипед лингвиста Жукоборца очертил несколько символов бесконечности — 888.

— Не верю своим ушам! Ты что, действительно хочешь вернуться? Что? Ты не эмигрант, как мы все, Фил? Ты просто участник программы научного обмена? Невероятно! И ты не боишься разговаривать с эмигрантским отречьем?

— Боюсь ли? Не более, чем быть трахнутым чучелом саблезубого тигра!

— Какого тигра, Фил?

— Саблезубого.

Оба ученых спешили и обняли друг друга как раз перед прятничным фасадом Смитсоновского музея,

в котором упомянутое выше чучело саблезубого тигра мирно отмечало в этот день свое шестидесятилетие.

Насмешливый крик «Два русских пугала!» пролетел над ними вместе с головокружительным облаком пота и духов, сверкнула сиреневая молния. Другой какой-то велосипедист мощно прошелестел мимо, будто колесница Артемиды. Задний вид гонщика не оставляя у зрителей ничего, кроме тоски по всем мыслимым земным восторгам.

— Кто это?! — вскричал Филларион, охваченный дуновением вечно юной Элады.

Жукоборец пожал плечами. Прекрасно зная, кто это и что это означает, он решил по каким-то причинам не опознавать грозного наездника. Вместо этого он сказал:

— Теперь-то я понял, кто ты такой, мистер Хобот-Пробосцис!

— Что ты имеешь в виду, мой бедный Алик?

— Сегодня утром за табльдотом я подслушал разговор о каком-то несколько необычном советикусе... Видишь ли, Фил, твой бедный Алик целый месяц был в отлучке, рыскал в пустынях Северной Канады в поисках суффиксов «кртчк», «мрдк», а также «вспч». Вообще, я обнаружил их следы. Идет новая лингвистическая революция!

Они быстро поехали по Моу, этому главному вашингтонскому бульвару, в сторону самого убедительного в мире символа плодородия, окруженного пятьюдесятью флагами, трепещущими в постоянном желании оплодотворения...

...Привычно бросая вызов законам трения, профессор спустился по лестнице, вышел на Дикэйтор-стрив,

поклонился послу Дринквотеру с супругой, которые стояли на своем газоне с садовыми орудиями в руках, словно истинное воплощение американской готики. Отправился вниз по Дикэйтор. Впечатляющая тень его рябила под налетом стаи мелких облачков, бойко бегущих над столицей нации. На углу Дикэйтор и Масс Филларион остановился, чтобы отвесить еще один поклон, на этот раз огромной магнолии.

Благодарю тебя, дерево магнолии, за дополнительный кусочек гармонии! В твоем лице я глубоко кланяюсь всем вечнозеленым. Без вашей непобедимой листвы генерал Шеридан выглядел бы дезертиром с поля боя.

О, спасибо, спасибо, среднеатлантический мороз великодушный, за благотворный массаж, который ты даешь моим кровеносным сосудам! «Румяный критик мой, насмешник толстопузый!»... Большое спасибо, северо-восточный ветер, 15 миль в час, за то, что превращаешь дым из трубы пакистанского посольства в стремительного ирландского сеттера, за то, что спускаешь его с поводка в погоню за собственным хвостом над крышами мавританских, викторианских, греческих, классических, декадентских и колониальных вирджинских особняков и таун-хаусов.

Флора и фауна посольского квартала, спасибо за все, особенно за этот экземпляр вымирающей породы, Эмили Дикинсон в дизайнерских джинсах и в жакетке из рыжей лисы! Спасибо тебе, серокаменный дом, наполненный загадками югославского коммунизма, за то, что дал мне шанс сделать вокруг тебя резкий поворот и увидеть мост Дамбортон с четырьмя зеленоватыми бронзовыми буйволами. Четыре грозных зверя, стерегущих сооружение, которое без них не стоит и копейки...

Завершив полный круг вокруг статуи генерала Шеридана, Филларион Фофанофф остановился возле скульптуры Роберта Эммета, вдохновенного ирландского патриота. Шапки долой, джентльмены, перед вечно бушующей юностью, единственной надеждой Перестройки! Он вынул сигару и сел на скамейку перед монументом. Ему нравилось походить на местную персону, что просто возымела привычку попыхивать сигарой в этом окружении.

В следующий момент Джим Доллархайд, слегка покачиваясь, тоже приблизился к мемориалу Роберта Эммета, имея в виду короткий привал на скамейке. Прекрасно натренированный для встреч самого неожиданного характера, он все-таки вздрогнул при виде объекта его столь интенсивных раздумий и стремлений, который задумчиво попыхивал сигарой как раз на этой скамье.

— Доброе утро, — сказал Фил Фофанофф с приветливой, хоть и рассеянной улыбкой. Разве это не чудесно вот так вот запросто сказать «гуд морнинг» проходящему юноше, который по каким-то причинам выглядит словно погорелец Великого Рима?

Доллархайд ответил со старомодным поклоном:

— Вы, должно быть, поздняя птичка, сэр, если этот чертовски зрелый пополудень все еще утро для вас.

Филлариону понравилась добродушная шутка так же, как и выражение «чертовски зрелый пополудень». Он открыл коробку «Генри Риттенмайстера», предложил по-русски:

— Не уютно ли?

— Спасибо, что-то не хочется. Перенес землетрясение, знаете ли. Моя наружность говорит сама за себя. Даже этот худышка, — Джим кивнул на ирландского патриота, — выглядит здоровее.

Пуф-паф, голландские колечки русского восторга.

— Мне нравится, как вы говорите о мистере Эммете, этом жалком воробушке революции. Должен признаться, сэр, что я испытываю некоторое тяготение к этой юной персоне. Возможно, потому, что его бронзовая внешность чем-то напоминает моего соотечественника Александра Пушкина.

— Позвольте предположить, сэр, — мягко сказал спецагент, — что вы имеете в виду Пушкина перед выпуском из Царскосельского лицея?

Пуф-пуф-пуф, колечки восторга рассеялись вокруг со скоростью стрельбы безоткатной мортиры. Слух не изменяет мне? Прохожий на Маасачусетс-авеню толкует о Пушкине лицейского периода?

Вот так они встретились, подозреваемый в шпионаже любимец мировой академической среды профессор Филларион Ф. Фофанофф и его злополучная тень, оперативник контрразведки ФБР Джим Ф. Доллархайд.

Они понравились друг другу.

— А почему бы нам не завернуть в «Рондо», Фил? Не заморить червяка?

— Ну, разумеется! Впрочем, Джим, ваше предложение сворачивает меня с сегодняшнего курса. Я собирался покататься на коньках возле Национального архива. Почему бы нам вместе не предаться этому дивному занятию, а уж потом закатить сказочный пир?

— Хм, хм... я не очень-то сильный конькобежец, Фил, да к тому же, знаете ли, эти последствия землетрясения... все эти приливы и пожары...

— Легкое катание вылечит вас, Джим! Скольжение по льду обычно смягчает сожженные поверхности внутренних цивилизаций... Что это вы стали заикаться, Джим? Я вижу, вы согласны.

В такси Филлармон дружески повернулся к Джиму:

— Ну, а кроме русской литературы, Джим, кто вы?

Джим ответил с широкой улыбкой:

— Нештатный аналитик при Центральном Разведывательном Управлении.

— Потрясающе! — вскричал Фил. — Ни разу еще не встречал никого, связанного с этим впечатляющим учреждением, хотя в дистрикте Колумбия, наверное, немало таких, как вы.

— Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина, — засмеялся Джим.

— Замечательно! Все эти американские тайные действия, это захватывает, как песнь муэдзина!

— Бога ради, Фил, чья песня? Почему муэдзина?

Филлармон смущенно пожал плечами.

— Ну, просто я подумал, что это так же странно, загадочно, маняще, как песнь муэдзина. Я всегда, например, мечтал увидеть детектор лжи. Скажите, нет ли какого-нибудь шанса провериться на такой машине?

Джим лез вон из кожи, чтобы не потерять самообладания. Кто кого тут дурачит?

— Вы серьезно, Фил? Хотите пройти тест на этом дьявольском империалистическом устройстве?

— Если вы мне это устроите, Джим, я буду у вас в долгу весь остаток моей жизни.

— Легче сказать, чем сделать, — промямлил молодой агент. — Впрочем, я попробую..

...Грандиозное здание Национального архива, это самое надежное в мире хранилище высших тайн и мелких секретов, фальшивых и истинных признаний, косвенных и прямых улик, оплаченных и неоплаченных

счетов, включая и счета бакалейщика и зеленщика с далекой Шпигельгассе в городе Цюрихе, примыкало к самому скользкому месту, если и не в мире, то в городе, где конгрессмены, лоббисты, сотрудники Белого дома и Национального совета безопасности, члены дипломатического корпуса и общины разведчиков кружились, бросая несколько снисходительный вызов законам трения, однако и не забывая об определенном почтительном поклоне законам тяготения.

Опять споткнулись, Доллархайд? Это ничего! Ув-ва! Главное, что вы должны уловить на катке, это чувство ритма, а это придет! Опять на пятой точке, дорогой друг? Не унывайте! Ритм катания — это просто часть ритма Вселенной, подобно ритмическим движениям в плавании или в совокуплении. Ув-ва! Поздравляю, сэр, я только что наблюдал ваш самый близкий подход к маятнику Вселенной! Чем суровой обстоятельства ученичества, тем большее наслаждение вы получите от чувства всеобщей глади, которое у вас неизбежно прорежется в самом ближайшем будущем.

Внезапно Филларион заметил пару знакомых, увлеченно проделывающую серию искусных, хотя излишне кокетливых пируэтов. Это были доктора наук Урсула Усрис и Алик Жукоборец, и выражение их лиц остро контрастировало с развеселым рисунком, который их коньки чертили на ледяной пленке. Руки их были перекрещены, но лица отвернуты прочь друг от друга и светились взаимной ненавистью.

И не без причины, леди и джентльмены! Всего лишь десять минут назад красивые фигуристы столкнулись лбами на теме славянских суффиксов и префиксов. Весь этот недавний шухер вокруг ваших слюнявых русских частиц, особенно вокруг этих загребальных кртчк, мрдк,

чвск, которые вы якобы нашли — о Боже! — в Канаде, не что иное, как подделка, типичная русская переоценка более чем скромных культурных достижений, сказала Урсула, выгибая свои неотразимые губы в форме сердцевинки плотоядной агавы.

Вы, вы... Доктор Жукоборец вспыхнул от возмущения. Вы, австралийская невежда, посягаете на наше великое лингвистическое наследие только для того, чтобы утвердить свой агрессивный феминизм!

С момента этого грозового разряда идей они не проронили ни единого слова, не переставая в то же время кружиться по льду в полном синхроне. Хотелось бы, чтобы этот хмырь был бы хоть наполовину так же синхронен в других областях деятельности, думала Урсула презрительно.

Потом вдруг слоноподобный русский, это ходячее, вернее, скользящее посмешище, Его Жироподобие Фил Фофановф появился, как с неба свалился. И распростер свои объятия, как рожденная на Борнео горилла.

— Урсула, душка, богиня сирени!

— Я тебе кренделей накидаю за «душку» и за «богиню сирени», — сказала она вежливо. Она всматривалась в фофановфского дружка, шатконового моллососа, очевидную жертву довольно приличного землетрясения. Очень знакомое лицо. Спала я когда-нибудь с этим малым или просто сталкивалась, не замечая? И что означает это восхищение, которое сверкает сейчас в его глазах? Пятнадцать лет назад в Канберре я бы сказала, что это любовь с первого взгляда.

Встретившись таким вот не столь элегантнообразом, четверка затем, скрестив руки, образовала хорова. Дикая эйфория охватила Фила.

— Я мост! — вскричал он. — Я снова мост!

Что он имеет в виду, думали его партнеры.

Этот же вопрос интересовал и еще одного господина, который предпочитал кататься в одиночестве и не попадаться на глаза. Японский ученый Татую Хуссако опровергал все стереотипы своих земляков. Он пренебрегал коллективизмом, сдержанностью потребностей и чувством такта. Хотя был и тощ, а не переставал жевать, являя образец обжоры. В тот момент, когда мы уловили его промельк на катке, он как раз кончал сосиску под соусом «чили». Жирные коричневые капли рассеивались вокруг в подтверждение его всегдашней бестактности. «Что означает это “снова мост”», — подумал Хуссако и стал поспешно линять, как будто это и не он накапал.

Тем временем талантливый Джим Доллархайд катался все глаже и глаже, несмотря на то, что его внутренний мир снова вошел в турбулентную зону. Новоэвклидова геометрия действовала. Ледяная поверхность рязбила. Отражение колоннады Национального архива перепуталось в диковинных конвульсиях. Внутри и снаружи все как-то извращалось, отклонялось, резербировало. Грандиозная Вселенная спецагента Джеймса Доллархайда рухнула, к полному стыду группы «Лямбда на взводе», первая же встреча с лиловыми глазами австралийки подкосила твердый свод его убеждений и склонностей. Гош, я никогда такого еще не испытывал к женщине!

Внезапно хоровод распался. Будто что-то вспомнив, мисс Усрис полетела к выходу. Боже упаси, как бы вдруг не потерять ее из виду! Джим отчаянно рванул-

ся вслед и в непостижимом, чертовски дерзновенном пируэте умудрился схватить ее за локоть.

— Але, друг, — сказал он задыхаясь. — Сваливаем? В чем дело? Что-нибудь с мочеиспусканием?

Ей понравилось, как он адресовался.

— Да ну, надо позвонить, — сказала она.

— Мой Бог! Да кому же?! — воскликнул он.

Она усмехнулась:

— Хорош вопросец! Прямо по существу, мэн. Если бы я знала. У меня сегодня просто свиданка — вслепую.

— С мужчиной или женщиной?

— Эй-эй, мэн! Камнями по воронам, ты звучишь, как сыщик!

Некоторое время они стояли, глядя друг другу в глаза, два существа ныне процветающей породы, мужчина на его неопытных шатких ногах и женщина, каждая из чьих ног напоминала хорошо тренированного серфера из Южного океана.

Горе мне, думал Джим. Барометр падает. Влажность возрастает. Ветер из Мексиканского залива, смешиваясь с зимним экспрессом озера Онтарио, образует над Вашингтоном огромную чашу черной смородины, тяжелое темно-лиловое облако, чреватое молниями. Ну и момент! Как я могу не думать, что все это имеет прямое отношение ко всему делу?

Она расхохоталась, неожиданно нежным манером отделилась от трепещущего новичка и исчезла. Лиловое в лиловом.

...Вся комната Филя была наполнена густым жужжанием и тончайшим звоном. Похоже, что все представители вашингтонской энтомологии, которые умуд-

рились пережить первые укусы мороза, нашли свое зимнее убежище именно здесь. На всякий случай полковник засунул в щели несколько электронных родственничков этой нечисти и сделал несколько снимков письменного стола. В общем-то, сбор информации не был его сегодняшней целью. На повестке дня был серьезный, прямой мужской разговор.

Внезапно внизу возникли колоссальный грохот и рычание. Уровень звука нарастал с каждой секундой. Похоже было на лавину, которая идет снизу вверх вопреки всем законам тяготения. Затем вся комната была поглощена облаком потных испарений, исключительно возбуждения, похотливых импульсов, патриотической ностальгии и пигментов воображения. Две или три стрекозы и один изможденный кузнечик свалились замертво. Полковник Черночернов едва успел нырнуть под филларионовское лежбище. Проклятье, он не один, миссия проваливается, «шит», дерьмо, этот парень один не бывает, прошептал полковник полузасохшей сороконожке, что оказалась рядом с его носом.

Затем в комнату вошел профессор Фофанофф. Он был как раз один, хотя в высшей степени романтизирован. Насвистывая мелодию из «Севильского цирюльника», он взялся готовить себе ужин — опять смесь борща и китайского супа «Вонтон», — потом перешел к «Дону Базилио», снова вернулся к Фигаро. И, нароссинизировавшись уже до мельчайших альвеол, наш преувеличенный москвитянин запел своим приятным молодым тенором.

Какая жалость, думал полковник не без меланхолии. Вместо того чтобы сформировать вокальный дуэт с такой прекрасной русской персоной, что, безусловно, произошло бы под покровительством щедрой и про-

свещенной Русской империи, я должен буду затащить его в грязнейшую грязь, в шантаж, обман, вербовку... позорная судьба! Хочешь не хочешь, то, что надо сделать, будет сделано. Черночернов уже готов был выкатиться из-под кровати, когда зазвонил телефон. Какая непростительная ошибка со стороны опытного рыцаря плаща и кинжала! Уж телефон-то должен был быть отключен в первую очередь.

— Хей, — сказал атакующий женский голос. По крайней мере слуховая техника не подвела полковника. — Это ваше было объявление в «Нью-Йоркском книжном ревю»?

— Да, но это была своего рода шутка, мэм, — промямлил Фил, как будто застигнутый врасплох. — О нет, мэдам... полужутка, полусерьезное предложение... мэм... ммм... внешне это была, так сказать, шутка, в то время как внутренне... будьте любезны, не вопите на меня, мэм! я очень был бы признателен, если бы вы на минутку... да, я уважаю ваше время, мэм, и, конечно, я уважаю любого активного женского партнера... да-да, сорри... не могли бы вы не называть меня больше гудилой, мэм?.. Нет-нет, ваше раздражение, мэм, абсолютно беспочвенно, так как я просто умираю увидеть вас как можно скорее...

В какой неловкой позиции пребывал Черночернов! Обнаружить себя, то есть выкатиться из-под кровати в тот момент, когда неизвестный визитер поспешает сюда из соседнего квартала, было бы абсолютно преждевременно и неуместно. С другой стороны, пребывание на нижнем профиле неопределенное количество времени лицом вниз могло в конце концов привести к потере чего?.. да лица же, черт побери! Не говоря уже о возможности вместо лица подцепить какую-нибудь

серьезную заразу. Конечно, он был достаточно экипирован для того, чтобы выйти из любой западни, — возьмите, например, вот этот последний дар лаборатории из Растительного Масла, преотвратительную резинку под кодовым названием «гриб» — достаточно, чтобы на три минуты отключить от реальности целую станцию метро — увы, в арсенале у него не было экипировки для организации дружеского мужского разговора, да ее, кажется, и в природе пока не существовало, кроме... впрочем... молчок!

А между прочим, как получилось, что объявление в «Нью-Йоркском книжном обозрении» оказалось не замеченным сектором садовых культур? Рвением к службе, ей-ей, не могут похвастаться неряхи — лейтенанты Жмуркин, Котомкин и Лассо!

Из своего убежища полковник отчетливо услышала приближающийся вверх по лестнице полет каблучков. Сердце какого мужчины останется равнодушным к полету каблучков вверх по лестнице? Сердце советского монархиста не было исключением.

Паровозное дыхание профессора Фофановфа... Дверь распаивается...

— Джи! — восклицает женский голос, сладкий голос, хоть и насмешливо-вызывающий, то есть не без металлической стружечки. — Ну и воздух! Русские бы сказали, топор можно повесить.

Странно, знакомый голос! Полковник подкатился на одну шестнадцатую своей окружности ближе к «большому миру», как он мысленно уже называл все пространство за пределами своего пыльного убежища. Так ему удалось увидеть узкую туфельку, нервно постукивающую по сомнительному линолеуму. Эта туфелька немедленно пустила в ход всю цепь предположений,

которые в конечном счете привели к заключению — туфля принадлежит не кому иному, как особе, состоящей под строгим наблюдением сектора садовых культур, доктору наук Урсуле Усрис. Прозвучал ее голос:

— Ну и ну! Это вы, Пробосцис? Не верю своим глазам! Поверю ли рукам своим?

Филларион, очевидно, не мог произнести ни звука и был неподвижен, если не считать пульсации и биения его внутренних органов. Клик! Туфельки мисс Усрис сделали шаг вперед.

— Признавайтесь! Вы именно меня имели в виду, когда помещали свое дурацкое объявление в «Нью-Йоркском книжном ревю»?

— Пуф, пуф... Мисс Усрис... Может быть, тайком от самого себя... в самых глубинных тайниках... Мисс Усрис...

— Делайте ударение на последнем слоге, пожалуйста! Я не собираюсь менять своего имени из-за ваших похабных русских значений!

— О, как уютно...

Клик! Еще один шаг вперед. Не будем тратить время зря, сэр! Невнятный дальнейший разговор задохнулся в мешанине звуков: расстегивание рывками, жиканье молний, шипящие, стягивающие звуки, легкое хихиканье, хулиганские вскрики, странно лопающиеся пузырьки, непостижимое шамканье... затем огромная масса разгоряченной плоти лавиной свалилась на кровать, распластав тело полковника по полу на манер цыпленка табака в добрых старых средиземноморских традициях.

Голова полковника оказалась в эпицентре чувственного урагана, а его левое, сверхтренированное ухо самым непостижимым образом непосредственно вовле-

калось в эту гормональную оргию. Беспомощный в нарастающем прибое титанических толчков слуховой орган был растерт почти до кровотечения.

Прекращение... молчание... шепот. «Я тебе нравлюсь, Фил?» Непостижимое чмоканье и шамканье. «Урси, ты гладкая, как тюлень, и пушистая, как коала...» Журчание... «Нет, вы посмотрите на этого нахального хамюгу, я для него — тюлень и коала!»

Приглушенный вопль гиганта... «О, не щипайся, мой зяблик!» — «Твой кто?» — «О, пожалуйста, не жми так сильно... о, вот так лучше, мой глупыш!» — «Твой кто? Товарищ Фофанофф, вы, конечно, невыразимо сладчайший гиппо, но тем не менее я вам не зяблик и не глупыш, я — ваш всадник — обезьяна!»

Охваченный паникой, полковник Черночернов сделал отчаянную попытку спасти свое ухо и другие выпуклости головы. Вновь пошли крупные, хотя уже вроде бы и не такие бешеные волны. «..Фил, Фил, давайте не менять позиции, оба партнера только выиграют от этого».

Третий партнер тоже, быстро подумал полковник.

— Вот как чудно! Ну, признайтесь, пользуетесь толчеными оводами? Как, вы даже не пользуетесь толчеными оводами, мой Пробосцис? Невероятно! О'кей, пока мы на этих волнах, почему бы нам не поговорить о наших общих темах? Скажите, вы действительно верите в существование этих бродячих славянских суффиксов «кртк», «мрдк» и «вспч»?

— Конечно, верю и обещаю развить свои соображения в очередном докладе, моя драгоценная!

— Ну, знаете ли, сэр, делать пометки в блокноте во время гребальной раскочки! И потом, откуда эта банальность — «моя драгоценная»?

— О, простите, простите меня... моя... моя... жемчужная лагуна!

— Да, да, о да... я твоя жемчужная лагуна...

В конце концов молодая луна пронизала своими лучами листву Посольского квартала.

— Благодарю вас, сэр, за прекрасную компанию, — сказала Урсула.

— Это вам спасибо, — пробормотал Филларийон. Схваченный внезапной тоской, он не мог видеть, как сворачивается в обратном направлении его столь прекрасное и неожиданное любовное приключение. Она одевается! Разве это не жестокое возмездие за наши грешные восторги?! Даже такие моменты проходят и пропадают...

— Ты не останешься на ночь, Урсула? — спросил он еле слышно.

— Простите, нет, — ответила она сухо. — Я должна еще поймать последний рейс на Нью-Йорк. Ну, что же, если я поняла правильно ваше объявление, все прошло достаточно гармонично, не так ли? Нет, нет, пожалуйста, не провожайте меня, и, пожалуйста, мистер Фифанофф, никогда не называйте меня вашим зябликом и вашим глупышом.

Она помахала рукой на прощанье, направилась к лестнице и вдруг, словно споткнувшись, повернулась и прошептала:

— Впрочем, я не возражаю против Жемчужной Лагуны.

Лиловый лучик ее глаза на мгновение пересек серебряный луч луны. Потом она исчезла.

МАТУШКА ОБЕСКУРАЖ ИЗ ДИСТРИКТА КОЛУМБИЯ

Перед тем как перейти от сравнительного спокойствия предшествующих глав к взрыву диких событий, повествование наше, безусловно, потребует, чтобы читатели насладились видом Филларiona, стоящего на углу улиц Икс и 14-й. В задумчивости он взирал на названия улиц.

Ради небес, думал Фил, почему это живописное место было названо столь безлично, столь обезкураживающе? Инкогнито, Икс, лежащее между двух тоскливых цифр, 13 и 14! Господин мэр, почему бы нам не спустить с цепи гончую свору ассоциаций и не переименовать 13-ю в улицу Чертовой дюжины, то есть, по-английски, Дюжины пекаря. Заполучив пекаря, нам будет ничего не стоить переименовать 14-ю улицу в улицу Круасана, поскольку число 14 столь живо напоминает нам о Дне Бастилии, 14 июля, то есть о национальном празднике той страны, где выпекают круасаны. Теперь, господин мэр, дело лишь за простой логикой, и она не позволит нам задержаться ни на минуту в переименовании улицы Икс в улицу Наполеона!

Итак, насладившись видом нашего 200-килограммового иноземца на углу Круасана и Наполеона, проследим его беспечную прогулку вдоль Чертовой дюжины, подмечая все его дружелюбные кивочки и экивочки по адресу элегантных жителей и завсегдатаев этого места, подмечая также вспышки его фотоаппарата, с помощью которого он тщательно фиксировал крылечки домов и множество бумажных объявлений, трепещущих на фонарных столбах в порывах атлантического ветра. Засим он погрузился в свой громоздкий «чеккер» и направился в Горсовет на аудиенцию к мэру Берри.

Тем временем место, которое он только что оставил, — на самом деле средоточие городских чокнутых, торчковых и кирных в сочетании с дивным букетом ночных маргариток — нежится в лучах своего недавнего переименования. Как раз на углу Наполеона и Круасана располагается крыльцо, где матушка Обескураж дистрикта Колумбия постоянно расчесывает свои кудри. Нынче трудно себе представить, что эта тяжелая фемина когда-то ошастливила несколько поколений вашингтонцев, включая немало известных журналистов и лоббистов. Мы бы осмелились сказать, что многие красотки лучезарной современности позеленели бы от зависти, имей они хоть малый шанс увидеть неотразимую Полли Обескураж в тот момент, когда она шествовала по 14-й, то есть по улице Круасана, в 195... хм, хм... году. Сейчас она жужжит, жужжит себе песенку своих лучших дней: «Дик на лодочке, на лодочке, на лодочке плывет, Пусси в платьице фартовеньком по бережку идет», — и ее смутная улыбка, постоянно бродящая по пересеченной местности ее лица, считается своего рода фокусом этой округи, а громкое биение ее пульса действует как метроном для нашего дальнейшего повествования.

Ступенькой ниже на крыльце всегда можно видеть двух нынешних матушки Обескураж ухажеров, неразлучную пару стареющих бродяг, Теда и Чарльза. Как обычно, они заняты вечными поисками чего-то в бесчисленных и бездонных карманах друг у друга. Три сестренки также являются завсегдатаями этого сектора, три представительницы трех основных человеческих рас: Милиция Онто-Потоцка (кавказская, то есть белая раса), Глория Чемберлин (черная раса) и Иси Уоу (азиатка).

Иногда даже владелец местной бакалеи, господин Пу Соннн, присоединяется к компании, чтобы поделиться своими глубокими огорчениями.

Являясь странным источником гармонии, матушка Обескураж проявляет заботу о каждом и о чем угодно в своем слуховом и визуальном пространстве, но, увы, не слишком далеко: она наполовину слепа и на одну треть глуха. Впрочем, что касается самых близких к ней лиц с их делами — ну, например, если Тед и Чарльз вдруг начинают громко собачиться или господин Пу Соннн жалобно рассказывает о последнем налете на его лавку, не говоря уж о сестричках с их обычными жалобами, — матушка Обескураж немедленно смягчает общую атмосферу на углу Наполеона и Круасана, просто брэнча на своем банджо и жужжа всеми любимую «Дик на лодочке плывет, Пусси бережком идет».

В тот вечер новая личность появилась на углу, подобно буреветнику Нового Мышления. Это была высокая и стройная фемина, затянутая до пределов воображения в красный кожаный брючный костюм. Хоть и трудно было определить ее возраст, все-таки многие клиенты нашли ее безу-у-мно привлекательной. Расовая принадлежность тоже была под вопросом. Вместе с громким ее «Всем привет!» прилетело дуновение магического карибского языка «пепельяменто», хотя ее черные кудри выдавали рыжие ирландские корешки. Похоже было на то, что она предлагает свои услуги, и в то же время она явно не спешила ухватиться за любое приглашение. Величавой походкой, о, да, прямо сводящей с ума поступью, она прошла по улице Наполеона, как бы мимолетом делая снимки крылечка матушки Обескураж и трепещущих на фонарных столбах объявлений своей изящнейшей мини-камерой.

— Гляньте на нее! — презрительно усмехнулся Уокер Пи Уокер, бывший игрок баскетбольного клуба «Ястребы Атланты», 43 года, 2 и 03 м, 110 кг, идол всего околота, сильный мужик и женоненавистник. — Воображает себя принцессой со сверхзвукового «Конкорда», но вы, народы, сейчас увидите, как я в темпе вставляю ей в кормовой отсек!

Тут все завсегда и Наполеон-Круасана прямо вылупились, чтобы увидеть, как Уокер Пи Уокер заходит на аристократическую телку. Сказать по правде, ничего плодотворного из этого не вышло. Аристократка крутанулась вокруг оси с ошеломляющей готовностью. Позднее некоторые свидетели этой сцены уверяли, что они увидели два коротких, но ослепительных разряда молнии, сверкнувших в ее очках, что были больше нормальных очков и темны, как карибская ночь. Мгновенно она стряхнула парижские сапожки, в следующее мгновение ее голая пятка, сверкнув, как еще один разряд молнии, сокрушила легендарную челюсть Уокера Пи Уокера.

Гигант рухнул. Аристократка закурила. «Братцы! — вскричал женоненавистник в ярости и тоске. — Это она, эта гребабенная Леди Стальная Пятка!»

«Стальная Пятка!», «Стальная Пятка!» — разнеслось вокруг. Многие ребята с Наполеон-Круасана и даже из-за угла слышали и распространяли леденящие душу истории о таинственной девке, что появляется то там, то сям, в модных местечках к востоку от Коннектикут-авеню, всякий раз под различной маскировкой; и преподает местным кумирам безжалостный урок своей всесокрушающей пяткой.

Последний раз, как говорят, ее видели возле автобусной станции «Серая гончая», в закусочном павиль-

оне Роя Роджерса. Облаченная в вечернее платье кастильского стиля, непостижимая дама сокрушила пару подбородков и полдюжины ребер своими безоружными пятками. Кроме того, она проколола брюшную полость джентльмена из Спрингфилда, штат Массачусетс, кончиком своего сомнительного зонтика. Согласно слухам, этот португальский денди, слишком бухой, чтобы признать поражение, продолжал ухаживать за Стальной Пяткой, в том стиле, к которому он привык, пока полностью не отключился от реальности на задах Роя Роджерса, в дюнах недоеденных бургеров.

Теперь кофта быстро пришла к решению посчитаться с Леди Стальной Пяткой. Наконец-то справедливость восторжествует! Ее следует опустить в деготь и вывалить в перьях, вычистить напрочь из приличного околотка! Остановим воинствующий феминизм! Но пасаран! Не менее двух дюжин завсегдатаев Наполеон-Круасана окружили Стальную Пятку. Слегка очухавшийся, хоть еще вполне смурной, Уокер Пи Уокер мудро держался во втором эшелоне. Впрочем, его стенания подстрекали других отомстить за свергнутого идола улиц. Тем временем матушка Обескураж, Милиция Онго-Потоцка, Глория Чемберлен, Иеи Уоу, господин Пу Сонин, а также Тед и Чарльз быстро вскарабкались на самый верх крыльца, чтобы не пропустить ни клочка из разворачивающейся драмы.

«Бедная девчонка! — вздыхала Глория — Парни вне себя от ярости, вне себя!» Милиция дрожала от экстремального возбуждения. «С ней покончено, холера ясна!» Матушка Обескураж прекратила расчесывать свои волосы и отложила бандаж. «Все будет в порядке, девчата», — бормотала она, хотя и не была убеждена, что все будет в порядке. Ею овладели два проти-

воречивых чувства: жажда вечной гармонии и неистребимая склонность к сексуальному хулиганству. Она уже как бы воочию видела поверженную на колени Стальную Пятку и парней, растергивающих свои ширинки.

Чарльз и Тед, следует признать, не сказали ничего, поскольку были весьма заняты, грызя через целлофан внушительный круг польской колбасы, которую им только что принес господин Пу Соннн в рамках своей предрождественской благотворительной кампании. Их благодетель между тем просто качал головой, бормоча: «Ну что за мир!» Ему не нравились акты насилия, хотя он не видел никаких причин, чтобы не созерцать их, если показывают.

Леди Стальная Пятка в центре медленно суживающегося круга была неподвижна, стоя в превосходной позиции. Шедевр боевого феминизма, скульптура! Подонки ядовито ухмылялись. Один из них готовился бросить лассо.

Банг! Свиш-ш-ш! Рассыпался ворох искр! С ржавых небес столицы опускался некий полужмей, полудрозд. Он остановился в воздухе над полем битвы, пульсируя зловещим сиянием, выбрасывая пронизывающие лучи света, испуская адское шипенье.

Банда женоненавистников замерла на месте. Какого фулуфуя? Пришельцы прибыли, что ли? Эй, мужик, ты что, не видишь, это же нюхающая электроника! Клянусь, натренировали гаду на анашу, натаскали на «сахарок!» Давай, делай ноги, ребята! Откуда ты взял, что оно нюхает? Оно просто в воздухе висит, трещит, дзенькает, выпускает свет, жужжит пчелой, вот и все... Эй, мужик, ты что, не видишь эти щупальца? Ты думаешь, это просто шикарные усики, да? Нюхающие щупальца, все кишки у нас пронюхает, гада! Она уже топорищатся, брат-

цы! Вы что, мазерфакерс, не видите, что это еврейская штука? Вашингтон нафарширован дикими еврейскими штучками, как та рыба, что они шамают...

В этот момент таинственный «змея-дрозд» начал шипеть громче, уподобаясь чему-то среднему между котом и огнетушителем.

Чего бы это ни было, но я от страха фсусь, мужики! Давай линияем, мальчики! Хватай девку и рвем когти в темпе!

Внезапно стремительная персона во фраке с хвостом, в цилиндре поверх летящей паганиниевской гривы двумя мощными прыжками преодолела круг бандюганов и выросла перед Леди Стальной Пяткой подобно дирижеру в конце бетховенской «Героической».

— Следуйте за мной, мисс! Я ваш друг!

Она расхохоталась:

— А ну, назад, дерьмовозы!

Она начала свой грозный пируэт, который, как правило, завершался сокрушительным ударом в наглую мужскую челюсть. На этот раз, однако, она не завершила ужасного приема. Летящий объект вдруг выпустил поток убийственно вонючих капель, каждая размером со спелую сливу, и все присутствующие потеряли сознание просто от брезгливости. Все, кроме мистера Паганини. Последний поступил так, как будто он принадлежал к избранному числу итальянских музыкантов, которые во время Второй мировой войны посещали курсы борьбы с химическим оружием при Миланском горкоме фашистской партии. Закрыв свои ноздри и нос маленькой маской, сродни коробке из-под сардин, он искусно поволок онемевшее, хотя все еще неотразимое, тело Стальной Пятки прочь от этой омерзительной сцены, и вскоре они оба растворились в ночи.

Несмотря на то что описание омерзительной сцены заняло не менее семи страниц, продолжалась она не более пяти минут. Даже команда Четвертого канала ТВ не успела прибыть вовремя, не говоря уже о полиции и «скорой помощи». Оппозиционные группы в нашем городе потребовали от мэра Берри чистосердечного, «бона фиде», отчета о событии, если он хочет избежать обвинения в действиях, похожих на акцию его коллеги из Филадельфии, то есть в воздушной атаке на кварталы бедноты. Круги, близкие к администрации, наотрез отвергли все околичности и призывали к регистрации всех опасных летающих, шипящих, светящихся и воняющих объектов, имеющих в распоряжении населения. Дело было закрыто.

ЖЕЛТОК

В том случае, если наш читатель все еще склонен называть вещи своими именами, то есть яйцо Яйцом, в этом случае библиотеку Либеральной лиги Линкольна, это средоточие вселенской мудрости, следует полагать Желтком Яйца.

Впрочем, и задумана-то она была как ядро, расположенное в самой сердцевине, дизайнирована в виде овала, хотя некоторые помещения выглядели ни дать ни взять как обычная библиотека. По крайней мере на первый взгляд. Второй взгляд улавливал различные, там и сям разбросанные странности — неожиданный косяк луч света, или головокружительно раскачивающийся кусок потолка, или полностью непредвиденная и в той же мере бессмысленная апертура, проходящая через несколько слоев Яйца, скорлупу, радужную оболочку, ро-

говину и ретину, для того лишь, чтобы предложить вид на тележку торговца «хот догс», «горячими собаками», что стоит напротив, через Ваш-мол.

В библиотеке Филларион почувствовал себя счастливым. Разумеется, еще бы, что же иное, если не библиотеки, было его привычной средой обитания! Сказать по правде, наш герой всю жизнь был не кем иным, как библиотечной крысой, и только меж библиотечных полок с их успокаивающим душком плесени он чувствовал близость к своей сути. Даже и в разгаре дичайших эскапад его никогда не покидало виденье последнего прибежища — библиотеки! Ленинка в Москве, Публичка в Ленинграде или те, немыслимо далекие, из мира грез западные храмы словесности — библиотека Сорбонны, библиотека Конгресса, библиотека Британского музея; непостижимый Ватикан... о, библиотеки! Всякий раз, как он тащил свои гигантские ягоды вдоль рядов книг навстречу волнующей встрече с очередным источником мудрости или вздора, он испытывал едва ли не священное блаженство. Служащие библиотеки всегда допускали его прямо к полкам. Осенние бабочки, одинокие девы библиотек не могли супротивиться его, как они выражались, «пьер-безуховскому» шарму. Выбрав книгу, он мог погрузиться в нее немедленно и оставаться часами без движения прямо в проходе; фигура истинного читателя, монумент мировой библиотеке!

О, люди библиотек, эти утонченные и бледные лица с потупленными взорами, как будто вымаливающие прощения за царящую вне стен библиотек покабзину! О, эти читальные залы, какой обманчиво мирный вид представляют там человеческие окружности, венчающие стулья и табуретки, как будто за ними не скры-

вается грозное поле доблестного фехтования, где тысячи мыслей сталкиваются и высекают искры, будто сабли, кинжалы и рапиры! О, эти библиотечные туалеты с примыкающими к ним курительными комнатами... есть ли более крамольные места на Земле? Никакие побочные эффекты переваривания пищи и метаболизма, равно как и беспрерывные водопады в многочисленных кабинках, никогда не могли заглушить великих ораторов туалетных, этих гранильщикова чистого разума, секущих своих оппонентов с яростью Неистового Виссариона! О, можем мы вздохнуть в конце этого библиотечного лирического отступления, о, Николай Гоголь!

ОСВЕЖАЮЩИЕ ДРУЗЬЯ

Пополудни Фифановф остановился купить «горячую собаку» у филиппинца на углу Коннектикут-авеню и Элстрит (или Лорелей-стрит, в соответствии с его программой переименований). Торговец покрыл его сосиску щедрой блямбой горчицы и тихо сказал: «Записка внутри». Шествуя вдоль Конн и чавкая своим сочным куском американскую культурного наследия, профессор читал узкую полоску послания, сродни тем, что Великий Ленин обычно вытягивал из чирикающих телеграфных машин времен Русской революции. Оно гласило: «Немедленно отправляйтесь в магазин Берберри и проявите желание примерить жилетку и шарф».

Вашингтонское отделение знаменитой Британской инструкции было расположено на тройном углу Конн, Род-Айленд и Эм (Маскарадной) улицы. Недавно обновленное здание XIX века с его довольно уродливой

башенкой напомнило Филлариону извечное пятно в его анкетах, дом на улице Карла Маркса (бывшей Проломной) в городе Казани. Когда-то в этом доме помещался филиал «Зингера и К°», в котором брат его бабки, Петр Фомич Костанжоголо, был владельцем и членом правления. Кто знает, подумал Филларион, может быть, в ходе перестройки это капиталистическое пятно в моем прошлом обернется фонтаном, полным торжества. Едва он выразил желание примерить жилетку и шарф, его тут же препроводили в примерочную. Хорошенькая англичанка быстренько вывернула жилетку наизнанку, и он заметил в районе подмышки штамп «Ле Шан». Что касается вязаного шелкового шарфа, на нем был ярлычок с надписью «Уотергейт». Презентация сопровождалась очаровательной улыбкой, увы, приправленной типично британской сдержанностью: «Не угодно вам, сэръ, слегка ограничить сферу деятельности ваших рук? Благодарю за дух взаимопонимания. Такси вас ждет!»

В такси Филларион не без труда произнес комбинацию двух не очень сопоставимых слов «Ле Шан», что подразумевало, разумеется, сияние Елисейских полей и Уотергейт, от которого за версту разило громовым всемирным скандалом. Шофер просто кивнул. По пути к круглым массивным стенам средоточения мировой скандалезности он насвистывал какую-то изысканную мелодию своей родной Нигерии, а по прибытии к месту назначения вручил пассажиру квитанцию на пять с полтиной. На обратной стороне квитанции Фил увидел симпатично выписанную фразу: «Дюжина часапикских устриц и бутылочка пива “Кирин” дружески освещат вас в следующие полчаса». Сосиска-хотдог, Берберри, такси, устричный бар, думал Фил. Похоже, что я в западне какого-то коммивояжерства.

На террасе ресторана «Ле Шан» его приветствовала пышущая здоровьем официантка Триша Декуик в майке с надписью «Футбольная команда русалок Потомака». «Как сегодня дела идут, приятель?» — спросила она без излишних церемоний. «Как тут у вас насчет освежающих друзей?» — «Ага, дюжина устриц и японское пиво? Прекрасный заказ, сэр! Сразу виден истинный джентльмен!»

После серии добродушных шуток и ошеломляющих исповедей, связанных со сложностями супружеской жизни, Триша подала «освежающих друзей». Ну, а концу своего короткого пира Филларрион получил буклет Лодочной станции Флетчера, что располагалась в двух милях вверх по Потомаку, на берегу параллельного могучей реке тихого канала Часапик-Огайо. Горячий возбуждающий шепот, направленный в заросли левой околовушной зоны, зубки слегка покусывают мочку уха: «Попросишь там эскимосский каяк. А потом давай — заходи, давай быстренько заделаем штучку, крупный папочка!»

Его снова ожидало такси, на этот раз внутри, словно моторный поршень, бухал ямайский ритм. Трудно было определить, обычная это была тачка или еще одна «из сети» — вот так он и подумал: «из сети», — пока они не пересекли горбатый мостик над старинными шлюзами в сердце Джорджтауна, и здесь шофер сказал: «Вот тут самое трудное место для плавания вниз по каналу на эскимосском каяке, сэр. Надо не забывать о шлюзах».

На Лодочной станции Флетчера Фил столкнулся с неожиданной проблемой — ни один спасательный жилет и не думал сходиться на его груди. Инструктор, сам довольно дюжий мужчина, вывихивал себе мозги,

пока вдруг решение не было найдено. Как и все великие открытия, оно было простым. «Иисус, Мария и Иосиф, — сказал инструктор, — почему бы нам не взять два жилета и не надеть их на ваши руки, сэр? Вот, извольте, сэр, все путем!»

Два оранжевых узла на плечах усилили сходство Фила с певцом Паваротти, исполняющим «Риголетто». «Пожалуйста, не пойте, сэр, — инструктор махнул рукой на прощанье, красные паучки на носу и щеках недвусмысленно говорили о приверженности их владельца к ирландскому темному пиву. — И, пожалуйста, не раскачивайте лодку. Вам надо просто скользить вниз по каналу обратно в Джорджтаун. Постарайтесь избежать столкновения с этой гребаной джорджтаунской баржей, набитой этими лаптями-туристами, о'кей? А как достигнете устья Рок-Крика и войдете в Потомак, поворачивайте направо. Там вы увидите, сэр, самое уродливое строение из когда-либо возведенных на Земле, комплекс "Вашингтонская гавань".

Отступление. Тот самый комплекс, описанный в другом отступлении: «Из практики романостроительства».

Постарайтесь преодолеть судороги отвращения, потому что вам там надо причалить. Потом вы высадитесь и все остальное увидите своими глазами. Ну, в путь! Бон вуаяж!».

Получив столь теплое напутствие, Филарион стартовал и мирно заскользил обратно к стильному Джорджтауну. Сегодня у него не было ни малейшего намерения петь. Скольжение вниз по водам канала, сходным с гороховым супом, настроило его на мысли о суффиксах, префиксах и других мелких частицах лингвистики.

Мы, безусловно, принижаем значение этих маленьких ублюдков. Идеологическая война, например, она ведь вся нашпигована этими суффиксами, префиксами, окончаниями. В истории были периоды, когда война идей практически превращалась в войну лингвистических частичек. Без сомнения, большевики не выиграли бы гражданской войны, если бы у них был иностранный суффикс «ист» вместо «ик», такого родного и домашнего.

Интересен и поучителен также процесс адаптации некоторых неслыханных жаргонизмов социалистической абракадабры. «Буржуа», такой необычный и странный, быстро трансформировался в «буржуя» и сразу стал обиходным словом по созвучию с самой популярной трехбуквенной непристойностью. Буржуи — гуй, буржуй ты гув! Скользя по каналу и пережевывая свои частицы, профессор Фофанофф не обращал ни малейшего внимания на встречных бегунов. Бегуны же без различия пола при виде невероятного гребца теряли ритм и слегка задыхались. Он также избежал столкновения с туристической баржой, даже не заметив ни ее, ни ее экипажа, молодых людей в жилетках XIX века и девушек в чепчиках, ни бурлаков-мулов, влекущих баржу по каналу. Он был весь в раздумье.

А давайте-ка заглянем в коварные семантические ловушки, товарищи! Если, скажем, у гадкого слова «антисоветчина» отобрать негативный префикс «анти», мы предположительно должны получить что-то хорошее. Однако уродство суффикса «чина» настолько очевидно, что оно придает оставшемуся слову еще большую гадость, и получается действительно мерзкая «советчина».

Милостивые боги Балтийского моря, этой колыбели абстрактного мышления! Конечно же, он даже

и не заметил, как его каяк вошел в шлюз. Делая пометки на манжетах, он не видел, как двери шлюза закрылись и вода пошла вниз. В какой-то момент ему показалось, что сверху за ним пристально, хоть и с бессмысленной насмешкой на лицах, наблюдают три частицы «кртчк», «мрдк» и «чвск», однако он отогнал от себя это дикое предположение, и вскоре его судно покинуло заплесневелый шлюз и вышло к последнему перегону старинной транспортной системы.

Только лишь увидев перед собой широкое искрящееся пространство воды, Филларион вынырнул из пандемонизма русского лингвистического разгона. Тут только он понял, что близок к своему назначению. В несколько мощных ударов весла он достиг пристани, причалил и вскарабкался наверх.

Великодушные боги Волги и Каспийского моря! Странное эклектическое строение распростерло перед ним свои огромные крылья. Трехногий маяк вырастал из большого фонтана, а за ним стояли вогнутые стены с множеством балконов, террас, галерей, патио и внутренних авеню, с козырьками в стиле Прекрасной эпохи, с изгибами барокко по железобетону и модернистскими плоскостями отражающего стекла. Все вместе это создавало страшную чужеземную атмосферу, смесь венецианских площадей, предкатастрофного Санкт-Петербурга и романа Томаса Манна «Волшебная гора». Филларион влюбился с первого взгляда.

Со второго взгляда он увидел группу туристов, глядящую на группу скульптур. Эти последние отличались высоким качеством и неслыханной приближенностью к реальным объектам. Туристы восклицали вне себя от счастливого изумления.

Эй, глянь, этот парень в кроссовках, ну точно наш сосед Джимми! Эй, а девчонка-то рядом, ну просто хоть на свиданку приглашай! А старый-то, старый, может, пригласить его выпить? А что, ребята, может, они все ж таки живые?!

— Две фигуры скульптурной группы изображали юных влюбленных. Мальчик развалился на скамье, головка на коленях у девочки. Она ласкает волосы гедониста со смешанным выражением материнских чувств и похотливости. На обоих — настоящие джинсы и клетчатые рубашки.

В полуметре от подошв юнца на скамейке располагался третий член группы, среднего возраста джентльмен в прямой, сдержанной позиции. В твидовой шляпе и зеленых очках «Рэй Бэн», с аккуратными пеговатыми усиками, скульптура выглядела как отставной офицер разведки, своего рода полковник Черночернов.

ПРОЗА ПРОТЕСТА

— Всякий знает площадь Лафайет-сквер как излюбленное место протестантов. Надеюсь, не будет бестактным сказать, что и бичам она нравится. Увы, иногда нелегко отличить одних от других. Политические лозунги не всегда помогают. Например, рядом с относительно безумным требованием вывода Соединенных Штатов Америки с территории острова Манхэттен можно увидеть относительно несусветное: «Руки прочь от моей матери, Даниэля Ортеги!» У входа в парк, прямо напротив Белого дома, лежит в спальном мешке примечательный человек, профессор астрономии доктор Астрос Звездакис. Он держит не ограниченную во времени

голодовку в поддержку своих собственных требований. Ну что ж, в сравнении с другими требованиями Лафайет-сэвера Звездакиевские выглядят вполне умеренными: «Немедленное и полное разоружение Соединенных Штатов!» Многолетние исследования колец Юпитера привели ученого к заключению, что мир, потрясенный внезапной беззащитностью Америки, немедленно последует ее примеру и разоружится до последнего автомата Каляшникова, который и будет выставлен в музее, как реликт варварской эры оружия.

Некоторые международные друзья астронома находили эти требования неореалистическими и уещевали его прекратить свое мученичество, однако другие друзья, особенно из Советского комитета защиты мира, находили требования вполне реалистическими, советовали продолжать и с завидной регулярностью выражали астроному свои симпатии и поддержку. Советник Черночернов, например, никогда не упускал возможности заткнуть на ходу мученику в слабеющий рот горсточку кубиков советского мясного бульона. Сказать по правде, он никогда не оглядывался, чтобы удостовериться, проглотил ли ученый его дотацию или нашел силы выплюнуть.

...— Подожди! — она скользнула в скромно освещенную дверь «Бродячей Собаки».

Не важно, что это было, бутик, кафе или бордель, через десять минут она вернулась в новом ослепительном, сверкающем образе Коломбины, Петербург-1913. Ее суть, так долго замаскированная, хотя далеко не всегда удачно, мы должны признать, под сбруей академической зануды, теперь вознеслась к своей истинной вершине: это была жрица любви, блистательная распутница, Леди Нежность собственной персоной. И без

малейшего намека на сдержанность она упала в жаждающие руки Фила ФофанOFFа.

— Я люблю тебя, мой бедный толстяк! Я не дам изуродовать такую душу фламинго! Я люблю твою грязную Россию, мой убудок! Я не позволю ей погибнуть!

Это было то, что она хотела произнести вместо того, чтобы проборматывать какой-то чувственный вздор, держа в зубах кружева своей юбки, в то время как Фил ФофанOFF браво углублялся все глубже в таинства Серебряного века. Оргия чувственности на бурлацкой тропе старого канала Часапик-Огайо, пир на покинутых в ночи кормушках бурлаков-мулов!

Потом они прогуливались вдоль узкой набережной, стараясь изобразить из себя вполне приличную парочку привидений. Будто декорации под раскинувшимися ветвями граба, их окружал мир старины. Тут были маленькие окошечки и полуоткрытые двери старого миниатюрного капитализма; можно было увидеть лавку, торгующую шотландскими горнами с мехами, или часовую мастерскую, представленную почему-то на витрине чучелом ошестинившегося дикобраза, или колониальную фармацию, откуда пахло чабрецом и которая выставила в окошке желтоватые чаши с порошком из растертых слепней, различные грибообразные растения, листья, корни, кувшинчики, содержащие хрупкие остовы морских коньков, молотый женьшень, пилюли, сделанные из рогов пятнистого оленя, рыбий клей, змеиную желчь, порошок ороговевшего носа, тигриную кость и другие чудотворные субстанции.

Они проходили мимо, как прототипы извращенной версии романов Теодора Драйзера.

— Знаешь что, дорогая моя Филадельфия? — произнесла она, кладя свою розовую щеку на крутой склон его плеча. — Иногда мне хочется хорошенько запасть афродизиаками, схватить тебя за какую-нибудь твою самую ухватистую часть, да и драпануть от всей этой ярмарки тщеславия в Южную Тихоокеанию.

— Для меня лучшее убежище — это ты, моя Жемчужная Лагуна, — Фил меланхолично вдохнул мокрый воздух Средней Атлантики. — Но, конечно же, я желаю тебе удачи в буксировке меня к южным островам. — Она улыбнулась и мило шлепнула его по одному из двух его пушечных ядер.

— О, мой зяблик, — простонал он, снова заводясь внутренним мотором.

— Мечты, — усмехнулась Коломбина, Петербург-1913. — Увы, может быть, мы уже опоздали, мой Хобот, потому что сегодня не просто ночь, а зази-зинг-зови-ззззл-ночь!

— О, да! — и он выдохнул сухой и горячий воздух Пелопоннесского полуострова.

«У Свиной Ножки»

По Висконсин-авеню вверх и вниз катили автомобили, кинотеатры приглашали на сомнительные фильмы, бродячий саксофонист раздувал ностальгию, торговец фиалками скользил с чашей своего товара, который порой может быть опаснее, чем кокаин, двери «Au Pied de Cochon» раскачивались на петлях, представляя обществу то панка, то студента, то ночной цветочек с клиентом. Первое, что они увидели, когда вошли, была большая отвратительная картина, изображающая трой-

ку поваров с ножами, преследующих свингуса, который явно не выражал ни малейшего желания идти в готовку: ужаснейшая эта картина, очевидно, должна была сразу задавать тут истинно французский стиль. Не знаю, как насчет людей из разведки, но нашей компании это не очень-то нравилось.

Посетители сидели за шаткими столиками внутри шатких лож. Официанты, все французы, с мопассановскими усами, в длинных и существенно заляпанных фартуках, хороводились вокруг кофейной машины в непосредственной близости к единственному, унисекс, туалету.

Половой Жако в непринужденной манере чеховского буфетчика рассказал нашей компании свою версию истории полковника Юрченко, которая когда-то потрясла эту круглосуточную забегаловку:

— Врать не буду, как только эти два мусью вошли в кафе, я сразу подумал: ну вот и шпиены заявили!

Пар деся тут, ну прежде всего, конечно, помню парня с длинными усами, ходил вперевалочку, неуклюжий малый, сказать по чести, малость смахивал, месье-дам, на пана Валенсу. Ну, второй, врать не буду, не очень примечательный, не очень вообще-то запоминающаяся личность...

Ну, тогда этот первый парень начинает выговаривать второму, то есть сопровождающему. Куда, дескать, вы меня привели? Мне здесь не нравится! Такой, вишь ли, разборчивый, я вам скажу. Стильное французское заведение ему не подходит!

О чем они говорили? Ну, врать не буду, месье-дам, толковали они о любви. Вот именно любовь была у них на повестке дня. Не обязательно, дескать, быть верным в любви, но вот измена требует верности, вот об этом

как раз сопровождающий и говорил усатому. Мы вообще-то привыкли к таким разговорам промеж мужчин. Потом сопровождающий извинился и пошел в туалет почистить зубы, как он сказал. Из гальяона он передал свою кредитную карточку нашему буфетчику, а нотр Жерар, и тут же слинял, испарился на месте, тут де суит!

Усатый, то есть полковник Юрченко, как мы позже-то узнали, сидел один почти что два часа, пел еле слышно чтой-то грустное (Жакс воспроизвел мелодию «Шумел камыш», любимую тему советских вытрезвителей), потом глубоко вздохнул, махнул рукой в безнадежности и вышел. Я вот как раз здесь стоял, народы, и видел, как он прошел мимо окна по улице. Развернула зонтик с надписью «Столичная»... В общем и целом не вижу ничего особенного в этой истории: ныне, знаете ли, очень сложная ситуация внутри мужского пола..

THOSE FOOLISH THINGS

Тем временем президент Либеральной лиги Линкольна играл на саксофоне, а все наши еще уцелевшие персонажи наслаждались его игрой. Давно уже достопочтенный ГТТ смирил свою ренессансную натуру, чтобы подниматься вверх по социальной лестнице, и только недавно, а именно после встречи с мисс Щевич, он спустил с поводка свои многочисленные таланты. В частности, он продолжил разработку проекта геликоптера с задним ходом, впервые предложенного Леонардо да Винчи. Больше того, он даже, как видим, возобновил игру на саксофоне.

Достопочтенный ГТГ играл «Those Foolish Things», эти старые глупости. У него был неотразимый свинг, и его старый друг Фил Ф. Фифанофф, также известный как Пробосцус, присоединился к нему со своим энергичным стаккато по толстым струнам контрабаса. В цилиндре и с сигарой, зажатой меж его корпудентных губ, этот буреветник Перестройки был похож на образ классического капиталиста, вечный жупел классовой борьбы.

Those Foolish Things..

Внезапно и дико стаккато зашпотыкалось. Фифаноффский взгляд произвольно упал на трио, что сидело в полумраке слева от него вокруг столика на двоих. Три существа среднего возраста выглядели несколько старомодно в их слегка траченных молью бархатных одеяниях. Одна из них, фемина на вид, в туалете болотного цвета, пользовалась лорнетом, чтобы посматривать на одного из своих компаньонов, который яростно, будто охваченный внезапно нахлынувшим вдохновением, строчил что-то в блокноте. Тем временем третий нервно барабанил по стулу кончиками пальцев. Нужно было обладать определенной наблюдательностью или — что касается наших читателей — определенной читательской смекалистостью, чтобы распознать в этих довольно приличных людях двух заборзевших бомжей Теда и Чарльза (или, если угодно, Федю и Карла) и королеву местных шалашовок матушку Обескураж, интимно известную как Полли. Нечего и говорить. Филларион не принадлежал к числу смекалистых наблюдателей. Потрясло его то, что человек с объемистой лохматой бородой делал свои заметки рядом с неповторимым почерком русского гения, величайшего медведя русского пера. Другими словами, объект всеобщей жажды, ма-

ленький, переплетенный в марокканскую кожу альбомчик, находился сейчас в трех ярдах от Филлариона! Он приглушил соло, и вот что он услышал сквозь мягкие звуки, творимые его пальцами:

— Ну, как вам это нравится, милостидади и милостидадыни? — сказал Теда, повторяя коронный жест кандидата в президенты Майка Дукакиса. — Полли, благородная дева, как бы ни относилось к тебе всеядное потомство, ты все еще принадлежишь к моему внутреннему миру, к сфере моей вселенной, не так ли? Как же ты можешь терпеть тот возмутительный факт, что третье лицо, пусть даже близкое к нам, но третье лицо, использует вещь, которую ты мне дала как подтверждение нашей внутренней близости, эту старинную красивую вещицу, пусть и бывшую в употреблении и частично замазанную неразборчивыми варварскими записями, для записывания побочных продуктов его вполне посредственных псевдонаучных наблюдений, как ты можешь?

— Да ну, Тедади, — матушка Обескураж шаловливо и с некоторой даже похотливостью ему улыбнулась и помахала веером, ну, прямо в стиле кружка Блумсберри.

— Не ссорьтесь, мальчики! Эту пухлую штучку вполне можно использовать на двоих, равно как и некоторые другие вещи, что в нашем общем владении.

В этот момент Чарльз прервал свои лихорадочные записи и ударил кулаком по шаткому столику. Три тарелочки с крем-карамелью покрылись трещинами, как отражения трех лун в озере при землетрясении.

— Подожди, Полли! Я не могу допустить этого наглого вторжения в мой частный мир! Вы зашли слишком далеко, монсеньор, в своем свинском воображении!

Уверен, что граждане этого города, невзирая на свои убеждения и классовую принадлежность, не останутся равнодушны, сэр, если я разоблачу некоторые аспекты вашего бесстыдного поведения! Быть вам вымазанным дегтем, вывалянным в перьях, кабальеро! А ты, Полли! Постыдись, падший мой ангел!

— Ни шагу дальше! — возопил Тед. — Требую немедленного удовлетворения!

Перчатка была сорвана с руки, энное количество пудры упало на дрожащие поверхности внизу.

— Дуэль? — взвизгнул Чарльз. — Вот и чудесно!

Движением, резкости которого до зелени в лицах позавидовали бы бейсболисты «Кардиналов Сан-Луиса», он схватил ржавую перчатку, брошенную ему прямо в лицо.

Двое мужчин стояли друг перед другом, охваченные ураганом эмоций: любовь и ненависть, привязанность и тщеславие, ревность и чувство исторической непреложности.

Перед лицом драматической сцены матушка Обескураж лишь производила какую-то странную серию неадекватных жестов, похожих на хлопанье крыльев у дикого гуся в конце далекого перелета. Этот взрыв внутри как бы вполне приличного, хоть и потусторонне странного трио привлек всеобщее внимание. Пауза. Немая сцена. И только почтенный Генри Тоусенд Трастайм, держа саксофон наподобие эмбриона внутри вогнутости своего длинного тела, умолял соперников успокоиться, смягчая их сердца главной темой пьесы «Эти старые глупости». Тем временем объект соперничества, пухлая, крытая марокканской кожей книжка, спокойно лежал между тремя блюдами крем-карамели.

Следующий пролетающий момент. Кто-то, некая женская фурия, производит гигантский прыжок над перегородками едальных лож. Мисс Филиситата Хиерарчикос, разумеется! Все признаки ее утонченно заморского воспитания улетучились в одну минуту! Кого или что можно обвинить за ввержение нежной мамзели в состояние полной бесноватости? Вопрос этот, боюсь, будет оставлен для ответа критикам сего фривольного сочинения, столь неуместного в наш суровый век.

С рвением и искусством чемпиона женской борьбы Филиситата расшвыряла завсегдатаев «Свиной Ножки», из тех, кто попался ей под руку, схватила предмет соперничества, то есть зеленый альбомчик, спрятала его в одной из своих сокровенных зон и выклокотала что-то не очень-то вразумительное: «Вууки-вау-333-иийхххррр!»

Люди, что решили остаться в этом скандальном ресторане в течение получаса, потребного для прочтения нашей книги до последней страницы, будут, разумеется, живо обсуждать тот дикий первобытный и утробный крик утонченной дамы. Иные будут клясться, что уловили в этом до сих пор неслыханном голосе некие пронизывающие спазмы угнетенной женственности, другие заявят, что им послышалось некое влечение к преувеличенному чувству долга, сродни сублимации врожденного эксгибиционизма.. Никто, однако, не предложит объяснений к ошеломляющему виду приличной женской особи, летящей верхом на метле над столиками к окну и покидающей «Свиную Ножку» с влачащимся за ней шлейфом стеклянных частиц. Если это не явилось прямой манифестацией социалистического реализма, что же тогда это было? Не дурачьте нас, пожалуйста, разговорами о булгаковских ведьмах!

У-уж как вокруг все заварилось, закипело и забулькало после эскапад Филиситаты! Урсула Усрис кинула контрабас в невинную задницу: «Хватит производить эти вечные глупости своими дурацкими сосисками, Фил! Неужели ты не понимаешь, что история дает нам еще один шанс, чтобы спасти нашу тему?»

Саксофон Генри взвыл, как сирена тревоги, после чего замолчал, будто упав на поле брани. Урси и Фил бросились вон, держась за руки, не замечая, что и все другие бросились вон, не замечая других, distinguished ГТТ и Ленка Шевич, Джоселин и мистер Ясноатаманский, Жукоборец и Хуссако-сан, Тед, Чарльз и Полли, три сестры, Милиция Онто-Потоцка, Глория Чемберлен, Иеи Уоу, а также все «кто-такие», и среди них Роза Пинки, Монти Блю, а также советские лейтенанты Котомкин, Жмуркин и Лассо.

Не обращая внимания на уличное движение, они помчались вниз по Висконсин-авеню, как будто по взлетной полосе, и некоторые из них уже отрывались от земли. Вслед за ними все шапки из магазина «Шляпы с колокольни» завернулись хвостом, будто торнадо, все часы в компании «Белл» зазвонили и забухали, все чучела на витрине «Коммандер-Саламандер» растворились в экстазе.

Они перелетели улицу Ле (Мастер и Маргарита), пролетели под эстакадой Уайтхерст-фривэй по направлению к реке — толпа возле дискотеки «Вуй» повернулась и подняла руки в прощальном салюте, — потом над беспокойным пегим Потомаком и над Центром Кеннеди — прощальные трубы и фаноты из симфонии «Героика» мастера Бетховена — и т.д., и т.д., и т.д., пока гигантское Яйцо не встало перед ними, все склоны и макушка залиты лунным светом.

К сведению: среди всей этой суеты, увы, никто не заметил плачевного завершения блистательной карьеры советника Черночернова. Кто знает, что — революционный ли шухер вокруг или что-то другое — заставило его супругу Марту вытащить из деревянной кобуры свой заветный, 1917 года, маузер и, испустив дикий крик «Долой монархию!», нацелиться в широкую лояльную грудь своего супруга и попутчика. До самого последнего момента он все не верил, что она всерьез... Дальнейших объяснений, похоже, не требуется.

«Urbi et Orbi»

Яйцо вдруг пустилось в медленное и молчаливое вращение вокруг своей воображаемой оси. В зловещей тишине внезапно хихикнул Хуссако-сан: «Архитектор, хи-хи, во всем виноват!» — «Неуместная ремарка!» — прорычал в ответ Жукоборец. Бесшумно открывалась апертура главного входа. Нарастающий гул вперемешку с вызывающим, хоть и неразборчивым хохотом долетел до ушей нашей компании. Почти невыносимое, никому доселе не известное чувство, которое, может быть, превосходило «Арзамасскую тоску» графа Толстого, сковало конечности.

— Я люблю тебя, Фил! — сказала Урсула.

— Я тоже тебя люблю, Урсула! — гулко резонировал Филларион Ф. Фофанофф.

Они взялись за руки и двинулись вперед. И вся толпа, над которой возвышалась задумчивая голова достопочтенного Генри Тоусенда Трастайма, последовала за ними.

В главной внутренней сфере они увидели дюжую фигуру генерала Егорова, его руки в наручниках лежали на копчике.

— Умоляю, братцы, не стреляйте! — воскликнул он. — Товарищи, братья, леди и джентльмены! — он был готов упасть на колени.

— Огряньте взор на охват истории! — почти посолженицынски взывал он. — Никогда никакие проблемы не решались порохом! Не стреляйте!

Куда стрелять? В кого стрелять? Какого рода артиллерия у него на уме? Взгляд Филлариона последовал за егоровским пальцем, который от копчика показывал на купол Яйца. Там, оказывается, закручивался пандемониум летающих тел и предметов. Определенно присутствовали: миловидный исследователь романтизма Джим Доллархайд, элегантный аристократический подкидыш Карлос Пэтси Хаммарбургер, два незнакомых человека с лицами федеральных агентов, хотя и в обрывках парижской одежды, а также Филиситата Хиерарчикос в дерзком бальном платье. Все они двигались с медлительностью жертв кораблекрушения, повисших в глубоких толстых слоях океана.

Некоторые неодушевленные предметы также висели в воздухе, а именно: пара пистолетов, две или три пачки презервативов, один экземпляр «Ста лет одиночества», гребешок, напоминающий космический корабль в галактике перхоти, небольшая бутылочка витамина «Джеритол», три разрозненные штуки обуви, плоская фляжка с предположительно добрым содержимым, если судить по янтарного цвета капле, повисшей рядом. Среди всего этого беспорядка наблюдательный глаз легко мог заметить скандальный предмет русского национального наследия, дневник Достоевского с засушенной

хризантемой, неподвижно выпадающей из открытых страниц.

В резком контрасте с томным, несколько даже чопорным, хоть и не лишенным грации, движением упомянутых тел и предметов три чудовища среднего размера просвистывали туда и обратно с заметно бессмысленной энергией.

Предполагаю, что наши читатели не будут слишком удивлены, увидев на следующей ступени нашей быстро завершающейся драмы тело только что скончавшегося полковника Черночернова — Шварценеггера. Оно всплыло торжественно, держа вверх свое лицо и носки хороших советских ботинок, его галстук трепетал в вертикальном положении; ни дать ни взять флагман Перестройки!

Почти одновременно вбежали Чарльз, Тед и Полли Обескураж, прыгнули вверх с резвостью циркового трио и расположились под куполом, словно небесные акробаты.

Скованные силой притяжения пока еще превосходили числом плавающих в воздухе, когда Филларион увидел генерала Егорова, в непостижимом сальто протягивающего свои скованные ладони навстречу идущей в наступление ленинистке Марте Арвидовне, с ее революционным маузером. Марта! Умоляю! Не стреляй!

Долой буржуазный либерализм! Выстрел из грозного оружия показался Филлариону лопнувшим мыльным пузырем, и почти немедленно перед ним стала разворачиваться панорама Бородинской битвы 1812 года. Панорама, хоть и дико раскачивалась, как будто ее наблюдали с качелей, все же была полна движения и дыма — сражение в полном разгаре.

Потом поле битвы стало быстро закрываться густеющими облаками, сквозь которые он иногда ловил летящие виды псовой охоты (борзая, борзая, борзая, заяц!) или несколько щебечущих жеманниц в очаровательных шляпках.. Потом все исчезло в тучах, и тучи сами исчезли в тучах. Ему показалось, что он мощно вздымается и в то же время стремительно низвергается, не говоря уже о том, что улепetyвает во всех возможных направлениях.

Единственное чувство, которое еще поддерживало его целостность, было сострадание. Сострадание его было столь же мощным и всеохватывающим, сколь и морозящим, сверлящим, пронизывающим, выворачивающим наизнанку, толкающим к рыданию и сиянию, ослепляющее и оглушающее чувство сострадания ко всем, кого оставил позади.

Урси, Усри, Урби и Орби, Ю-Эс-Эс-АР, Ю-Эс-Эй, США, Эс-Эс-Эс-Эр...

Потом и сострадание пропало в тучах, и пропадающие тучи пропали в пропадании.

ОТРАЖЕНИЕ И СЛИЯНИЕ

Он очнулся в стране тихо дрейфующих льдин, глетчеров, скромно очерченных утесов, кристальных вод и бледно-голубых небес с хвостиками кудрявых и полупрозрачных облаков.

Погода казалась довольно устойчивой, имелась и растительность, хотя не совсем обычная. Вот, например, он заметил исключительную чувствительность веч-

нозеленого кустарника, агав и диковинных карликовых пальм с мясистыми короткими ветвями: они слегка, хотя вполне отчетливо меняли цвета в зависимости от колебаний его настроения. Впрочем, настроение было довольно стабильное: ему здесь нравилось. Единственное, что его беспокоило, было отсутствие отражения. То и дело он склонялся над прозрачными водными пустотами и взирал на поверхность, гримасничая и жестикулируя без всякого толку. Никакого отражения не возникало в ответ, даже и тени собственной он ни разу не заметил. Однажды ему показалось, что он поймал свое отражение между двумя скалами, на одной из которых он сидел, пережевывая свои мысли (мы забыли добавить, что он привык также пожевывать ломтики листьев агавы). Увы, его отражение на поверку оказалось всплывшим дюгоном. Он, или она (определение пола всегда сущая проблема с дюгонями), вынырнул из глубин, выпустил розовые пузыри и струи воды и спросил: «Привет, как дела?»

Не дожидаясь ответа, дюгонь мощно всплеснулся и исчез.

С этого момента довольно многие обитатели этой отдаленной территории стали появляться то тут, то там, капризные лемуры, чопорные павлины, забавные медведи-коала, жеманные кенгуру, некоторые довольно объемные тритоны... Однажды приблизилась благородных кровей, хоть и несколько застенчивая гагара. Она села рядом с ним на краю утеса, покачивая крылом и избегая его взгляда, будто юная девушка впервые в опере.

Не без спазма тоски он заметил, что птица также не отбрасывает тени и не отражается в воде. Взглянув на ее миражно подрагивающий плюмаж, он внезапно почувствовал острое желание амальгамации.

— Позвольте мне сказать, сэ, — сказала гагара голосом, дрожащим от эмоций. — Позвольте мне только сказать вам, что я влюблена в вашу длинную шею!

— В мою длинную шею? — удивился он.

— Да-да... а также и в ваши крылья, и в ваш клюв, радость моя! Если бы вы только знали, как я жажду... ох, как стыдно... амальгамации... слияния с вами, сэ...

Донельзя пристыженная гагара спрятала свою грациозную головку под левое крыло. Фламинго, то есть предмет гагариной страсти, потянулся всеми своими длинными конечностями, предвкушая высшее наслаждение.

— Перед тем как мы сольемся, — прошептал он, — вы должны знать, что я обожаю ваши перья!

— Мои перья? — удивленное круглое око выглянуло из-под крыла гагары.

Око... око... око... око... око... око... о, неземные восторги, фузия соков и чувств!

Впоследствии фламинго случалось амальгамировать свои соки и чувства с другими обитателями страны дрейфующих льдин, то с лемуrom, то с коала... даже иные объемистые тритоны не обделены были его вниманием, однако он никогда не испытывал с другими того состояния полной завершенности, то есть почти полного саморастворения, какое он испытывал с гагарой.

Рано или поздно большинство обитателей перезнакомились друг с другом. Доминировали чувство взаимной вежливости и несколько прохладные утонченные манеры. Они много говорили о разных абстрактных вопросах, однако тема отражения или, вернее, отсутствия отражения была их главной заботой.

Однажды через поле зрения всех обитателей прошел авианосец «Кашей Бессмертный». Он тоже был

лишен отражения, однако антенны радаров грозно вращались. Все проводили боевую единицу задумчивыми взглядами, понимая, что это уходит, не желая сдаваться, Эпоха Торжеств.

В другой раз все они, или, по крайней мере, персон тридцать, собрались на одной из многих льдин, что циркулировали в этой части мира. Уплотнившись на малой льдине, они напоминали экзотическую фруктовую нашлепку на порции мороженого «хаген-датц».

— Ну, что ж, — произнес один, — значит, можно рассматривать вопрос отражения как самый смысл существования?

— Надо уметь отличать фальшивое отражение от подлинного, — сказал другой. — В то время как первое не имеет никакого отношения к целям вечного искусства, последнее прокладывает путь к сияющим вершинам духовной революции.

— Должен признаться, — вздохнула третья персонна, — что моя тяга к слияниям порой производит препятствия перед моим стремлением к отражению..

Внезапно ярчайший луч, ярчайший за все времена луч опустился на них из облака, и они увидели свои отражения на поверхности вечных вод. Мгновение или больше, то есть всегда, они могли видеть себя как Филлариона Ф. Фофаноффа. Урсулу Усрис, Джима Доллархайда, Генри Трастайма, Джоселин Трастайм и Ленку Щевич, Каспара Свингчэара, полковника Черночернова и генерала Егорова, Марту Арвидовну, Филиситату Хиерарчикос, Карлоса Хаммарбургера, Алика Жукоборца, Доктора Хоба и старарента Брюса д'Аваланша, и прочая, и прочая, вы, конечно, можете их всех назвать, дорогой читатель, не говоря уже о живописном трио, — Чарльз, Тед и матушка Обескураж, — а затем они вдрут

увидели отражение своего далекого дома, города Вашингтона-Нашингтона, дистрикт Колумбины.

— Из-за чего вообще-то был весь этот шухер? — спросил голос с японским акцентом. — Еще год назад я опубликовал эти записи Достоевского в журнале «Рыболов Хоккайдо»...

— Экая опять неуместность! — прогудел голос с петербургским акцентом.

Картинка исчезла, и со вздохом огромного облегчения они приступили к своей финальной и всеобщей амальгамации.

VI

БЛЮЗ

ОСТРОВ БЕЛЬВЕДЕР

В 80-е годы возник проект сделать художественный фильм о русском авангардном художнике, в силу превратностей судьбы потерявшем свою семью (жену и дочку) и оказавшемся в полном одиночестве на американских берегах.

В те времена с порядочным успехом прошел фильм «Москва на Гудзоне», в котором играли хорошие актеры и где пышно расцветала «развесистая клюква». Фильм понравился, очевидно, благодаря этим двум обстоятельствам. Примерно в то же время «Оскара» получил совсем неплохой (во всяком случае, без «клюквы») фильм Меньшова «Москва слезам не верит». Все это указывало, что появился «спрос» на русскую тему, а среди первейших жизненных мудростей, которых эмигранту надо было усвоить в Америке, была наипервейшая: *right time, right place*. Словом, я взялся и вскоре выдал на-гора скрипт-мелодраму «Блюз с русским акцентом».

Здесь вы увидите один эпизод, в котором, как мне кажется, активно проявилась несовместимость беды и удачи. Во всяком случае, русский комплекс неполноценности выиграл «в полный рост».

Анн Стюарт, из приличной семьи, обратила внимание на парковщика автомобилей.

Он уже поехал вниз на ее «BMW», но через минуту снова появился на поверхности — за рулем белого «кадиллака», усадил за него дряхлого старикашку в клетчатых штанах и получил tips, несколько монеток. Теперь он идет к вновь прибывшему «корвету», протягивает талон черному плейбою. На секунду останавливается покурить среди группы таких же, как он, аттендантов в красных жилетах.

Анн смотрит на испитое, заросшее щетиной лицо и, не веря своим глазам, узнает в аттенданте знаменитого московского художника Олега Хлебникова.

Перед ней возникает на миг возбужденная атмосфера того вечера, на котором они познакомились, и холсты «Долгожданных животных», и насмешливое лицо тогдашнего Олега.

Она нерешительно приблизилась и произнесла по-русски:

— Олег, что вы здесь делаете?

Он посмотрел несколько диковато, но улыбнулся.

— Parking cars...¹

Ей показалось, что он даже не осознал, что с ним говорят по-русски.

— Don't you recognize me?² — спросила она.

— Well, you are a woman... — он усмехнулся. — More precisely, a young woman...³

Она была почти напугана — кажется, он под сильным «драгом».

¹ — Паркую автомобили... (англ.)

² — Вы меня не узнаете? (англ.)

³ — Ну, вы женщина... точнее, молодая женщина... (англ.)

— I am Anne Stuart¹.

Он весело, почти юношески рассмеялся, не всякий и заметил бы нотку истерики в этом смехе.

— I thought you are Pamela Clark².

Заглянул ей в лицо:

— Wanna fuck?³

В ее лице появилась решимость:

— Yes. Let's go!⁴

Он хлопнул себя по бедрам, крикнул другу-китайцу: «Chang, I'm splitting!»⁵, как будто не в первый раз приходилось ему покидать parking с молодыми леди типа Anne Stuart.

Они ехали по фривэю⁶. Окна в «BMW» были открыты, и ветер трепал волосы Анн.

Олег откинул голову на спинку кресла и заговорил наконец по-русски:

— Вот теперь я вас узнал. Смешно, но тогда, у Лики, я именно так вас себе представил — за рулем, и ветер треплет волосы...

Она чуть не плакала от жалости:

— Олег, что случилось с вами?

Он закрыл глаза:

— Да ничего особенного. Просто, выпал в осадок...

Машина въехала в переулок, один из тех американских alleys с пожарными лестницами и мусорными баками, где любое сердце охватывает тоска. Это где-то в районе Heights Ashberry. Здесь когда-то зародилось

¹ — Я Энн Стюарт (англ.).

² — А я думал, вы Памела Кларк (англ.).

³ Фривольное предложение (англ.).

⁴ — Да. Пошли! (англ.)

⁵ — Я «откалываюсь!» (англ.)

⁶ Автострада (англ.).

движение хиппи, а сейчас осталась одна лишь желтая тоска и худосочие.

Длинноволосый старик спал на земле у спуска в бейсмент¹, где помещалась «квартира». Черный трансвестит² стоял с остекленевшими глазами напротив у стены. Его сзади обнимал и, кажется, слегка мастурбировал пьяный индеец. Здесь же шумно жила большая мексиканская семья — женщины стирали, дети катались на роликах, мужчины играли в карты...

— Ну, вот, видите, здесь я живу, — сказал Олег. — До свидания. Встретимся в другой раз. Обещаю побриться.

Анн настойчиво проследовала вперед:

— Нет-нет, я хочу посмотреть, как вы живете!

Старик, лежащий у входа, открыл один глаз и пробормотал:

— Congratulations, Olek! You got a girl! Gonna spare some change for me?³

Олег сунул ему за пазуху несколько долларов.

Сквозь окошко в комнате Олега была видна задница старика.

Посредине комнаты, на штативе, стоял начатый и брошенный холст с засохшими красками — свидетельство того, что вначале Олег еще пытался бороться. Они сидели у колченогого стола и смотрели друг на друга. На столе стояла галонная бутылка дешевого вина. Олег ковырял пальцем в жестяной коробочке.

— Хотите «Смок»? — спросил он.

Она отрицательно покачала головой, налила себе вина. На лице ее все еще было выражение какой-то

¹ Подвал, цокольный этаж (англ.).

² Существо неопределенного пола (англ.).

³ — Поздравляю, Олек! Нашел девочку! С тебя причитается! (англ.)

решимости, что вкупе с замечательным румянцем и чистотой глаз очень ей «шло».

Он стал скручивать сигаретку, бормотал:

— Это, вы уже знаете, вполне невинная вещь... Это же все курят.

А н н. Олег, но это все ужасно!

Он затыкнулся марихуаной и сразу повеселел.

— Ровно ничего ужасного, сударыня.

А н н. Вы талантливый художник! И вы все бросили! Живете в slums!... Нет, я этого не допущу! Это правильно по-русски — не допущу?!

Он улыбнулся и положил свою руку на ее ладонь:

— Кажется, спасти меня решили, сударыня?

Анн. Да.

Он засмеялся, налил себе вина, потом, будто вся мерзость вдруг его отпустила, вытащил из угла дряхлую гитару и запел уже известную нам песню:

...ОВИР нас не разгонит ни навеки, ни на час,
А если, вдруг случится, затоскуешь,
С тобой я повстречаюсь на бульваре Монпарнас,
А ты ко мне вернешься на Тверскую...

В окошке появились стоптанные башмаки старика. Видимо, вдохновленный Олеговыми долларами, он собрался в поход.

Башмаки исчезли. На их место прибежал и растянулся в солнечном пятне пузатенький щенок.

Ночью оказалось, что луна все же проникает в жилище Олега и даже освещает кусок стола и подушки на тахте, а следовательно, и лица двух лежащих рядом людей.

¹ Трущобы (англ.).

Анн смотрела на Олега с влюбленно-заботливым выражением.

С улицы доносился голос бухого старика:

Mankind I love you
While you are sleeping,
Mankind I hate you
While you are wheeeping...¹

В окошке появилась бутылка и драный сапог.

— Слышишь? — сказал Олег. — Это Грегори. Он поэт.

Анн положила ему голову на грудь.

— Это, конечно, очень романтично, но завтра ты переедешь ко мне на Belveder Island.

Олег промолчал, но обнял ее и потянулся — не без блаженства, не без освобожденности, не без того, что можно было бы назвать на старинный манер «благодарностью судьбе».

Семейство Стюартов с первого взгляда можно назвать «wealthy». Идеальная американская «фамилия» из верхушки среднего класса.

Мистер Стюарт, не будем уточнять, кто он, преуспевающий адвокат или глава фирмы, пятидесятилетний спортивного склада джентльмен, любезнейший, стильный и веселый.

Миссис Стюарт, то есть мать Анны, можно, разумеется, без всякого труда принять за ее старшую сестру.

¹ Человечество, я люблю тебя,
Когда ты спишь,
Человечество, я ненавижу тебя,
Когда ты плачешь (англ).

А вот и Марджори Янг, сестра миссис Стюарт, художница, музыкант и поэт, особа романтического и слегка богемного плана.

Будет присутствовать и ее, что называется, «live-in»¹, Пол Дохени, да-да, из тех самых Дохени, сорокалетний спортсмен, журналист и член частного комитета по сбору разведывательных данных.

И наконец, два брата Анны, восемнадцатилетние близнецы Джим и Скотт, чудеснейшие ребята, такие же, как и сама Анна, «кровь-с-молоком», птенцы американских зажиточных субурбанаций².

Не исключено, впрочем, что может появиться чудо из чудес — бабушка, глава семьи, столетняя Мими Стюарт, о которой все здесь говорят:

— She is our national treasure!³

Итак, все семейство сидит на холме острова Бельведер, возле своего большого белого трехэтажного дома. Покачиваются под бризом пальмы и кипарисы. Ярко-зеленая подстриженная трава. Кусты роз. В глубине сцены, на дощатом деке, сервирован обеденный стол на девять персон.

Внизу блестит под клонящимся уже к закату солнцем заливчик, в котором стоят катера и яхты, далее простирается морская гладь с цепью маленьких островов — наподобие самого Бельведера.

— Coming! Coming!⁴ — как в старой дачной пьесе, закричали Джим и Скотт и побежали встречать сестрицу и загадочного русского художника, которого она обещала сегодня привезти с собой.

¹ Сожитель (англ.).

² Жители пригородов (англ.).

³ — Это наше национальное сокровище (англ.).

⁴ — Едут! Едут! (англ.)

У подножия холма остановился «BMW», и из него вышли Анна и Олег.

— Last warning to everybody, — сказал мистер Стюарт. — This guy is under stress. Anne begs all of you be nice with him as much as possible¹.

Олег, и в самом деле, был напряжен, пока они приближались к вершине холма, пока все это к нему приближалось — его новая жизнь, такая чистая и свободная.

— Не церемонься, — шептала ему Анна, — они очень простые. Будь самим собой.

(Таким образом, влюбленная Анна и отцу, и любимому дала соответствующие советы, которые, возможно, частично и привели к тому, что произошло.)

Семейство поднялось гостю навстречу.

— Мистер Хлебников, как приятно с вами познакомиться.

— Welcome to Belveder!²

— Be at home!³

Джим и Скотт уже катили два карта с напитками и снэксами.

— Call me Rom!⁴ — сердечно сказал папа.

— This is Mimi, our national treasure⁵, — так мама Стюарт представила свою свекровь.

— I know Russia, — сказала Мими. — The president Nikolaj Lenin lives there⁶.

¹ — Предупреждаю еще раз всех... Этот парень под стрессом. Энн просила всех быть любезными до предела (англ.)

² — Добро пожаловать на Бельведер! (англ.)

³ — Будьте, как дома! (англ.)

⁴ — Называйте меня Рон! (англ.)

⁵ — Это Мими, наше национальное сокровище (англ.)

⁶ — Я знаю Россию... Там живет президент Николай Ленин (англ.)

— I am sure, you love sailing¹, — сказал Пол Дохени, из тех самых.

— I am a painter, too, — очаровательно улыбнулась Марджори Янг и добавила по-французски: — Voulez-vous me donner une leçon, monsieur?²

Анна сияла, и Олег, надо сказать, улыбался направо и налево — люди эти ему нравились, и место тоже, и все бы, наверное, прошло хорошо, если бы не одна случайная фраза, вернее, даже отдельное словечко, слетевшее с уст мистера Стюарта.

— I used to visit Moscow, — сказал этот джентльмен и добавил: — One can not but notice the certain achievements in this country³.

Олег, к этому времени уже хвативший хороший double shot⁴, дернулся.

— Achievements?.. — криво усмехнулся он. — That's nice word, such a familiar one...⁵

— Don't you forget, dad, Oleg is as refugee! — бросилась на выручку Анна. — They threw him out of Russia!⁶

Олег взял со столика бутылку скоча и сел с ней на траву под пальму.

— Достижения... — бормотал он и вытирал рот рукавом.

Вдруг перед ним пронеслись каруселью кадры прошлой зимы, лица друзей и дружинников, жена, дочка,

¹ — Уверен, что вы любите парусный спорт (англ.).

² — Я тоже художник... Не дадите ли вы мне урок, сударь? (англ.)

³ — Я бывал в Москве. Нельзя не отметить определенных достижений в этой стране (англ.).

⁴ Двойная порция (англ.).

⁵ — Достижений? Прекрасное слово, такое привычное... (англ.)

⁶ — Не забудь, папа, Олег беженец! Они его выкинули из России! (англ.)

каменная харя тестя, и вдруг вся лужайка на холме заполнилась продукцией Комбината Наглядной Агитации — лозунгами, плакатами и бюстами Ильича. Он глотнул раз, еще раз и вынырнул — увидел вокруг мирную картину Бельведера и лица американцев, искаженные гомерическим сочувствием.

— I am sorry, — пробормотал он. — This is just a word, such a shameful word... achievements...¹

Мистер Стюарт бросился к нему, чтобы загладить свою ошибку.

— That's my fault, Oleg! I'm terribly sorry! It was so sully to talk about Russian achievements!²

Олег. Why? If you are left, why should you avoid any talk about Soviet achievements? Tell me, isn't it too bad to be left, residing Belveder Island, sir?³

Анна (*близка к отчаянию*). Олег, поверь, папа не левый, он, просто...

Олег. Left, right... It doesn't make difference... Russian... Soviet... Same sort of things, ah?...⁴ Да, сударыня?

Размахнувшись, он швырнул недопитую бутылку в розовые кусты и поцеловал старушку Мими в желтую щеку.

— Bravo! — воскликнула Марджори Янг.

— Not bad!⁵ — похлопал в ладони Пол Донехи.

¹ — Простите, — это такое слово, такое позорное слово... достижения... (*англ.*)

² — Это моя вина, Олег! Страшно извиняюсь! Глупо говорить о русских достижениях! (*англ.*)

³ — Почему же? Если вы левый, почему вам не поговорить о советских достижениях? Скажите мне, это ведь не так плохо быть левым, живя на Бельведере, сэр? (*англ.*)

⁴ — Левые, правые... Какая разница... Русские... советские... Те или другие, а?... (*англ.*)

⁵ — Неплохо! (*англ.*)

И все заплодировали.

Дурная улыбка освещала лицо Олега.

Миссис Стюарт нежнейшим тоном обратилась к нему:

— Would you like to get rest, my friend? Look at these three windows upstairs! This is your room, dear Oleg¹.

Олег. Why do you love me so much, ma'm? Why do you car of a tramp like me? I know why! You Americans are fond of handicapped. An I am non other than a handicap, mentally disabled, therefore...²

Анн побежала к нему и обняла за плечи...

— Олег, Олег, пожалуйста!

Он ернически поцеловал ей руку...

— И вы, дорогая, полюбили во мне гандикапа, а не художника! Это ваша американская черта — такое яркое сочувствие к гандикапам³...

Он оттолкнул Анну и пошел к дому, то и дело оттаптываясь и провозглашая:

— O'key, I am ready to be you home handicap! I will be you pet, ladies and gentlemen! A little whimsy pet, all right?⁴

Проходя мимо соответствующего столика, он хапнул пятерней верхушку роскошного торта.

В довершение безобразной сцены, прыгнул в бассейн, как был — в башмаках и одежде. Поплыл, распевая свою песенку.

¹ — Не хотите ли отдохнуть, мой друг? Посмотрите на эти окна наверху! Это ваша комната, дорогой Олег (англ.).

² — Отчего вы меня так любите, мадам? Зачем вам заботиться о таком ханурике, как я? А, я знаю! Вам, американцам, нравятся неполноценные! А ведь я не что иное, как умственный калека, и поэтому...

³ Неполноценный, калека (англ.).

⁴ — О 'кей, я готов стать вашим домашним убогим! Я буду вашим котиком, леди и джентльмены! Маленьким капризным пупсиком, хорошо? (англ.)

Анна сидела, закрыв лицо руками. У всех остальных были каменные лица. И только Марджори Янг хлопнула себе ладошкой по колену:

— That's a real Chekhov's style, indeed!¹

В советском киноделе первая запись «проекта» именовалась «литературным киносценарием» и чаще всего представляла из себя своеобразную прозу. «Блюз» заинтересовал нескольких оказавшихся в Америке русских режиссеров, в частности Мишу Богина, снявшего в СССР известный фильм «Двое» с Викторией Федоровой. Потом «опцию» приобрела продюсер Соня Каллен, и на этом все кончилось. «Спрос» на русскую тему упал, «верное время» утекло, «верное место» затерялось в кинолабиринтах.

Я узнал в Америке немало талантливых русских киношников, которые всеми силами пытались пробиться в Голливуде. Многим из них казалось, что, вот, еще один шаг, и все начнется. Так проходили год за годом, а потом получалось, что и жизнь прошла. Увы, слишком поздно их озаряла печальная догадка, что им никогда не дадут тут пробиться.

Мой жанр, слава Богу, давал мне возможность осуществить его от начала до конца, то есть от чистого листа бумаги до последней страницы рукописи, без всяких тамошних финансовых гадов. Что касается американских кинопроектировщиков, то они, бывало, выходили и на меня. Я не отказывался от предложений, потому что они сулили хороший заработок. Несколько раз я был на расстоянии протянутой руки, но когда рука протягивалась, в ней оказывался плевок. Так

¹ — Да это же в чеховском стиле! (англ.)

получилось, к примеру, с проектами фильмов по «Острову Крыму» и по «Московской саге». Большой творческий бизнес Америки, увы, отравлен доллароманией. С какими бы хорошими ребятами ты ни имел дело, они немедленно отвернутся от тебя, если увидят, что долларовый поток пошел в другую сторону.

Признаться, одно время я уже начинал испытывать раздражение. Лопались то один, то другой кинопроект. Даже и сценические планы, где вознаграждения несравнимы с голливудскими, не осуществлялись.

Вот лишь один пример. Режиссер Пол Берман решил ставить пьесу «Твой убийца» на сцене известного тогда театра «Сэйнт-Джордж Стрит». Устроили сценическую читку с полным залом публики. Ура, успех! После спектакля директор театра, здоровенная молодая орясина, пригласил меня в свой кабинет. Слушай, Василий, эту пьесу либо буду ставить я, либо никто другой. Согласен? А как же Пол, спросил я. Он ухмыльнулся. Забудь о нем. Согласен? Я поднял руку. Мерзавец просиял. Я снизил руку и похлопал ею в соответствующем месте. Интернациональный жест был понят. Спектакль закрыли.

Что за гадство, думал я. Почему мне так не везет в этой Америке? В конце концов я понял, что речь идет не о везении, а о какой-то глубинной несовместимости.

Что касается «Блюза», то с ним я даже и не помышлял об экранном воплощении. Признаться, за долгие годы я просто забыл об этом тексте, пока не стал собирать материал для «Американской кириллицы». И вдруг увидел, что опустившийся русский художник, ставший парковщиком машин, является не кем иным, как предтечей Саши Корбаха из «Нового сладостного стиля». Да и девушка напоминала Нору Мансур. Так

начинается новое романостроительство. Здесь разыгрывается тема несовместимости американского высокого стандарта и русской творческой личности. Во всяком случае, личности нашего, уже состарившегося поколения.

VII

ΠΑΡΦΕΝΟΝ

Университет — мое самое любимое место в Америке. Ему я отдаю предпочтение перед всеми другими американскими учреждениями, включая и Белый дом. Многолетняя привычка каждый сентябрь и каждый февраль возвращаться на кампус отнюдь меня не тяготила. Я люблю университетские кампусы с их толпами молодежи. 24 года университетских усилий означают, грубо говоря, что я 48 раз возвращался на кампусы из внеуниверситетской жизни.

В отличие от старой советской системы, в которой студенческая группа оставалась в неизменном составе все 5—6 лет обучения, американская система каждый семестр предлагает новую комбинацию лиц, вернее, студенты по собственному выбору заполняют классы в хаотическом порядке, если так можно выразиться. Эва, проводя 2 курса каждую неделю, я, стало быть, познакомился, грубо, с 3 тысячами единиц американской молодежи!

Вот вам рифмованный портрет одного из этих 96 классов.

КЛАСС АМЕРИКА

Каждый год осенью, в сентябре,
Передо мной новое скопление лиц:

Обязательная ветеранка, волосы в серебре,
И десятка три юнцов и юниц.
«Современный роман: упругость жанра»,
Так мы называем наш академический курс.
Молодой романист предвкушает мажорно
Поцелуй вдохновенья и тщеславья укус.
Среброволосая баронесса Соня
В классе, быть может, моложе всех:
Зубы не обломав в Упсала и в Сорбонне,
Теперь разгрызает вирджинский орех.
Двадцатилетний Стенли Яблонский
В стильном рванье — сплошной атлас! —
Обнаруживает странно японский
Абрис лица и рисунок глаз.
С ним его подруга, на груди монисто,
Калифорнийка Роксана Трент,
Голубоглазая постмодернистка,
Чья философия — эксперимент!
Рядом из глубинки, «дунька с трудоднями»,
Отряхивает с набрюшника потэйто-чипс:
Звать ее Джейн, а фамилиё — Пастрами,
Уши продолжают баранками клипс.
Из той же породы Сэлли Мэтьюз
И Дэбра Малович. Бабл-гам
Вдувают девицы, рожденные сетью
Большой коммерции: всем сестрам по серьгам.
Бывший сержант дорожного патруля
Старательно отглаженный Рэнди О:
Глаза что две разбалансированные пули,
Жизненные планы грандио-
Зны, в отличие от таковых у Грэга
Миллера, что и так доволен собой,
Своими зубами цвета снега
И соломенной шевелюрой «голден бой».
Огненно-рыжая Шила О'Коннор
Символизирует весь свой клан:
На фоне зеленых проемов оконных
Она преподносит набор ирланд-
Ских многоцветий, и вечно юный
Сорокалетний хиппи с косой

Ричард Фицджеральд готов уже клонуть
 На эти приманки девицы простой.
 Джаарбил Мохамед Наврузи
 Темным камнем украсил свой перст:
 В томных взглядах он виртуозен,
 Этот юный богатый перс.
 Кирьяш, Ладан, Айя, Пантейя, его землячки,
 На джинсы сменившие хомейнийский ярем:
 По шарияту явно не плачет
 Эмансипированный гарем.
 Нельзя забывать и другого Востока,
 Он щедро представлен. Ким Со Лим,
 Все белые тигры корейских восходов
 В класс заявляются вместе с ним.
 А вот и самые худенькие ребята:
 Нго, Дуонг и Анг Хуэй Уан,
 С плоскими лицами селибатов,
 Будто посажены на сампан.
 «Лодочным людом» называли их «посты» и «стары»,
 Выпит изрядно ими горький ром ранних ран,
 Тайно отчалили от комиссаров,
 Чтобы приплыть в роман.
 Сын эфиопского комсомола,
 Что испарился во цвете лет,
 Зубрила, как видно, крутого помола,
 Менгисту Хайле Тесфалидет.
 Таинственный Стержио Агастокьюлос
 По происхождению и по внешности грек,
 Если и не из Эллады, то откуда-то около:
 Среди тридцати иксов один игрек.
 Грустная милая Клоди Куриц.
 К ней не полезет всякий нахал,
 Зато поэт фимиам ей воскурит,
 Не зная, что курицей называл.
 А вот как раз и поэт, Макдоналд
 Джефри: я встретил его в Москве —
 Юноша кругленький, но окрыленный,
 С поэтическим промыслом объехал весь свет.
 Сидит здесь и гитарист нашего рок-н-ролла
 По кличке «Энеми», по имени Нага

Кристофер, чье пузо нередко голо,
И коленный сустав нередко наг.
Двухметровый центр женского баскетбола
Афро-американка Шелдон Моник
Плывет, покачиваясь, как гондола,
Под грузом русских нечитанных книг.
За ней гондольер, маленький Генри,
Черный кузнечик Смит, мастер дзюдо,
Из легчайшей категории в тяжелые жанры
Переходит, влекомый своей звездой.
А вот и наш соотечественник, Векслер Алекс,
То есть бывший Саша: возрос в тиши
Мэрилендских пригородов. Там и взыграли
Ностальгические чувства к пушкинским далям:
«По русской понимаю ни шиши».
Не обошлось, разумеется, и без Польши:
Как одно из ясных славянских солнц,
В центре класса сияет не меньше, не больше,
Как подруга всеобщего детства Инга Зайонц.
Мы начинаем, господа, со слов Пастернака,
Автора романа «Доктор Омар Шариф»,
Где Джулия Кристи бродит по буераку,
Напевая незабываемый 1966 года мотив.
Он говорит, что весь мир в компоте,
Однако роман — это не просто текст.
Роман — это кусок горячей дымящейся плоти.
От себя добавим: Но отнюдь не бифштекс!
Все-таки роман — это сборище письменных знаков.
Он появляется в воздухе, как ЭНЭЛО,
По воле гудящего себе под нос Пастернака.
Чья ручка кружится, как помело
Переделкинской ведьмы, она же муза,
Что вечно переперчивала соцреализм,
А по ночам голосила, как леший Карузо,
В литфондовских дебрях, где мрак и слизь.
Чеканщик шедевров, виолончельщик
Вляпался в романешти, как в липкий бальзам,
В жанр, где размазался и застрельщик,
Достопочтенный Оноре де Бальзак.
Все-таки он отрывается, он в полете,

Кружит над строчками и не впадает в сон.
Не спи, жужокит сам себе, работай,
И станешь, как пилотская звездочка, невесом.

В этом году на приеме в честь выхода в отставку одного из профессоров группы Клааренса Робинсона Университета «Джордж Мэйсон», что раскинул свой кампус на окраине Большого Вашингтона, в графстве Фэйрфакс Содружества Вирджинии, после речи президента Алана Мертена, провоста Питера Стерна, Робинсоновского профессора Пола Д'Андреа (драматург), Робинсоновского профессора Джона Пэйдена (политолог) и профессора Джулии Кристенсен (русская литература), с речью выступил виновник торжества, то есть я. Речь называлась:

«Парфенон не лжет»

Сегодня, после 24 лет моего американского путешествия, я благодарю Провидение за то, что оно открыло передо мной ворота Университета.

В 1980 году, когда я достиг этих берегов, у меня были довольно мутные представления о будущем. Разумеется, я знал, что передо мной открываются большие возможности в этой стране неограниченных возможностей. Я мог заработать свой первый миллион, подвизаясь в Голливуде. Я мог стать таксистом в Нью-Йорке и найти миллион на заднем сиденье. Я мог собирать мелочь возле светофоров, а потом с этой мелочью выиграть миллионный джек-пот в Атлантик-сити. Я мог стать агентом по недвижимости, что дало бы мне возможность купить дом за 20 000 и продать его за 1 020 000. Я мог, в конце концов, баллотироваться в мэры Вашингтона и таким образом получить миллион задарма.

И все-таки я отверг все эти блестящие возможности и, движимый неясной интуицией, доверился Провидению, чтобы войти в ворота университетского кампуса. За этими воротами я нашел почти совершенную автономию, обеспечивающую своим гражданам все свободы, включая свободу погони за отметками и кредитами, то есть студенческое счастье.

К моему удивлению, университетский народ сразу дал мне понять, что они нуждаются во мне, что я являюсь неким долгожданным университетским новоселом, без коего они практически даже не могут представить себе дальнейшего шага в их продолжающемся развитии.

С того времени все эти годы я был неразрывно связан с Университетом, он стал моей естественной средой обитания, настоящей Америкой, приверженной своим традиционным ценностям: либерализму, гостеприимству, сдержанности и отпущению грехов. Я перемещался из одной школы в другую: Мичиганский университет, Университет Южной Калифорнии, Университет Вашингтона в дистрикте Колумбия, Гаучерский Колледж, который, между прочим, наградил меня почетным званием Doctor of the Humane Letters, Университет Джонс Хопкинс... Иногда я казался сам себе набоковским героем, русским профессором по фамилии Пнин из романа «Пнин», который был известен в академических кругах своей склонностью к прочтению «не той» лекции. Все же ни в одном кампусе я не был вымазан дегтем и вывалян в перьях и продолжал путешествовать из одной школы в другую и читать «те» или «не те» лекции, которые помогали мне приобщиться к тому, что называется «университетским духом», а также помогали мне сбалансировать мой банковский

счет. В конце концов, в 1988 году, я прибыл в Университет «Джордж Мэйсон», этот самый университетский университет, Боже, благослови его студентов и преподавательский состав.

...Сейчас на этом прощальном приеме мне хочется поблагодарить администрацию за то, что меня не вышибли отсюда и моих fellow-профессоров за то, что они считали меня своим другом. Чтобы компенсировать мое «пнинство», мне хочется сейчас сыграть для них Бетховена на концертном рояле. Есть тут у нас концертный рояль? Жаль, жаль...

...В ходе этих лет, благодаря специфике робинсоновской программы с ее сравнительной независимостью, мне удалось создать свою собственную повестку для моих классов. Я предлагал студентам младших курсов свою главную тему «Модернизм и авангард в России начала XX века: Образы Утопии». Старших студентов я приглашал на тему «Два столетия русского романа», которая давала мне возможность говорить о моей собственной писательской губернии, то есть о жанре романа.

В независимости от того, насколько молоды были мои студенты, я говорил с ними без компромиссов об историческом и философском генезисе обсуждаемых феноменов. Относясь к ним как к равным, я старался внедрить в них основную идею: входя в Университет, вы должны понимать, что присоединяетесь к интеллектуальному меньшинству этого общества.

На заре XXI столетия, видя перед собой цунами новых угроз и вызовов, мы не можем недооценивать роль интеллектуального меньшинства. Мир усложняется, нагромождаются стереотипы. Задавайте самые дерзкие вопросы перед тем, как повзрослеете, чтобы фор-

мулировать ответы. Университет дает вам для этого самые лучшие возможности, потому что вы не просто записались в профессиональную школу, должную натренировать вас для заработка долларов вашей жизни, вы стали членами определенной уникальной структуры, которая учит вас думать о Вселенной и выражать сомнения по поводу любой типовой системы, включая даже и те, что с благородными намерениями, подобно кодексу политической корректности. Старайтесь достичь недостижимый идеал, другими словами, самую не-системную систему, самое внеполитическое дерзновение.

Университет — это мой храм. Я верю, что это не одно из бесчисленных предприятий страны, одержимой долларами, но не что иное, как некий чудодейственный хронотоп. Деньги — это не главная тема на кампусах, и если администрация постоянно их ищет, то не для дальнейшего производства денег, а только для нашей жизненной циркуляции. Университет — это конгломерат самых динамических пульсаций, источник вечного кислорода.

За все эти 24 года Университет ни разу меня не подвел, никогда не предал. Университет — это Парфенон, а Парфенон не лжет.

Увы, я не могу этого сказать о другом предприятии, с которым имел дело в течение моих американских лет. Я говорю о книгопроизводстве, в частности о 100-этажном, или сколько там у них, гиганте «Рэндом Хаус».

Начиная с 1983-го это издательство опубликовало не менее 7 моих больших романов. Ни один из них не принес «длинных баксов», хотя огромное количество

рецензий по всему спектру мнений, но в основном благоприятные, были напечатаны в газетах и журналах. В конце концов я понял, что был включен в список авторов, чьи тексты приносят не «баксы», а то, что называется художественным престижем. Влиятельные литературные фигуры подтвердили это соображение.

Потом, года полтора назад, внезапно мой самый важный и самый сложный роман, «Кесарево свечение», этот мой, что называется, *magnum opus*, в котором я суммировал образы и идеи, собранные за три десятилетия последнего века, был отвергнут издательством «Рэндом Хаус».

Причину этого ошеломляющего решения сформулировал редактор, с которым мы были в приятельских отношениях. Американские читатели, сказал он, не поймут этого романа. Учитывая тот факт, что роман еще не был переведен — а редактор по-русски не умел, — можно было предположить, что он близок к истине. Все-таки для того, чтобы поддержать свое заключение, он нашел одного читателя для оригинала, нанял двуязычного молодого эмигранта, который вовсю старался отличаться в литературном Нью-Йорке. Я почувствовал, что *something fishy* (мерзкое) есть в этом деле. Удивительно, думал я, как это вице-президент Anne Gedoff, женщина с безупречной интеллектуальной репутацией, могла одобрить унижительное решение.

Прошлым летом, и снова внезапно, я узнал, что творилось в то время в «Рэндом Хаус», из статьи «Profit or Perish», что можно перевести как «Доход или гибель», напечатанной в «Нью-Йорк Таймс мэгэзин». Несколько лет назад «Рэндом» был куплен германским издательским динозавром «Бертельсман». Помнится, редактор Дэн Менакер сказал мне: «Не беспокойся,

в смысле художественных ценностей мы останемся полностью независимыми». Он ошибся.

Германский динозавр пожрал американского динозавра. После периода внимательного наблюдения «Бертельсман» назначил своего человека, некоего Питера Олсона, главным исполнительным офицером (СЕО) с неограниченным правом увольнять любого, кто противоречит его концепции доходного книжного дела. С тех пор «Рэндом Хаус» испытал настоящий погром. Олсон перетряхивал кадры, избавляясь от «слишком умных». Малопродуктивным авторам показывали от ворот поворот. «Нью-Йорк Таймс мэгэзин» непроизвольно как бы похлопал меня по плечу: дескать, не ты один оказался среди жертв. Фотографии великого преобразователя Олсона говорили сами за себя. Как говорят американцы, «у человека с такой внешностью я бы не купил подержанный автомобиль». Интересно, что та же статья «Доход или гибель» ответила и на мое недоумение по поводу вице-президента Анн Гедофф. Женщина с безупречной интеллектуальной репутацией тоже была уволена Олсоном. Редактор Дэн Менакер, к слову сказать, не был уволен.

Книжный бизнес в наше время чреват предательством. Капиталисты-глобалисты — я мог бы их также назвать карикатурными капиталистами — мало думают о репутации старого культурного института, больше всего они озабочены тем, как превратить книгу в бессмысленный торговый объект.

Чтобы закончить этот спич, я хочу сослаться еще на одну газету. Месяц назад «Вашингтон пост» напечатал любопытную политическую диаграмму. По высоте столбиков можно было увидеть, какие страны относятся к Соединенным Штатам положительно, а какие отри-

цательно. Результаты опросов оказались не очень-то утешительными. За исключением Великобритании, все страны оказались американофобами, пишет «Пост». Я стал сравнивать столбики и заметил, что газета допустила ошибку. Еще в одной стране американофилы выиграли у американофобов, правда с разницей всего в 3 очка. Это была Россия.

С чувством некоторого удовлетворения я подумал: «Все-таки, невзирая на все несуразности, я что-то привнес в этот рейтинг. Решающие 3 процента все-таки мои».

Перелистывая книги, я натолкнулся на стих 1990 года, в котором, пусть косвенно, пусть неотчетливо, но все-таки с некоторой пронзительностью, отразился Университет.

В ту весну я прилетел в Западный Берлин и обнаружил, что тот пропал вместе с Восточным. Вместо этих двух стоял один Берлин, у коего, похоже, крыша поехала от счастья. Я взял там «фиатик» и поехал в Варшаву, а оттуда в Прагу, потом в Будапешт, через все эти «бархатные», и даже липкие слегка от струй псевдошампанского, революции, в Белград, через головокружительный запах цветущих лип, который почему-то не улавливаешь в Америке, и наконец в Дубровник, где мне и встретились два наших студента.

ЗА ГОД ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ

За год до начала войны
Я зарулил в Дубровник,
Чьи граждане часто пьяны,
И всяк сам себе полковник.
Шикарный отель «Бельвью»

Спускался в лазурь Ядрана.
Подыгрывали соловью
Далматинские фонтаны.
Террасы, арки, углы...
Отель не по общей мерке.
Позднее его сожгли
Белградские канонерки.
За год до войны Балкан
Был сам себе не в обузу.
На башне стучал барабан,
Сзывал фестиваль в Рагузу.
Итало-славянский лицей
Все спорил о приоритете:
Кто там торговал сольюю,
А кто заседал в совете,
И где там бродил Роланд.
Тысячелетние враки
Разыгрывались в ролях,
Трепались в пивных на Плаке.
Тридцатилетним юнцом
Я был здесь когда-то впервые.
Теперь с постаревшим лицом
И щедрыми часевыми
В кармане холщовых брюк
Сажу в кафе знаменитом.
Профессор дутых наук.
Но с пластиковым кредитом.

К моему столу направляется пара, молодые американцы.
Кажется, что это просто рекламный трюк:
У нее походка, как примеры танца,
У него на плечи хоть взваливай сундук,
Щеки у гадов, что твои померанцы,
Зубы — хоть раскалывай окаменевший фундук.
Кажется, это мои студенты, ей я вроде поставил «Эй»,
А ему «Би-плас», но может быть наоборот.
Она рассказывала вроде про Достоевского «Чертей»,
А он как будто подзабыл, кто такой Филипп Рот.
Откуда такое добродушие
В стране, где так споро спускают курок?

От улыбок у обоих трещат заушины.
 Ну вот вам и реклама: ей грейпфрутовый сок!
 Welcome, welcome! Сиденья свободны!
 Присаживайтесь, ребята, ваш профессор не jetk!¹
 Они приземляются, два тигра голодных.
 Солнце опускается, но день еще не померк,
 Ренессансные ласточки кружат над шпилем,
 Открывают окно, и барокко Рагузы идет,
 как волна от борта.
 Кажется, с вами мы Достоевского «Чертей» проходили?
 Зубрили! Долбили!
 А с вами мы, кажется, подзабыли малость
 Филиппа Рта?
 Тра-та-та!
 Масса совпадений; множество узнаваний!
 Линда сияет, похохатывает Бретт.
 Если только не перепугали мы тут кузницу знаний.
 Похоже, ханни, что это все-таки не наш университет.
 Да и профессор, кажись, не очень-то нашенский.
 Не вполне совпадает, не цент в цент.
 Кажется, тут у нас, сэр, какая-то получается каша:
 У нашего литератора был другой акцент.
 Какая-то смесь китайского, персидского и гишпанского,
 А может быть, даже он был француз.
 Ну, это не важно, давайте выпьем шампанского
 За наш американский учебный союз!
 Я думал: Линда оранжевощекая,
 Жаль, что мы не встретились тридцать лет назад.
 Теперь лишь ласточки пусть прощелкивают
 В твоих предательски-барочных глазах.
 У этого Бретта будет отменный футурум.
 Огромные возможности, сомнений нет.
 Большие накопления в мускулатуре.
 Он будущий лидер бизнеса, этот Бретт.
 Ну что ж, ребята, приятного аппетита!
 Фанкью за очертания ваших фанковых черт!
 А я отправляюсь походкой троглодита
 В Palatium Regiminis на камерный концерт.
 Линда хлоп-хлоп, как дитя непорочное:

¹ Сопляк (амер.).

Устроим сегодня на музыку большой набег!
Официант, заверните несъеденное — салат, кальмаров и прочее
В какой-нибудь невоюнученький «догги-бэг».

Проходим мимо стучащего и скрипящего диско.
Весьма мне известный подвал «Лабиринт».
Четверть века назад я тут кадрил одну одалиску,
За что и был местной сволочью подло бит.
Бретт изумленно плянется на клоаку.
Позвольте, четверть века назад я еще не был рожден!
Что вас заставило четверть века назад ввязаться в драку?
Столь безрассудно, сэр, четверть века назад
полезть на рожон?
Что же тут удивительного, плечами пожала Линда.
Профессор был молод, он и сейчас не стар.
Бретт в этой логике от нее отставал солидно.
В закате плавился его загар.

В патио Регентского дворца «Сараевские виртуозы»
Раскачивают Баха заворачивающую качель.
В те дни они еще не носили в футлярах «Узи»,
Но только лишь скрипки аль там виолончель.
Над патио те же звезды висят, что и над Одиссеем
Висели, когда по волнам тот бежал,
промахнувшись, мимо

Итак.

Итак, все те же звезды свой свет рассеивают,
И луна все та же висит, как танк,
То есть в японском смысле, то есть неграмотно,
Танки, ради рифмы, вползают в пейзаж,
Ну а небо втискивается в раму ту,
Что плетут «Виртуозы Сараево», впадая в раж.
Как обычно в начале камерного концерта,
Публика думает рассеянно о пустяках:
О расходах, доходах, о жизни и смерти,
Делая вид, что витает, как истая меломания, в мечтах.
Но вот незаметно джентльмены и леди,
И партийные товарищи уплывают в тот край,
К той, рожденной от Леды и Лебеда,

Будто видит весь мир в опрокинутом сне,
Будто хочет спросить у Зевесова пальца:
Почему сей удар предназначен был именно мне?
Вот такая случилась история среди льющейся футу
Под аркадами и башнями Рагузы за год
до славянской резни.
Все всегда возвращается восвояси, на круги,
Средь лиловых цветов и холстин пресвятой белизны.

В «Бельвью», не предвидя войны,
Танцует цветущая Линда
В ламбадной ораве шпаны
С партнером, веселым и длинным.
Платоновский Демиург
Над ним поработал неплохо:
Во-первых, он нейрохирург,
А в-третьих, гуляка из Сохо.
Увы, он вздыхает, наш Бретт
Отправлен на Запад лечиться.
Ответов по-прежнему нет,
А жизнь, как положено, мчится.
Средь множества аневризм
Есть времени аневризма.
Увидишь ее, не соври,
Не выдумай афоризма.
Так юный твердил философ.
На Север крутили колеса.
Символики колесо
Пытался разъяснить философ.

В Дубровнике на часах,
Быть может, осталась примета,
Но вскоре война началась,
И все позабыли про Бретта.

лин и Берлин. В этом случае надо иметь в виду, что читатель вступает с такой Америкой в особые не-познавательные, а сутобо творческие отношения, поддерживает не объективный, но резко-эмоциональный, либо глубинно-психологический контакт.

Такая Америка может внезапно появиться, как мгновенная вспышка, среди своего полного отсутствия. Так случилось, например, у Достоевского в «Бесах», когда Кириллов ни с того ни с сего вдруг вспомнил Америку, где он бывал. Он ехал там в омнибусе, когда сосед-американец вынул у него из кармана волосяную щетку и причесался. Такие мгновенные световые пятна могут больше сказать, чем многостраничные описания.

В романе «Бумажный пейзаж» у меня Америка играет роль финала. Одиннадцать больших глав расширяют или сужают романский мир советской Москвы 70-х годов, в котором, несмотря на тоталитарную дисциплину, все качается на грани анархии. В свою очередь, Москва создает метафору романа. Карнавальность этой метафоры почти полностью опровергает ее реалистические составляющие. Повествование, идущее в манере «сказа» от лица главного героя-простака, молодого инженера Велосипедова, вводит читателя в абсурдистский мир романной Москвы. Своего рода быстро меняющиеся декорации. Все заняты: играют и тащат задники.

В последней, 12-й главе хронотоп резко сдвигается: декорации Москвы рухнули, на их месте начинают громоздиться небоскребы Манхэттена, возникает московский роман-миф с американским финалом, подобный лубку о медведе с петушиным хвостом.

Велосипедов отсидел 10 лет в Потьме. Изгнан в Америку; в какую, точно не знаю, то ли в свою собственную, то ли в мою, романную. Вообще, не совсем

понятно: приехал ли Велосипедов в Америку, или все еще в Потьме загорает, бредит: ведь соседом-то по бараку у него американский шпион, который много рассказывает про Америку.

...Ну, вот вам Манхэттен. Как это так получилось, что на небольшом острове скопилось товарного брутто и нетто больше, чем на всем пространстве России и Китая?

Я купил себе ковбойские сапоги на высоком каблучке, кожаную куртку, кожаную кепку и джинсы, о, джинсы. Посмотрел на свое отражение в стекле витрины на Пятой Авеню и не удержался от вздоха. Компенсация за все, можно умирать, компенсация получена.

Валюша Стюрин, который делал со мной эти покупки, аккуратно собрал все магазинные квитанции, передал мне и сказал:

— Все реситки собирай, пригодятся, когда будешь делать инкамтекскритерн, — такую он произнес загадочную фразу.

Вот кому я особенно благодарен за первые шаги на американской земле — Валентину Исаевичу Стюарту. Хоть и моложе меня на восемь лет, а относился, как отец.

— Вообще, Велосипедов... — сказал он.

— А можно просто Игорь? — мягко спросил я.

— Можно, Игорь Иванович. Вот если ты воображаешь, Гоша, что вырвался из бумажного царства, спешу тебя разочаровать, ты попал в другое, блябду. Каждое утро я выбрасываю целую корзину бумажного хлама, того, что здесь называют «джанк-мэйл».

За эти годы московский этот бездельник стал сказочно богат, а началось все, разумеется, с пары икон из их родовой приусадебной часовни, с нескольких фамиль-

ных портретов. Для начала капитала Валуше Стюарту пришлось даже пожертвовать портретом того самого капитана Амбураза де Стюрен, который основал псковскую ветвь династии. Вот вам еще одна ирония судьбы — портрет капитана рисовался за пару талеров в литовской корчме голодным бродягой, а здесь, в Нью-Йорке эксперты опознали кисть Гуго ван Плюса, талантливейшего ученика из школы Рембрандта, вот кем оказался бродяга.

Вот с этого все и началось, а превратилось сейчас в миллионный бизнес по продаже русских вилок, тарелок, хрусталя, серебра, фабержейских художественных яиц.

Я сначала по наивности не понял, как сказочно богат наш Валуша. Из аэропорта они меня везли на довольно старой автомашине с потертыми сиденьями, а оказалось-то, что едем на «Серебряной Тени» образца 1936 года, а такую машину не всякий сенатор может себе позволить, а только такой, кто женат на кинозвезде или имеет семейные сбережения, как здесь говорят, «старые деньги».

Помнится, ехали мы, шутили, такое было чудесное опьянение пред въездом в Нью-Йорк, пели что-то из прежней жизни, комсомольское...

Едем мы, друзья,
В дальние края!
Станем эмигрантами и ты, и я!

Вот уж не думал, что с настоящим американским миллионером еду С капиталистом!

Мама, не скучай,
Слез не проливай,

В Кливленд поскорее с дядей Мишей приезжай!
Едем мы, друзья... и т.д.

...Я снял себе квартиру поближе к русским местам, в Куинсе. Квартира однобедренная, что на наш масштаб вроде как двухкомнатная. Она пожирает половину моего дохода, но на вторую половину можно жить, нередко посиживая на своем порче с пивком и хорошей сигарой, позволяю себе такие слабости.

Однажды появляются — привет, товарищи, давно не виделись! — двое аккуратных, ну, явно из органов, или из наших или из местных: галстучки, атташе-кейсы, проборчики через головы, два таких Женьки Гжатских.

Обращаются ко мне:

— Brother are you aware that the ship is sinking?

Оказалось, что это «Свидетели Иеговы» Марк и Франк. Я их пригласил в дом, выставил ботл «Перцовой», закуску, просидели допоздна, философствуя об откровениях Иеговы и нашем, увы, и вправду тонущем корабле.

— Thank you very much Igor, for the vodka, beer, bread, sausage, cheese and cucumbers, — сказали они на прощание. Это, между прочим, у многих американцев такая манера, перечисляют на прощание все, чем их угощали. — You are an interesting man. People used to know nothing about sinking ships and kicked us out right away.

В другой раз пришел юнец в широкополой шляпе, с шарфом через плечо, ни дать ни взять свободный художник, а как раз и оказался агентом Эф Би Ай.

— Would you mind, Mr. Velocity, signing a particular paper, confirming the absence of any connection with the

Soviet intelligence service your connection, — он извлек из-за пазухи длиннейшую бумагу с мелким шрифтом, вздохнул по поводу засилия бюрократии, отыскал в этой бумаге укромное местечко и показал, — right here cross «yes» рг «no» and sign here. Thank you so much, Mr. Velocity, I really appreciate your cooperation very much. You are welcome in America.

Затем уехал, на чем приехал, то есть, как ни странно, на велосипеде.

И вот с каждым днем я становлюсь все американстей: уже имеется у меня соушэл секьюрити намбер (прошу не волноваться, никакого отношения к госбезопасности), уже я член клуба Трипл Эй, уже застраховался по групповому плану в Блу Кросс энд Блу Шилд, книжки получаю из Бук-офси-Монс, счет открыл в Кэмикл Бэнк, там же и Индивидуал Ритайермент Аккаунт, надо думать о старости — все это хозяйство американской жизни обрушивает на меня каждую неделю столько бумаги, сколько в Советском Союзе и за месяц не наберется.

Философ-социолог Яша Протуберанц объясняет мне все это дело, пока мы с ним отдыхаем в итальянском баре на 34-й улице:

— Русская бюрократия, мой дорогой Велосипедов, стара, тяжела, мучима скрытым комплексом вины. В своем советском качестве она дошла уже почти до полного издыхания. Американская бюрократия молодая, вооружена компьютерами, в полном самовосторге продуцирует свои бумажные горы. К счастью, здесь пока что (подчеркиваю — пока что) не поощряют идеологический донос, однако русско-советский донос все же

пишется не машиной, а рукой, он все же соединен с пусть ужасной, но человеческой личностью. Вообразите себе электронного доносчика, дорогой Велосипедов. Если здесь когда-нибудь победит социализм, всем нам, всему гуманитарному человечеству тогда — шиздец!

— Надеюсь, вы преувеличиваете, Яша, — сказал я.

— Надеюсь, не преуменьшаю, — симпатично улыбнулся старый московский «властитель дум».

Он работает таксистом на здоровенном желтом «чеккере» и неплохо зарабатывает, во всяком случае достаточно, чтобы выпускать каждый год здоровенные книги, гвоздить в них марксизм, наводить панику среди профессоров «Плющевой Лиги».

— Профессора эти, асшолы паршивые, сраки! — разоряется Яков Израилевич. — Шита куски, хода мне не дают!

Как-то засиделись с прежними друзьями в богатом доме. Хозяин дома Саня Пешко-Пешковский подкатывает к нам столик с дринками.

— Пора уже и вздрогнуть за встречу, мальчики! Гоша, тебе чего?

— Сделай мне «водкатины», Саня.

— А мне плесни-ка «Белой Лошади», — попросил Калашников. — Только стрейт, я пью только стрейт!

Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись друг другу не без грусти, после чего хватанули по стакану крепкого.

— Вот ты видишь «сюрпризы», — проговорил Саша Калашников, закусывая мануфактурой, то есть вытирая губы рукавом, — а главный-то сюрприз ждет тебя за дверью.

Меня прямо оторопь взяла.

— За дверью? Возможно ли, Сашок? Вот прямо там, за этой дверью?

— Открой, — с улыбкой предложил он.

За дверью, руки в карманах отличного серого костюма, жуя чуингам и притворно хмурясь, стоял, конечно, майор московской милиции Орландо. Увидев меня, он выплюнул резинку и поиграл немного на воображаемом тромбоне.

...И вот мы все в сборе, вся наша компания, семеро московских ребят, сидим вокруг телевизора и пьем семь упаковок пива. Вот как все происходит в жизни, литературная композиция отсутствует, не говоря уже о логических построениях. Говорят, что именно на четком понимании отсутствия логики сделал свою карьеру генсек Брежнев, наш Леонид Ильич. Наверное, врут.

Итак, все вместе, как в прошлые времена. Есть решение провести весь день по-московски, но, конечно, каждый сомневается, удастся ли возродить тот волшебный дух московской партизанщины, вечной охоты то за пивом, то за запчастями, то за девчонками.

В общем, присутствует отсутствие, гош, недоступности, и это как-то всех сковывает.

Мы собираемся ехать на «Янки-Стэдион», но там, конечно, отсутствуют советские «бичи». Конечно, там свои американские «бичи» присутствуют, но уж очень мало напоминающие вышеупомянутых, а если и попадется персона, похожая на московского «бича», то цвет кожи никогда не совпадает, обязательно блэк.

Или взять тех же девушек. В Москве всегда о них мысли появляются после футбола, ну и начинается так называемая кадрейка, которая чаще всего завершается нехорошим, но уж если удача, тогда — восторг!

А здесь кадры стоят толпой на 42-й улице, только и покрикивают «комон, хани, вонна дэйт?». Несклько все от этого тускнеет.

Что происходит тем временем на телевизоре? Встречаются двое, красивых и молодых, в естественном порыве бросаются друг к другу. Вдруг она с отвращением отворачивается: у вас изо рта воняет, мой дорогой. Не приходите ко мне без таблеток «Брис сэйверс»! Затем рекламируется китайщина в банках: трай чанг хи фор а бьютифул бади.. Потом появляются сифуд-лаверы, с аппетитом кушают крабьи лапы и других приглашают — заходите, а зайти есть куда.

— Эх, американцы-тараканы... — снисходительно улыбается Боря Морозко, бывший московский сионист

Вот кто замечательно изменился: длиннейшие пушистые бакенбарды делают его похожим на британца периода расцвета Империи, движения стали исполненными значения, рука, направляющаяся, например, за ухо с определенной незначительной целью, привлекает всеобщее внимание, снисходительная улыбка — его трейд-марк, освещенный ею, он поднимается все выше в своих компьютерных исследованиях, в оценке кризисных ситуаций мировой жизни; потому и в Америку вместо Израиля приехал, чтобы лучше помочь человечеству. К американцам Боря относится как к неразумным детям.

— Благодаря этим сифуд-лаверам нас скоро, как креветку, проглотит коммунизм, — предрекает он. — Можете уже представить себя под томатным соусом пролетарской революции. Вообразите, господа, я приезжаю с лекцией в Вашингтон в Центр передовых стратегических исследований имени Теодора Рузвельта и что же — они там все стоят со стаканчиками шерри

и языки чешут. Оказывается, у них два раза в неделю в рабочее время (!) шерри парти! Меня прямо отороπή взяла — они погибли!

— Ты что же, Боря, предлагаешь? — осведомляется Густавчик. — Чтобы они вместо киряния шерри постоянно чистили оружие?

— Да! — завопил тут прежде такой собранный Борис Рувимович. — Да! Да! Да! Они должны постоянно чистить оружие, потому что там постоянно чистят оружие!

— Балони, — возражает майор Орландо и поправляет у себя под мышкой пистолет, — у нас на Западе порядочно людей, специалистов по оружию.

— Мало! — ярится Морозко.

Теперь пришла уже очередь Густаво снисходительно улыбаться.

— Куалититат нон куантитат, сечешь, Боря, — улыбаясь, говорит он. — Нас мало, но мы в тельняшках!

Вдруг на экране на пару мгновений из вороха рекламы выскакивает, вернее, выплывает брюхатый питчер Фернандо Валенсуэла и гудящий вокруг «Янки-Стадион». Оказывается, матч уже идет, а мы все куда не едем, а только лишь сидим в креслах с отклоняющимися спинками, сидим со своим пивом, сидим, сидим и куда катастрофически не едем.

— Так все-таки нельзя, мальчики, — сказал Спартак. — Давайте присоединимся к какому-нибудь кантри-клубу, будем брать гольф, ю гет ит?

Снова замелькало, замелькало, замелькало — геморройные свечи, кремы для вечной молодости, пилюли от запора, собачья еда, однокалорийные напитки — как вдруг выскочила на экран целая команда спикеров со свежими новостями.

Разрядка снова набирает ход! Первая за долгий срок делегация советских писателей в Нью-Йорке!

И вот мы видим холл отеля «Нью-Йорк Шератон» и всю гоп-компанию в мягких креслах, шестеро мужчин и одна женщина.

Тьфу, тьфу, тьфу, протираю глаза — вся делегация составлена из знакомых, Женя Гжатский сидит, Опекун Михаил Халыч, который за мной в глазок подсматривал, от слова одеяло идеолог Альфред Феляев и Олег Чудаков, общеизвестный дизайнер, пара также советских классиков Бочкин и Чайкин и... о, боги Олимпа! — она! — моя мифическая Ханук!

— Эте, вот так рожи, — таково общее мнение.

— Одного узнаю, — говорит Спартачок. — Вот этот меня допрашивал.

— А меня вот этот допрашивал, — говорит Яков Израилевич.

— Что касается меня, — говорит Саша Калашников, — то у меня, увы, нет опыта борьбы за права человека. Я просто спал вот с этой дамой.

И он потупился с притворной стыдливостью.

— Я тоже с ней спал! — чуть не вскричал я, но сдержался. Бессонные были, почти фронтовые ночи!

— Как, Сашка, ты спал с Ханушкой?! — вскричал тут, не сдержавшись, Саня Пешко-Пешковский.

— Ханук, Ханук, — вздохнул Протуберанц. — В пятидесятые годы, впрочем, ее звали Дэльвара, она пела в Театре «Ромэн»...

— А вот этого пропойцу, — сказал майор Орландо, направляя палец в соответствующий угол экрана, — я готов опознать под присягой, нередкий был гость в вытрезвителе номер полста, однако, к его чести надо сказать, утром всегда первым делом требовал

свою лауреатскую медаль и в целом был вежлив, сохранял кое-как человеческое достоинство. Чего не скажешь про товарища Феляева, — палец майора чуть-чуть переместился на экране. — Этого один раз забрали спящим под памятником академику Тимирязеву, так потом говна нахлебались, ю кан нот ивэн имэджин, джентльмены, едва все наше подразделение не расформировали за террор против правящего класса.

— А вот этих хмырей не знаю, — Спартачок ткнул двумя пальцами в классиков Бочкина и Чайкина.

— Наверное, искусствоведы в штатском, — предположил Калашников.

— Не надо пальцами в них, Спартачок, — попросил Саня П-П. — Мы их еще в школе проходили, это же «певцы окопной правды».

— У Чайкина я комнату на даче снимал, когда писал кандидатскую диссертацию, — элегически припомнил Борис Морозко.

Кажется, всем стало грустно. Не лучших посланцев опять выбрала Россия для поездки в Америку, а все-таки и это ведь наши люди, в том смысле, в том смысле, что когда-то недавно мы ведь вместе населяли эту, как недавно поэтишко один советский писал в «Комсомольском Честном Слове», — для кого территория, а для меня родина, сукин ты сын... вот именно эту родину-территорию, сукин ты сын.

Глава делегации, в частности, сказал... Джи, а глава делегации не генерал Опекун и не секретарь Феляев, а оказывается, Женька Гжатский-повориик, вот как товарищ преуспел! Я даже заволновался за знакомого человека, сейчас в лужу бздернет...

Ничуть не бывало. Женька с задачей справился, заговорил на хорошем писательском жаргоне, с мэка-

нъем-бэканьем, закатывая малость глаза и оскаливаясь на манер Евтушенко.

— Где-то по большому счету мы все дети одной планеты, господа, однако мы, советские писатели, не верим в Апокалипсисис ядерной войны.

Совсем неплохо получалось, и мало кто заметил лишнее «си» в вышеназванном слове, а для американцев в принципе это не имело значения, потому что их вариант вообще идет без всяких «си», то есть Женька Гжатский спокойно прохилял за грамотного.

Затем советские писатели пропали и начался рассказ о подготовке к маскараду Хэллоуин, который продолжался тоже недолго, и снова замелькали геморроидные свечи, таблетки дристан, слипиз, шины «Мишлен», кофе-санка, мелькнул среди этого добра и президент Мубарак.. Кто-то из нас выключил ящик, и воцарилось молчание.

...И я устремился в паническое бегство.

Гнался ли кто-нибудь за мной, не поручусь, но я бежал, бежал, бежал. Не знаю, страх ли меня подгонял, или древняя воля к бегству, или просто ноги мои, на старости лет осознавшие свою прыть, ведь все-таки недаром же некогда в пустоватой богобоязненной валдайской земле некий служка записан был Велосипедовым, видно, служил он своими ногами неплохую службу своему Богу, истории и непокоренной в те времена русской церкви.

Так я домчался до 42-й улицы и на южной ее стороне увидел другого бегущего. Вдоль подмигивающих огоньков порношопов и киношек «для взрослых» несся, как страус, белый юнец-провинциал. Он был без штанов и без обуви, однако в носках и бейсбольной шапке.

За ним валила толпа мировых подонков, нелучшие представители всех человеческих рас — выпученные в жутчайшей радости глаза, обезображенные хохотом пасти, преобладали поджарые и мосластые, но были и жирные, с вываливающимися из лифчиков титьками и мотающимися животами.

Толпа накатывала на мальчика, швыряя ему в спину банки из-под пива...

...WE WANNA GET HIM-NIM-NIM!

над нею неслись, словно знамя, стащенные с мальчика джинсы, она накатывала, уже готовая его поглотить, но он из последних сил высоко задираал ноги, в остекленелом ужасе все еще вытягивал, вытягивал, не давая себя пожрать, хотя, быть может, ничего особенного и не случилось бы, отдайся он этой толпе, ничего особенного, кроме издевательства над его половыми органами и задним проходом.

Я перелетел через улицу и помчался рядом с юнцом. Толпа позади взревела еще сильнее от удвоенной радости: она сразу поняла, что я не преследую деревенщину, что я, возможно, и сам такой же деревенский юнец, во всяком случае, я — дичь, а не охотник.

— Strip the pants off him! Let's get his balls! We wanna chew his balls!

Я мог бы мчаться быстрее, я — Быстроногов, но тогда отстал бы мой друг, юный мистер Гопкинс из штата Мэйн, и они бы его взяли одного, и поэтому я тормозил.

Чья-то жадная южно-океанская рука между тем влезала мне в штаны, захватила, рванула, располосовала пополам, штанины упали, я едва успел выскочить из них, чтобы нестись дальше уже голыми ногами.

— That's fun! — изнемогала толпа. К счастью, восторг снижал ее скорость.

На углу Сорок Второй и Пятой я решил рвануть вправо, чтобы увлечь их за собой и дать пацану скрыться. Увы, за спиной моей послышался его пронзительный крик. Оглянувшись, я увидел, что он падает на колени перед налетающим траффиком. Тут же кто-то хапнул меня, на этот раз уже за трусы, но я снова успел оттянуться и рванул дальше. Нечто увесистое угодило мне в спину, между лопатками. Пронеслись мимо приветливые огни Нью-йоркской Публичной Библиотеки. Сколько там мудрости скоплено! Этот город вовсе не молод. Страна молода, но город стар, недаром здесь все пахнет сладковатой гнилью.

Я уверен, что быстрые ноги спасающегося существа в конце концов вынесут его в чистые пшеничные поля Среднего Запада, к коричневым, словно желуди, каменным лбам Юты, то есть на просторы американского здравого смысла. Если, конечно, это существо не споткнется о какое-нибудь лежащее тело.

Я споткнулся о спящего на асфальте араба и пролетел вперед лицом — вниз и в ужасе понял, что позора мне не избежать, а в этом возрасте позора уже и не пережить.

Вскочив, я рванул на себя стеклянную дверь с надписью TOYS и упал внутрь маленькой лавки.

Хозяин, сидевший за кассой, тут же выхватил пистолет и направил — вот чудо! — не на меня, а на дверь. Мои преследователи замерли на пороге. Дверь закрылась, упала штора.

Хозяин был китаец, японец или филиппинец, а может быть, беглый вьетнамский белогвардеец. Мы улыбнулись друг другу.

Сверху свисали огромные резиновые и плюшевые игрушки, а также гирлянды масок к здешнему празд-

нику Хэллоуин. Я выбрал одну маску, весьма отвратительную, нечто вроде нашей бабы-яги, но с большущими висящими усами, надел ее на лицо и поклонился хозяину. Тот поклонился мне в ответ: есть такие люди, с которыми можно без лишних слов обойтись.

Затем я вышел на улицу. Мои преследователи еще не успели разойтись. Они возбужденными горящими глазами смотрели на меня, люди нью-йоркского этноса, любители фана и кайфа.

— Is it he? — спросил один.

— No, that man was younger, without a mustache, — сказал другой.

— Gee, this one isn't wearing pants either, — сказал третий.

— This man is masked, — сказал четвертый.

— That man was not masked, — сказал пятый.

— Where is he, that funny one? — спросил шестой.

— Gone, — сказал седьмой.

И все вдруг разошлись.

Я шел по Пятой Авеню и отражался в витринах. Никто в толпе не обращал на меня внимания. Маска, конечно, была отталкивающей, но в толпе попадались лица и похуже. Что касается штанов, то в их отсутствии вообще не было ничего предосудительного. Ведь не за то гнали рыжего простака Гопкинса, что был он без штанов, штаны-то с него сами стащили, а за то, что был не готов к жизни.

Я дошел до Юнион Сквера и там присел на краешек заплеванной лавки. На ней ужинали два черных бича. Они оставили мне почти полный пакетик френч фрайз и полтюбика кетчупа. Я ел и думал: почему моя родина обошлась со мной столь жестоко, почему так

свинопас был прокурор, что же Брежнев-то, выходит, писем не читает?

Над площадью доминировал старинный небоскреб «Утюг». Ну и эстетика! Деятнадцатый век здесь, в Америке, был, кажется, отчасти безобразен, а с началом двадцатого, увы, вообще полный провал. Вдруг до меня дошло — вот чего мне здесь не хватает, в Америке, начала двадцатого века, того самого позднего предкатастрофного Петербурга... Странно, вроде бы на фиг русским все эти модерны, ведь мы все не-европейцы, а вот когда в Америке оказываешься — не хватает...

Вдруг женское лицо бросилось мне в глаза, голубое и зеленое. Это было Фенькино лицо. Оно бросалось мне в глаза, но на меня не смотрело. Плоское лицо с афишной тумбы не взидало ни на кого и ни на что, да и вообще глаза у него были слепыми, как у античных бюстов. Вдруг в затихающем объеме Юнион Сквера увидел я множество этих лиц на разных расстояниях и в разных плоскостях. Словно соединенные невидимыми нитями кристалла светились повсюду желто-зеленые пятна. Тут я вдруг заметил, что я и ем-то на этом лице, потому что те два щедрых бича как раз и ужинали на сорванном плакате с ее лицом и с уцелевшими буквами EXHIBIT...

Почувствовав жжение в спине, я обернулся и увидел за садовой решеткой слегка скособоченный роллсройс «Серебряная Тень», передняя левая — флэт, подозрительный дымок из радиатора. На подножке машины сидела Фенька и плакала навзрыд. Лица не было видно, оно уткнулось в подол бального платья, я узнал ее голые плечи, они тряслись от рыданий. Желтая муха была нарисована на одном ее, все еще девчо-

ночью плече, зеленая на другом, таком же. Повторяю, хотя не знаю, кому нужен этот повтор, оба плеча содрогались. Я перелез через решетку и подошел к ней.

— Велосипедов, — пробормотала она, — я узнала твои ноги.

— Что ты так плачешь, Фенька, что стоят твои слезы, зачем ты сердце-то мне разрываешь?

— Он умер, — захлебывалась она в соплях. — Свадил чувак... с концами...

— Кто умер, Фенька?

— Он, геморрой проклятый, мой мастер Гвоздев, уродина, жаба, сталинский жополиз, хрущовский жополиз, брежневский жополиз, ничтожество, трус, стукач.. Я никого из вас не любила, только его. Мне еще шестнадцати не было, а он меня на пол повалил и сломал мне там все. С тех пор всегда... вот вижу его дом.. выхожу на Маяковке и мимо киосочка «Ремонт ключей», мимо «Табака», а на другой стороне журнал «Юность»... помнишь это место?.. там почему-то все всегда друг на друга наталкивались... его дом, красно-мраморный цоколь, две арки, ветер свистит, и все волосики у меня подымаются... Я плевала в его картины, а он закрашивал плевки... сколько вокруг Ленинских рож! Он рисовал его *для души*, это, мой милый Велосипедов, были порывы вдохновения... У каждого человека должно быть что-то святое, так поучал он меня, а у тебя, Фенька, нет ничего святого... Ленин был его святыней... А Христос? спрашивала я. Христос — это мода, отвечал он. Видишь, Велосипедов, какое вымирает поколение. Христос — это мода, Ленин — святыня! Вот видишь, какая нынче советчина вымирает! Жадная гадина, он никогда мне не дал ни рубля, он подарил мне однажды коробку с кусочками печенья и отгрыз-

ками конфет, развратная и грязная тварь, подсовывал своей жене в любимчики... Фенечка — головокружительный талантлик... Да ведь и старым-то совсем не был... ой-ой-ой... ни одного седого волоса и глазки карие похабненькие... ой, мамочки, не могу... ой, геморрой проклятый, зачем ты сдох?.. А если бы ты знал, Велосипедов, как он живопись любил, как он торчал на голубом и зеленом, хотя красным столько мазал... служил своей распухшей революцией...

Она вдруг взревела, что называется, белугой на всю Ивановскую, то есть Юнион Сквер, замкнутый аляповатыми небоскребами той поры, когда не появилась еще на свет американская эстетика. Горизонт по нелепости приближался к Москве. Она выла:

— Ой, Велосипедов, все улетает... смотри, все втягивается в воронку, заворачивается, исчезает... Уже и Гвоздя нет... Уходит, линяет Советский Союз, он, Велосипедов, время его прошло... Не могу! Не верю!

Она затихла, когда я стал целовать ее в щеки и уши. Пальцы ее пролезли в глазницы моей маски, касались мокрых мест, то есть глаз. Я сжимал ее плечи, мы держали друг друга, как малолетние брат и сестра. Смыкалось ли над нами пространство Нью-Йорка или необозримо простиралось? Мы были и на дне вулкана и на пике горы. По краю небес шли чередой отблески огня и мрака.

January—June 1982

The Flag Tower of the Smithsonian Building

Washington, D.C.

В одной из книг Джона Апдайка есть эпизод игры в гольф. Без сомнения, такие эпизоды есть и в других книгах Апдайка, но в той, о которой идет речь

(не помню названия), есть нечто, что заставляет об этом говорить особо.

Над полем для гольфа в тот день с одной стороны жарит солнце, с другой — висит большая черно-лиловая туча. Герой производит начальный удар по мячику, свинг, когда мячик (или шарик) уходит чуть ли не в зенит. Герой провожает взглядом этот маленький белый предмет и видит, что на фоне тучи тот становится особенно белым; вообще, все становится особенно отчетливым перед грозой. Вдруг героя (разумеется, alter ego г-на Апдайка) посещает мысль (или чувство), что, достигнув высшей точки своей параболы, шарик может умереть.

На уроках по литературному мастерству мы приводим этот кусок как пример epiphany, то есть «эпифании». Это слово пришло в литературу из религии. Начертанное с заглавной буквы, оно означает Божоявление. В литературе оно означает что-то вроде «оживление неживленного», или «одухотворение неодухотворенного»; в данном случае пустой пластиковый шарик внезапно на миг становится живой и склонной к смерти частичкой автора.

Эпифания близка к основному приему в литературной теории В.Б. Шкловского, к «остранению». Бытовой человек в ходе быта пропускает через свое сознание поток заранее названных, бытовых и не особенно интересных предметов. В литературе иные из этих предметов (неважно, малые или большие) могут внезапно «заиграть», предстать в неопознанном странном (неокантианском) виде, то есть с одного угла непознаваемые, а с другого ошеломляющие неким «эпифаническим» смыслом, сродни вещному и бытийному миру во взгляде Адама.

Вот так же, по идее, предстает «американственность», то есть Америка как метафора, или часть метафоры; вроде бы та же страна, но и не та. Боюсь, что у многих читателей, которые обеспечивают «спрос», и особенно у читателей английского перевода, такие «сдвиги» могут вызвать раздражение. Гоголь как-то сказал, что основной читатель вовсе не ищет новизны. В повести ему хочется найти разговор на хорошо знакомые темы. Увы, за долгие годы потрафлять такому читателю мы не научились.

Чтобы закончить эту главу об «американственности», хочется показать отрывок из другого романа, «Скажи изюм». Здесь мы видим мятежного советского фотографа Ого в Нью-Йорке, где, как говорит ему старый друг-эмигрант, «совсем не так понимают фотографию, как в России».

Нынче веселей местечка в Нью-Йорке, пожалуй, не найдешь, чем Сохо, — написал автор и подумал в этом месте о щедрости и толерантности русского языка. Возьмите словечко «пожалуй» и ставьте по собственному желанию перед любым словом вышеприведенной фразы или после любого. Пожалуй, нынче... Нынче, пожалуй... А извивы нашего сослагательного наклонения! В мире вряд ли найдется птица, которая долетит до середины! Поистине к знаменитому своему акрониму ВМПС (великий, могучий, правдивый, свободный) русский может в скобках прибавить ЩТ, то есть щедрый и толерантный. Диву даешься, как может этот веселый, расхлябанный, бродячий (ВРБ) язык сочетаться со свирепой властью, которая даже фотографию гнет на свой манер, не дает даже выпустить независимый от нее фотоальбомчик, превращая таким образом наше

повествование из камерной повести в подобие шпионского романа.

Итак, в Сохо! Мрачнейшие улицы, почерневшие от бесчисленных пожаров фасады домов. Железные лестницы на этих фасадах, призванные спасать обитателей от огня, явно никого никогда не спасали, но зато создали отличное ощущение ловушки. Они соседствуют с облупившимися колоннами стиля «пришей кобыле хвост», вкус скоробогачей восьмидесятых годов прошлого века. Добавьте к этой картине переполненные мусорные баки, разрытые улицы, вонь.

Теперь осветим, как говорят в СССР, «все это хозяйство» блудливой улыбкой богемы, переселяющейся сюда, в эти самые бывшие складские «лофты», быстро вздуем цены на эти еще вчера бросовые пещеры, откроем там новые галереи и кафе, нашарашим полдюжины статей в «Вилледж войс», и тогда можно будет здесь по вечерам увидеть качающиеся на ухабах «роллсройсы», и телефонизированные лимузины, и бледных девушек с ярчайшими ртами и мелкими кудряшками а-ля «Серебряный век», и далее everybody who's somebody, то есть непростую публику.

Пока искали нужный дом, несколько раз спрашивали дорогу у прохожих и всякий раз получали ответ с сильнейшим русским акцентом. Ого однажды даже показалось, что один ленинградец знакомый ответил. Выглянул с заднего сиденья лимузина, где полный холодно-го достоинства беседовал с мисс Янг, — и впрямь Сашка Панков со своей большой глупой собакой, с которой он, казалось, еще вчера прогуливался по Литейному.

Вот, наконец, увидели электрическую вывеску из лампочек на старинный манер: BRUCE POLLACK ART GALLERY, NEW YORK, PARIS, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Разбитое стекло парадной двери было частично прикрыто фанерой с надписями на трех языках «добро пожаловать». Какая-то густая жижа вытекала из торчащего хвостика канализационной трубы на так называемый тротуар, которому не хватало, дожалуй, только пары миргородских свиней.

Внутри гостей встречало пуэрто-риканское чучело в белом парике, чулках и перчатках. Оно хрипело watch your step, что звучало как напутствие «ночью в степь».

Дом, недавно купленный конторой Поллака для осуществления каких-то наполеоновских художественных идей и, в частности, для монополизации русского искусства, был огромен и уродлив. Не все еще «лофты» были пущены в ход, но из поднимающегося в открытой шахте дребезжащего асансора на трех, по крайней мере, этажах можно было видеть вполне непринужденную художественную жизнь: бледные личики все с теми же кудряшками и красными губками, разномастные и разнокалиберные бороды, подсвеченные картины и скульптуры, цыганка с гитарой, кружок денди в белых галстуках и проходящего мимо голого человека с полугаллоном дешевой водки в руке; из-под волосатого брюха торчала пиписка.

«Ого, это ты, маэстро! Смотрите, свињи, это Ого!» Никто не обернулся.

Обняв обнаженного друга и антисвинью, неопознанный маэстро вышел в первый зал экспозиции. Попал куда надо! Это был зал Алика Конского. Обуялый восторгом народ плотной толпой созерцал античные мотивы мастера: из-за колонн и промеж олив мелькали то мордочка Урании, то пяточка Эвтерпы: увы, и то и другое напоминали черты лица пилота сталинской поры Марины Гризодубовой.

Ого выпростал из-за пазухи камеру и несколько раз прицелился на прощание в нью-йоркскую толпу с ее струйками дыма над бугристой поверхностью. Что будет, если окончательно запретят курение? Угаснут прежде всего вернисажи, только потом табачные компании. Прошел нализовавшийся и злой Ефим Четверкин. Ого, это правда, что мою двухкомнатную присоединил к своей трехкомнатной Клезмецов? Правда, Фима, правда. Больше тебя ничего не интересует? Нет, больше решительно ничего. В коридоре, на переходе от Конского к Раушенбергу, Ого буквально наткнулся на девушку Кашу, с которой спал лет десять назад в палатке археологов на кургане Тепсень в Крыму. Она как раз взасос целовалась с немолодым негром. Повернула к Ого дико расширенный глаз, но не узнала. Зато узнал славный патриарх Александр Спендер, окруженный счастливыми учениками. Сюда, сюда, талантливый русский! В жопу, в жопу, летом, летом! Горькая грусть охватила его. Хожу, как в бане, сквозь пар прошлого. В основном никто не узнает. В основном все думают: снова Диккенс приехал. Он все прикладывался к видеоискателю, но так ни разу и не нажал затвор.

IX

ИЗ НЕГАТИВА
(3 рассказа)

Следующие три рассказа (вернее, один отрывок и два рассказа) явились в эту книгу из «Негатива положительного героя». В каком-то смысле их можно считать образцами «американской кириллицы», хотя бы потому, что в них много американского реализма, «подлинной жизни» и обстоятельных деталей. В некотором смысле тут присутствует тот самый «гоголевский клуб» (члены его усаживаются в мягкие кресла, предстоит приятная беседа на хорошо известные темы), к которому сам Николай Васильевич присоединялся нечасто.

В принципе я должен был бы написать эти рассказы по-английски, уж вроде бы сам Бог велел, ибо рассказы о девушке Палмер возникли в самой настоящей американской глубинке, в городишке Страсбург (не путать со столицей Европы), расположенном на крайнем Западе штата Вирджиния, за коим простирается уж самая глубинная целина, штат Вэст Вирджиния со столицей Миргород (или как-то иначе). Что касается «Вокруг Дюпона», то в нем описываются совершенно реальные события, что случилось в Вашингтоне, когда среди бела дня пропал наш эмигрантский друг. Опытный, или, как Белый говорил, «творческий», читатель несомненно найдет и здесь иные вспышки «адамизма».

Так или иначе, приверженность к родному слогу оказалась сильнее здравого смысла.

ПЕРВЫЙ ОТРЫВ ПАЛМЕР (ОТРЫВОК)

Это была некая Кимберли Палмер из города Страсбург, штат Вирджиния, США, просим не путать со страбургским пирогом в центре Западной Европы. Ей было двадцать девять лет. По каким-то непонятным причинам всякое упоминание России вызывало у нее в детстве спазм мышц горла и набухание слезных желез. Эта странная эмоциональная реакция привела ее на русскую программу в Университете «Вандербилд», что в городе Нэшвил, Теннесси. Там она волновалась целый семестр, пока брала курсы по географии и истории России, ну а на курсе по Достоевскому совсем потеряла покой. Дошло до того, что однажды «руммэйтс», то есть сожители по студенческой квартире, сбежали в ее спальню, встревоженные рыданиями: это Палмер читала «Неточку Незванову» в переводе Эндрю Мак-Эндрю.

Быть бы ей отличной слависткой, если бы не пришлось прервать образования. Случилось так, что ее отец, мистер Палмер, очумев от бесконечной жизни в живописной долине Шэнандоа, выкинул антраша вполне в духе героев Достоевского. Не сказав ничего семейству, он перезаложил дом, забрал весь чистоган и свалил куда-то к чертям, может быть, даже в Лас-Вегас, в общем, с концами. Мать, миссис Палмер, рухнула под тяжестью ежемесячных процентов, младшие братья одичали, и Кимберли, едва ли не повторяя подвиг Сонечки Мармеладовой, запродавалась в банк «Перпечьюэл» и так

и засела там на годы в отделе автомобильных ссуд за цельностеклянным окном с витыми в старинном стиле буквами и с видом на перекресток города Страсбург: светофор, банк-конкурент «Ферст Вирджиния», аптека Макса и магазин гончарных изделий «Хеленс Поттери».

В банке она преуспела, то есть к двадцати семи годам стала завоём секции с окладом 32 000, что давало ей возможность даже и после выплаты процентов вести более-менее современный образ жизни. Все это время она продолжала считать себя студенткой престижного вуза, не забывала обновлять университетскую наклейку на своем «шевроле», а за мороженым у Макса нередко говорила Хелен: «У нас, в Вандербилде...» Два раза в неделю она ездила в Вудсток и там в гимнастическом зале плясала аэробические танцы. Естественно, все карманные издания русских классиков оказывались на ее полке, а ночами кочевали по ее подушкам. По утрам она пробегала три мили вокруг сонного Страсбурга, а иногда и вечером пробегала три мили, а иногда и среди ночи пробегала три мили, а иногда ей и вовсе не хотелось останавливаться, лишь бы не возвращаться в отдел автомобильных ссуд. Естественно, во время бега в ее «уокмэне» крутилась катушка с русскими фразами или с симфониями русских композиторов. «Эта Палмер вернулась в Теннесси совсем другим человеком», — говорили о ней земляки. Мужчины не решались предложить ей «дэйт», и правильно делали: никто из них не напоминал ей ни Печорина, ни Гурова. В своем литературном «целибате» она, между прочим, начала уже несколько подсыхать, несмотря на сильное воображение.

Лучше всех ее понимала Хелен Хоггенцоллер, хозяйка популярной местной лавки, торговавшей своего рода

гончарными достопримечательностями: горшками и вазами для ваших цветов, фигурами фламинго и сурков для ваших лужаек, ангелочками для ваших могил и вообще предметами хорошего вкуса, моя дорогая. Трехсотфунтовая Хелен в противовес тяжести своей плоти отличалась легкостью нрава, любознательностью и даже некоторой начитанностью. Свои сверхразмерные вещи она умудрялась носить с экстравагантностью, уж не говоря о том, что на груди у нее постоянно побрякивали керамические бусы, отражающие многовековую культуру шэнандоаского племени индейцев, называвших себя «Созерцателями Луны».

Пожалуй, только с Хелен наша героиня могла поговорить о страсти, о далекой стране, которую никаким компьютером не понять, никаким калькулятором не измерить, в которую можно только верить, верить... В момент сильного спазма, волнения груди, увлажнения глазных впадин Хоггенцоллер сжимала руку Палмер и говорила ей о том, что сержант Айзек Айзексон, заместитель шерифа из Форт-Ройял, опять спрашивал о ней и вздыхал, как какой-нибудь твой, мой медок, Пушкин.

Именно в «Хеленс Поттери» стал собираться женский клуб города Страсбурга, двенадцать или около того не худших представительниц этого основанного еще в восемнадцатом веке поселения с общим количеством душ, превышающим тысячу. По пятницам собирались среди керамики и бархатистых цветов понтесии, выставляли кто во что горазд — «браунис», или «дэниш», или домашние кукис с изюмом, или ведерочко пастасалата, а то и палочки сельдерея с морковкой в сопровождении густого, как вся местная традиция, соуса, нацеленного на погружение в него растительных предметов и приятного увлажнения процесса переже-

ывания. Если же разговор получался хороший, тогда, махнув на подсчет калорий, складывались по два доллара и посылали через дорогу к Максусу за сырным тортом. А разговоры нередко получались интересными, и заводилой почти всегда оказывалась Кимберли Палмер. Тетушки вздыхали, слушая ее рассказы о страданиях России, с удовольствием повторяли за ней интересные слова: «горбачев», «крэмлинь», «кэйджиби», «пэрэстройка». Особенно им нравилось слово «гласноуз», оно звучало превосходно, как прозрачная противоположность выражению «хардноуз», то есть темному догматизму и тупоносости.

Именно там, в «Хеленс Поттери», возникла идея присоединиться к мировым усилиям по оказанию гуманитарной помощи многострадальным россиянам. Давайте отправим им к Рождеству продовольственные посылки. Внесем нашу лепту. Подадим пример другим христианам, другим американцам, другим женщинам!

Начали собирать деньги, то есть, более принятым языком говоря, «поднимать фонды». Газета «Голубой хребет» сообщила о почине широкой публике. У витрины с горшками и вазами стали все чаще останавливаться машины. Кто давал доллар, а кто и два. Замше-рифа Айзек Айзексон пожертвовал тридцать баксов, то есть сумму, достаточную для покупки шести шестибаночных упаковок пива.

Эта удивительная деятельность так увлекла Палмер, что она теперь стала выбегать из дома не иначе как с широкой улыбкой на устах. Как вдруг произошла неприятная сенсация: вернулся дядя, то есть ее грешный папаша собственной персоной. Он выглядел теперь, как половина того замечательного, второго в графстве, катальщика шаров и продавца главного городского

предприятия «Антике Эмпориум». Извинившись перед семейством за причиненные неприятности, этот неопределенного возраста и странной легкости человек пояснил, что целью его приезда является не возобновление совместного проживания, а восстановление прав на бесплатное или почти бесплатное умирание в больнице штата. Спокойно, девочки и мальчики, без паники! По сути дела, он уже зарегистрировался в госпитале, а в старый дом завернул лишь за своей коллекцией бейсбольных карточек, чтобы перебирать ее в процессе умирания.

Кимберли была потрясена удивительными качествами этого почти неузнаваемого своего дяди и привязалась к нему на весь остаток его жизни, то есть на пятнадцать с чем-то дней. Папа страдал, но не переставал улыбаться в ожидании болеутоляющих. Фармакология погружала его в почти блаженное состояние. Он брал руку старшей дочери и продолжал улыбаться, то ли вспоминая что-то для себя совсем неплохое, то ли путешествуя уже в каких-то околоземных сферах. Умер он в превосходнейшем настроении, даже вроде бы насвистывая что-то из эпохи биг-бэндов.

Потрясенная Кимберли стала теперь пробегать уже не три мили зараз, а все шесть. Волочась за ней, витала над спящим Страсбургом Пятая симфония Чайковского. Ночные небеса, казалось, отражали счастливую улыбку отчалившего отца. Айзек Айзексон нередко сопровождал ее в своем патрульном автомобиле. Сдерживая слезы, он говорил ей о групповой терапии в области преодоления сексуальной сублимации, о планомерном увеличении будущей семьи, о балансировании бюджета.

Как-то раз под утро бегунью перехватила дружеская рука Хелен Хоггенцоллер. Оказалось, что «Поттери-

клуб» на последнем заседании решил выделить из своей среды представителя для сопровождения гуманитарной помощи в Москву. Этим представителем, конечно, оказалась Палмер. Можно ли после этого называть наше время воплощением меркантилизма?

В самом деле, окиньте взглядом арену мировых событий, и вы найдете там все что угодно: бандитизм, садомазохизм, романтическую жестокость, лицемерие и сострадание, огромное количество какого-то экзальтированного идиотизма, довольно веселое, хотя и вдребезги подлое мошенничество, но уж никак не проявление здравого смысла и сопряженного с ним меркантилизма. Люди какими-то миллионными кучами совершают безрассудные поступки, живут не по средствам государствами и в одиночку, они способны за три дня разрушить социализм или швырнуть на ветер три десятидолларовых бумажки. Только лишь Китай планомерно наращивает экономический потенциал без сожаления об убитых для этой цели студентах. Однако то, что касается Китая, не относится к остальному человечеству.

Итак, это была вот именно 29-летняя девушка Палмер с пакетом гуманитарной помощи, принятым деклассированным трудящимся СССР за сверток с младенцем. Таких пакетов у нее в багаже было тридцать. Не так уж много для спасения основательного государства, но главное — почин! Если от каждой тысячи западных христиан придет по тридцать пакетов, то ведь из одних США это будет семь с половиной миллионов! Надо ли говорить, в какой экзальтации полетела наша русофилка к Москве.

ВТОРОЙ ОТРЫВ ПАЛМЕР

Почти весь 1992 год Кимберли Палмер провела в России, но к осени прибыла в родной Страсбург, штат Вирджиния. «Палмер вернулась из России совсем другим человеком», — сказал аптекарь Эрнест Макс VIII, глава нынешнего поколения сбивателей уникальных страсбургских молочных коктейлей, которые — сбиватели — хоть и не обогатились до монструозных размеров массового продукта, но и ни разу не прогорели с последней четверти прошлого века, сохранив свое заведение в качестве главной достопримечательности Мэйн-стрит и привив вкус к жизни у восьми поколений здешних германских херувимов; у-у-упс — кто-то кокнул бокальчик с розовым шэйком, заглядевшись на «авантюристку Палмер», переходящую главную улицу. «Never mind, — воскликнул Эрнест. — Обратите внимание, даже походка другая!»

«Она там явно потеряла невинность», — шепнул какой-то доброхот сержанту Айзеку Айзексону и чуть не заслужил пулю в лоб, и заслужил бы, если бы у сержанта чувство долга не преобладало над личными эмоциями. Между тем Палмер, завернувшись в многоцелевой туалет от Славы Зайцева, пересекала магистраль по направлению к «Хелен Хогтенцоллер Поттери-клубу», из которого уже высказывали дамы, чтобы заключить ее в объятия.

«Мне даже странно вас приветствовать, дорогие друзья», — сказала Палмер на расширенном заседании клуба, где меж керамических изысканностей теперь щебетали канарейки и сияющая от гордости Хелен в сверхразмерной майке с русским двуглавым орлом обносила гостей миниатюрными чашечками кофе-(!)-эспрессо. «О, как странно, друзья, вернуться на роди-

ну, в этот тихий городок после десяти месяцев в той невероятной стране!» Тут она замолчала с широко раскрытыми глазами и как бы даже забыла о том, что ее окружало в эту минуту. И дамы тоже расширили глаза в немом благоговении.

Теперь в тишине долины Шэнандоа этот десятимесячный «русский фильм», словно «виртуал ризлити», включался в сознании Палмер абсурдно перемешанными кусками, то по ночам на подушке, то за рулем «тойоты», то в супермаркете, то во время бега, то перед телевизором, то при раскуривании сигареты — эта, приобретенная в России, вредная привычка казалась чем-то вроде инфекционного заболевания просвещенным жителям Вирджинии, — и перекрывал собой полыхание «индейского лета», мелькание белок, маршировку школьного оркестра, привычные телесериалы, по которым она, надо сказать, основательно скучала в России, пока не забыла.

Вдруг она видела перед собой гигантскую торговую смуту Москвы, кашу снега с грязью под ногами, а над головами ошалевших от дикого капитализма ворон, женские кофточка на плечиках рядом со связками сушеной рыбы, развалы консервов вперемешку с дверными ручками, бутылками водки, губной помадой, томиком Зигмунда Фрейда и Елены Блаватской. В глубокое сне блики России, вмещавшие в себя нечто большее, чем чувства или мысли, впечатывались в темноту, словно образы ее собственного умирания.

Мезозойская плита российского континента пошевеливалась медлительной жабой, метр в тысячелетие.

Встряхиваясь, она курила в спальне — только «Мальборо», чья марка почему-то считалась в Москве самой

шикарной, — и снова кусками просматривала свой «фильм»: драка вьетнамских торговцев в поезде Саратов—Волгоград, крошечные и свирепые, в джинсовых рубашках со значками «Агпу US», они прыскали друг другу в лицо из ядовитых пульверизаторов и растаскивали какие-то тюки; раздача гуманитарной помощи детям сиротского дома возле Элисты, она туда приезжала в ходе совместной акции британского Красного Креста и германской группы «Искушение»; таскание по чердакам и подвалам богемной Москвы и мужчины, множество этих не всегда сильных, но всегда наглых, подванивающих не истребимым никаким парфюмом потцом, грязно ругающихся или воспаряющих к небесам; тащили в угол, совали водку, тут же чиркали своими ширинками, как будто в этой стране идеи феминизма и не ночевали.

Иногда она в ужасе вскрикивала: неужели именно таких кобелей она подсознательно предвосхищала, думая о России? Нет, нет, было ведь и другое, то, что совпало с юношескими восторгами: и скрипичные концерты, и чтение стихов, и спонтанные какие-то порывы массового вдохновения, когда в заплеванном переходе под Пушкой шакаля толпа вдруг начинала вальсировать под флейту, трубу и аккордеон. «Дунайские волны!» После вальса, однако, все стали разбегаться, вновь в роли шакалей стаи, и аккордеонист вопил им вслед: «Падлы! Гады! А платить кто будет, Пушкин?» Оставшись в пустоте, закрыл глаза и заиграл Yesterday.

Столько всякого было, и все-таки сознайтесь, Кимберли Палмер, главным вашим открытием в России оказались мужчины. Сначала она встречалась с ними, как бы движимая какой-то слезливостью, материнскими атавизмами, а потом, приходится признать, появи-

лось нечто сугубо физиологическое, некий сучий жар, мэм. В китайгородской студии художника, пожалуй, не осталось ни одного завсегдатая, который бы не познакомился поближе с «англичанкой», или, как ее еще называли здесь с памятной декабрьской ночи 1991 года, когда пакет с гуманитарной помощью был принят за ребенка, «матерью-одиночкой». Дошло до того, что о ней стали говорить нечто не совсем понятное: «Вразнос пошла баба!»

Самые ужасные воспоминания были связаны с Сокольническим абортарием, куда Модик Орлович ее привез к знакомому доктору. В стерильно чистой Вирджинии даже представить себе было нельзя подобной медицины, подобных санитарок и сестриц, не говоря уже о пациентках. Палмер была уверена, что живой ей оттуда не выйти, и тем более удивительно было то, что так все обошлось, не оставив ничего, кроме гордости сродни той, что остается у заложников после бейрутского плена.

Потрясенный сержант Айзек Айзексон, в первый же вечер по возвращении получив от нее то, о чем мечтал столько лет в танталовых муках, с налетом трагического сарказма пробормотал: «Я вижу, ты там прошла курс групповой терапии по преодолению сексуальной сублимации, не так ли?» — «Если только не групповой хирургии», — усмехнулась она.

Сержант Айзексон по роду службы сталкивался с проявлениями бешенства, однако до недавнего времени не очень-то понимал, откуда бешенство берется в человеческой природе. Теперь, когда ему самому пришлось иной раз подавлять вспышки бешенства, его взгляды на человеческую природу значительно расширились. И даже как бы углубились. Вот именно, иног-

да он говорил сам себе, сидя off duty за упаковочкой пива перед хрюкающим телевизором, теперь я как-то глубже смотрю на всю эту сволочь.

Он сделал Палмер предложение и неожиданно получил согласие, что опять поколебало его представление о человеческой природе, в какую сторону, он пока не мог разобраться. Теперь они появлялись на людях, в частности в кегельбане «Аскот», как жених и невеста.

Все вообще входило в свою колею. Разумеется, в отделе автомобильных ссуд банка «Перлечьюэл» сидела другая Кимберли Палмер, если так можно сказать о вечно жующей халде из Западной Вирджинии, однако банк-конкурент почти немедленно пригласил к себе местную знаменитость, что выполнила свой долг американской христианки в столь далекой и опасной стране, и этим привлек новых клиентов к своим источникам финансирования. Огромные клены, тополя и каштаны на улицах Страсбурга с умиротворяющим шелестом приняли блудную бегунью под свои кроны. Из Москвы никто не отвечал на письма Палмер, и Россия снова стала превращаться в академическую абстракцию из университетского куррикулюма. В лучшем случае она еще ассоциировалась с «Шестой Патетической» Чайковского, которую Палмер прослушивала во время пятимильного бега; скрипки и медь, щемящие взлеты маленьких дудок... И это Россия? Предмет вдохновения и продукт вдохновения существовали в разных плоскостях, не сливаясь. Музыка находилась в пугающем отчуждении от обоняния.

«Даже если ты так любишь эту дрянь, вовсе не обязательно туда ездить. Возвращайся в университет и изучай всех этих», — говорил неглупый Айзек. Он вступил в переписку по поводу вакансий в органах охра-

ны порядка по периферии Университета Вандербида в городе Нэшвил, Теннесси. Кое-какие накопления, сделанные при холостяцкой умеренности, помогут продержаться года два-три до получения нашей девушкой «мастера изящных искусств».

Так непритязательно все протекало едва ли не целый год, а именно до конца сентября 1993-го, когда в доме Палмер раздался внеурочный, а именно в три утра, телефонный звонок. На проводе был Аркадий Грубианов. Ну это по старинке говоря, «на проводе», в ночной действительности перепуганной Палмер послышалось что-то космически гулкое, судьбоносное в этом звонке извечного московского гуляки, «ходока» и «алкаша». «Привет, старуха, — сказал он по правилам московского жаргона, который еще так недавно восхищала пионерку гуманитарной помощи, а сейчас вызвал лишь легкую тошноту. — Надеюсь, еще не забыла “те ночи, полные огня”? Звоню тебе из вашей столицы. Нет, не из нашей, а из вашей, из вашего-невашего Вашингтона-не-Нашингтона, всасываешь? Бессонница, старуха, Гомер, тугие паруса, вот, список кораблей, ну прочел, в общем, до середины и подумал: дай-ка позволю Кимке Палмер, все-таки хорошо, когда своя чувиha есть за океаном, верно? Да нет, не эмигрировал, чего мне эмигрировать, когда и дома хорошо. Бизнес, конечно, да только не коммерческий, а государственный. Аршином-то нас, мамаша, общей палкой-то не измеришь, но только я тут с правительственным визитом».

Из дальнейшей то ленивой с прихлебом, то скороговорчатой с захлебом болтовни забубенного Грубианова Палмер поняла, что он недавно стал членом правительства, а именно министром культурных коммуникаций —

не путать с министерством культуры — Российской Федерации, и вот сейчас прибыл в Вашингтон во главе делегации. «Переговоры ведем, старуха, по пять, по пятнадцать переговоров ежедневно, всего пять тысяч переговоров! Десять тысяч соглашений подписываем! Курьеры летят туда-сюда, тридцать тысяч курьеров! Факсы, модемы, все дымится! У меня и у самого уже дымится, потому и тебе звоню! Приезжай в “Риц-Картон”, спросишь министра Грубианова!»

Иначе как дурацкой шуткой не могла Палмер полагать ночные излияния московского шута с ампула «герой-любодник». Он и сейчас был почти *plastered*, когда молот своим могучим, но не очень послушным языком какой-то вздор о правительственном оздоровительном центре, где он плавает ежедневно с самим Рублиускасом и прыгает с трамплина в воду вслед за самим Пельмешко, плашмя, пузом, фонтан из жопы, и где как раз было предложено ему, брызги шампанского, министерское кресло. Палмер не до конца понимала специфику революционных ситуаций, и потому ей трудно было представить, что министром может стать какой-то основательно бесноватый актер актерыч, больше того, что даже и министерство для него могут сшить прямо на краю плавательного бассейна. «Хочешь, машину за тобой пришлю? С телохранителями! Пять телохранителей! Десять!»

«Послушай, Эркэиди, я совсем не в позиции идти в тебя три часа эй эм», — наконец сформулировала Палмер.

«Ну вот, опять по-чухонски заговорила», — огорченно вздохнул министр, а потом совсем ее ошарашил, сказав, что в таком случае Магомет сам придет к горе, в том смысле, что вечером он будет в десяти милях от

ее «с-поңтом-Страсбурга», а именно в Корбут-плайс, ну да, у тех самых Корбутов, которые дают ужин в его честь, и он ее приглашает как министр. Приезжай без балды, этот Стенли Корбут — совсем нормальный малый, совсем свой в дупель чувак, торчит на Рашен Арт, Птица-Гамаюн замаячила его до пупа!

Корбут-плайс! Хотя и расположено было это поместье в десяти милях от Страсбурга, местные жители могли увидеть его крыши только с видовой площадки на Голубом Хребте, в тридцати милях отсюда. Все подъезды к лесистой территории, размером не уступающей карликовым государствам Европы, вроде Андорры или Лихтенштейна, были перекрыты шламбаумами. Для местной девушки приглашение в замок королей мясомолочного бизнеса было равносильно какому-то опро-ивонно-ванному воплощению мечты. Палмер была уже не совсем местной, но тем не менее поехала. Почему-то захотелось снова увидеть полные красные губы Аркашки Грубианова. Что касается робости перед мясомолочной аристократией, то Палмер, вращаясь чуть ли не год среди богемной, или, как тогда говорили, «халывной» шпаны, уловила одну кардинальную установку «а мы кладем», то есть «нет проблем», в непрямом переводе на английский.

Ничего не сказав своему сержанту, она отправилась в своей «тойоте». Может быть, Аркашка и все наврал, но почему не рискнуть? У первого шламбаума дежурили сильные ребята из корбутовской гвардии. Узнав, что она приглашена министром Грубиановым, они почтительно козырнули и теми же увесистыми ладошками указали направление. Сразу же за чек-пойнтом лес переходил в парк. За аллеями стройных деревьев видны

были обкатанные идеальной стрижкой зеленые холмы, античные скульптуры и садовые, на версальский манер, террасы, спускающиеся к пруду с фонтаном. Стекла шато отражали шэнандоаский закат во всем его великолепии и даже превосходили это природное явление, поскольку добавляли к нему архитектурную симметрию. Эти закаты меня всю жизнь сбивали с толку, подумала Палмер, входя в замок. Только уже переступив порог, она сообразила, что дверь ей открыл лакей в чулках и перчатках.

В обеденном зале с дубовой резьбой, которой бы хватило на эскадру фрегатов, сидело общество, персон не менее двух дюжин. Обнаженные плечи дам как бы раздвигали и без того обильные масштабы сервировки, Палмер опустила древнерусскую шаль: плечи были не худшими частями ее хозяйства. «Я спал с этими плечами, я с ними жил», — вспомнил министр Грубианов. Он являл собой воплощение этикета. Вместо вечно разодранного свитера с закатанными рукавами на нем был полный комплект «черного галстука», взятый напрокат через отдел сервиса отеля. С благосклонной улыбкой он указал Палмер на свободное место, пару кувертов от себя, одесную. Еще более церемонной особой предстала с лиловатыми павлиньими окологлазиями девица Ветушитникова, известная в соответствующих кругах Российской Федерации как Птица-Гамаюн, ныне заведующая сектором юношеского обмена. Издалека она лишь губками еле-еле шевельнула, посылая Палмер воздушный поцелуй. Воображаю, что будет, когда они напьются, подумала адресат поцелуя.

За столом шел оживленный разговор, ну, разумеется, о России. Леонид был настоящим лидером, господом, а вот его дочь Брежнев — это воплощение женствен-

ности. Совершенно согласен, я знал и того и другую. Леонид был tough, но Брежнев оказалась сущим очарованием! Площадку постепенно захватывала старуха с подсиненными седыми кудрями, известный тип полочумевших богатых энтузиасток, у которых каждый год новая «феня»: то Винни Манделе премию дают за «нравственный героизм», то каких-то обожравшихся поэтов везут на собственном самолете в Португалию, то «диснейленд» открывают для уличных гангстеров, чтобы отвлечь их от «крака» и пистолетов. В данный период старуха занималась долларовыми вливаниями в Министерство культурных коммуникаций Российской Федерации, МККРФ, и поэтому все ее слушали со вниманием. Звали эту даму, естественно, Джейн, она рассказывала:

«Колоссал импрешнз, фолкс, неизгладимые! Возле Москвы мы посетили дом великого русского поэта на букву “П”, сейчас вспомню, ах, да, дом Потемкина!»

Министр и члены делегаций почтительно кивали нижними частями голов. Им никто не переводил, и они, конечно, ни фига не понимали. При слове «Потемкин» кто-то неуместно хохотнул. «Поэт Потемкин?» — переспросила Палмер. С этим именем у нее еще со времен ранних штудий в Университете «Вандербилд» складывалось что-то не совсем поэтическое, что-то из области тайной войны, штурма Турции: жезл с бриллиантовой шишковидной, стеклянный глаз, яхта Онасиса, нет, это уже из другой оперы.

«Не просто поэт, а великий поэт, — сурово насупилась Джейн, сама как бы слегка из потемкинской эпохи с ее голубоватой волнистой укладкой. — Он жил в маленьком городе Переделкино». Неожиданно название «маленького города» было произнесено почти по-русски.

«Пастернак!» — тогда воскликнула Палмер, и Аркадий Грубианов гулко захохотал, чуть не сорвался.

«Где? — быстро оглянувшись, спросила миллиардерша, потом озарилась. — Ну, конечно, я немного перепутала, доктор Пастернак!»

Палмер начала резать что-то поданное на фарфоровой тарелке, похожее на тихоокеанский атолл; она трепетала.

«Сын великого доктора Пастернака показывал нам его дом, — продолжала Джейн. — Бедный, бедный, как он жил! Послушайте, сказала я сыну, пожалуйста, не возражали бы я вас снимала за столом вашего отца? О, бой, воспалился возмущением! Он кричал и махал руками, отвергая мое скромное предложение! Я никогда не думала, что между отцом и сыном были такие напряженные отношения!»

«О, бой! — воскликнула тут в тон золушка этого вечера, которую никто не знал, кроме нескольких русских. — Да ведь ваше предложение, дорогая миссис Катерпиллер, прозвучало для этого человека святотатством!»

«Святотатством?!» — восхитительная старуха гордо подбоченилась на фоне резного дуба, словно адмирал Нельсон. Тут уж Аркаха расхохотался, несмотря на министерский титул. Кто-то ему, очевидно, что-то перевел из женского диалога, и он заорал через стол благодетельнице российских культурных коммуникаций: «Ну, Джейн, ты даешь! Да ведь это все равно что в туринском соборе попросить плащаницу примерить! Пастернак-то у нас там святой, дом-то его ведь храм же! Эй, кто-нибудь, переведите ей что-нибудь!»

Никто, конечно, ничего не перевел, но все начали смеяться, глядя на российского министра, который,

казалось, от полноты чувств может разнести тесный фрак. Напиался, однако, первым не министр, а хозяин, Стенли Корбут, стройный ветеран бизнеса, вечно нацеленный на гольф, секс и шампанское. Последнее, очевидно, не полностью уходило в глубины его организма, а частично оседало в индюшачьей сумке под подбородком, что делало его ходячим символом небрежного и наплевательского капитализма, как бы даже уже потерявшего интерес к прибылям. «Танцы! — возопил он. — Начинаем вальсы!» — и, схватив под микитки девицу Ветушитникову, закружился с ней по направлению к спальне.

Впрочем, и почетный гость не заставил долго ждать. С не меньшей непринужденностью он сунул в нагрудный карман пару сигар с сигарного столика, в брючный глубокий кулуар бутылку «Гленморанджи» с коктейльной стойки и решительно повел подругу Палмер к выходу. Принцип взаимности. Русские не сдаются, они становятся союзниками! Все наши вещицы птицы, Алконосты, Сирины, Гамаюны, настоящие, не бляди, парят в пространстве, но самая главная Фениксом встает из красного пепла, мужает с двумя башками, требует двойного рациона! Мы еще увидим небо в алмазах! Человек не блоха! Велика Российская Федерация, но отступать некуда!

Когда он утомился и задрях на раздвинутой спальном софе, Палмер вышла под лунную благодать и присела на чугунный стульчик весом в пуд, лучшую часть бабушкиного наследства. Тут же лужайку пересекла человеческая тень, это выдвинулся на передовую позицию сержант Айзексон с полным набедренным набором: палка, пистоль, ходилка-говорилка, наручники. «Значит, это вот и есть один из твоих русских?» —

сказал он с достаточным выражением. Палмер задумчиво покивала головою: «Знаешь, эти русские нынче какие-то не очень русские. Тот, что спит там сейчас, министр, он меньше русский, чем я англичанка, или ты — швед. Время художественной литературы, увы, прошло». — «Я его пристрелю еще до восхода солнца», — предположил сержант.

«Ты не сделаешь этого», — резонировала она, не в том смысле, что откликалась эхом, а в том смысле, что выдвигала резон для воздержания от насилия. «Почему? Хотя бы потому, что ты уважаешь меня и видишь во мне не только влагалище!» На чреслах сержанта задрожали железные предметы. Он, признаться, никогда и представить себе не мог подобного резона, а сейчас содрогнулся. Она встала, и луна обтянула своим светом ее тело будущей чемпионки Бостонского марафона. «Ну что ж, пойдём в гараж, Айзек».

Утром за завтраком министр Грубианов, как был, в наемном фраке, подарил палмеровскому племяннику Фрицу Герменстадту часы «Тиссо» с браслеткой, а его мамочке Розалин две бумажки из слежавшегося за пазухой запаса сотенных. Съев изрядную горку вирджинских гречневых блинчиков с кленовой патокой, он попросил включить CNN. Оказалось, что в Москве в полный рост развивается, по выражению нового президента Руцкого Сани, «Вторая Октябрьская революция».

С этого момента весь уик-энд пошел под оком Атланты, если можно так для красоты выразиться, имея в виду сиэнэновские камеры, парящие над сонмищем московских зданий, в том числе и над министерством Грубианова. Фрак все-таки полез по швам. Небритый министр в глубоком кресле перед ящиком курил

украденную сигару, булькал солодовым виски «Гленморанджи». Между тем по экрану прокатывались волны вновь осатаневших большевиков. Вдоль Садового кольца горели костры из автомобильных покрышек. Ухая молотками, свистя серпами, накатываясь колесницами свастики, толпа расправлялась с милицией. Среди ражих детин смертоносцами с профилями Ильичей и Иосифов неслись комсомолки сороковых и пятидесятых. Ударные хлопцы захлестывали на омоновских шеях велосипедные цепочки, старухи довершали дело древками знамен.

Грубианов Аркадий бил кулаком в ладонь, похлопывал, дико оборачивался к Палмер как бы за подтверждением своих невысказанных мыслей. Вокруг ходили на цыпочках, прикладывали палец к губам, Домочадцам казалось, что в гостиной поселился тифозный или алкогольный больной.

Так шли часы, борода у министра росла, красные в Москве побеждали. Блокада прорвана! Из огромного дома, построенного, как нарочно, в стиле социалистического апофеоза, выходили цепи автоматчиков в камуфляже. Раскатавшись «Кразами», врубались в соседний небоскреб, вышвыривали трехцветные тряпки, вздымали победный кумач. Рушились стеклянные стены капитализма. «Ух, дали! Ух, здорово! Сыда, вперед!» — восхищенно кричал Грубианов. С огромного балкона вождь московского восстания, не менее опухший, чем вирджинский зритель, провозглашал победу, посылал пролетариат на Останкино, на Кремль!

Недолгое время спустя возникли кадры вдвойне телевизионного побоища: американское телевидение «покрывало» гибель российского. Генерал в натянутом на уши берете, с лицом гиены, распорядился штурмом.

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и Макашов на битву поведет, голосили мастера завтрашних расстрелов. С ревом пронеслась выпущенная по центральному входу ракетная граната. Летят стекла, коллапсирует бетон. «Ух ты! Ух ты!» — хохочет в вирджинской ночи министр свергаемого правительства.

Боже, что с ним происходит, шептала Палмер. Тут просто все сплелось, Ставрогин и Свидригайлов со всей современной гнилью! Кто он такой, если не исчадие русской литературы? Она задремывала в углу вековой палмеровской гостиной под портретом грэндматушки и просыпалась, когда телевизор начинал тарыхтеть на более высоких оборотах и когда что-нибудь с грохотом рушилось в Москве, а Грубианов раздражался новым потоком хохота. История поворачивает вспять, а исчадие хохочет!

История, однако, повернув вспять, только потопталась на одном месте, а потом снова крутанулась и погнала краснопузых назад, под защиту советской конституции. Министр Грубианов продолжал наслаждаться зрелищем. Кантемировские танки начали молотить по штабу «Второй Октябрьской революции», а он хохотал с тем же восторгом: «Вот дают! Вот здорово! Паша, вперед!» Вожди пошли сдаваться, и тогда уж он додохотался до икоты: «Вот кайф!»

Уж и следующий день занялся над невинной Вирджинией, и в тлетворной Москве стало вечереть под осыпающимся пеплом, когда министр грохнулся на колени, обхватил ноги Палмер всечеловеческим объятием и бурно заговорил в манере дубль-МХАТа, временами погружаясь носом в женскую опушку, немного колючую даже через тренировочные штаны: «Возьми меня, Кимберлилулочка окаянная, мать-одиночка, ведь

я твой единственный гуманитарный пакет! Никто, никто не знает, кто я на самом деле такой, а тому, кто узнает, уже не поверят! Увези, увези ты меня от меня самого со всеми моими слипшимися долларами! Жизнь еще грезится за подлейшими долларами! В Тринидаде ли, в Тобаго ль, дай мне очухаться в тропиках чувств, отмыться в водопадах признаний! Не покидай меня, Дево, в апофеозе мечты о всемирной демократии! Леди Доброты, лишь в лоне твоём вижу вселенскую милость, гадом буду, ангел человечества!»

Подняв лицо к потолку, Палмер ждала, когда изливания захлебнутся. Вопрос доброты был для нее мучительным. В ранней юности, глядя в зеркало на свое лицо и замечая в нем выражение доброты, она думала: «При моей внешности доброта — это единственное, на что я могу рассчитывать». Эти мысли приводили к некоторому самоистязанию: «То, что люди, и в частности мужчины, принимают за доброту, на самом деле может быть лишь самоскроенной маской, а по своей сути я, возможно, хитра и зла». Поездка в Россию усугубила это противоречие. Маска, кажется, слишком плотно прилепилась к губам и носогубным складкам. Все вокруг пили за ее доброту. Я неискренняя, самоистязалась она, я ловчу со своей добротой, и все из-за проклятых мужчин.

«*Elevez-toi, Arcady, s'il te plait*», — сказала она не по-английски, но от растерянности перед очередным поворотом судьбы и не по-русски. Школьная программа французского языка вдруг выплеснула из глубин еще один упрямый фонтанчик милосердия.

Туристическое шоссе Скайлайн-драйв вьется по самому гребешку Голубого Хребта над долиной Шэнан-

доа, больше ста миль на юг. Справа открываются ошеломляющие закаты, слева благодетельные восходы. В зависимости от времени суток, разумеется. Но если вы в отрыве, разумеется, в разгаре гуманистической акции, вам может показаться, что небеса запылали одновременно с обеих сторон.

Палмер выбрала этот путь инстинктивно и только лишь потом поняла, что пытается уйти от представителей сил порядка. Она вела свой автомобиль, стараясь сгонять с лица всякие промельки доброты. Рядом в распаханном по всем швам фряке кучей осело тело министра. Не видя никакой манифестации небес, он храпел в отключке, однако временами вздрагивал и четко отвечал на неслышные вопросы: «Не состоял! Не был! Не подписывал! Не докладывал! Не брал!» Однажды вдруг вспучился, забормотал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, прости и защити!» — и рухнул снова.

По прошествии получаса, взглянув в зеркальце, Палмер увидела плотно идущий вслед за ней «шевроле» с сигнальной перекладиной на крыше. Маске викинга за его ветровым стеклом не хватало только двух коровьих рогов по бокам головы. Ну что ж, сержант Айзексон, вот сейчас мы и проверим ваши человеческие качества!

В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ ДЮПОН

Пропал Женя Кацнельсон, по-американски говоря, Джин Нельсон. В редакции журнала, где он работал «фриланс», ну внештатником, его хватились не сразу. Этот журнал, в общем-то, был как бы и не совсем

журналом, а скорее обществом, ассоциацией, что ли, наблюдавшей за процессами демократии и тирании, ну и так далее. Там был, конечно, большой русский отдел, и Женя туда ходил каждый день, хотя мог и не ходить. Все-таки он считал своим долгом появляться там ежедневно, или, может быть, ему какая-то подсознательная хитрость так диктовала: ходи, мол, каждый день, приучишь к своему присутствию, и тогда тебя возьмут в штат. Ситуация довольно типичная: русские «фрилансы» в подобного рода заведениях вообще качаются, употребляя заезженную философскую метафору, как «мыслящий тростник».

Метафора сия приплась тут, надо сказать, кстати. Он всегда как бы слегка покачивался под каким-то своим внутренним ураганчиком, этот Женя Кацнельсон. Придешь иной раз в эту самую «Конституцию» (так назывался журнал!), и тут вдруг среди преувеличенной деловитости от стены к тебе качнется такая сугубо московская фигура. Славный, хорошенький человек с оленьими глазами лет сорока. Глаза лет сорока, а фигура юношеская. Курточка до пояса, ну джинсы, теннисные туфлишки, такой универсальный молодежный стиль, принятый и у нас, в районе площади Дюпон.

Я помнил его еще по Москве, или мне казалось, что помнил. Не исключено, что мы не раз оказывались за одним столом в каких-нибудь шумных артистических компаниях. Он, во всяком случае, постоянно мне напоминал о разных московских людях, нередко знаменитостях. Не слышал, как там Олег, или как там Галка, или какой-нибудь Юстинас? Мы выходили покурить — в учреждении уже шло свирепое искоренение никотина — и, стоя на лестнице, упражнялись в московских сплет-

нях пятилетней давности. У Жени глаза тогда начинали даже как бы светиться некоторой дерзновенностью, и шаткости убавлялось; он явно вспоминал не худший период своей жизни.

Однажды он сунул мне свою «куррикулум витэ» (для непосвященных — это нечто вроде анкеты и автобиографии вместе), чтобы я ее где-то показал на предмет поисков работы. Бумага отражала не очень-то типичную судьбу русского художественного мальчика. Окончил архитектурный институт, выпустил книжку стихов, играл в джаз-рок-ансамбле «Склад оружия», был лектором по древним сооружениям в обществе «Знание», снялся в кино, поставил пьесу и... эмигрировал.

Тут у нас многие в эмиграции как-то чрезмерно демонизируют, то есть героизируют свой поступок. Эдакие взбунтовавшиеся ангелы социализма! «Мы голосовали ногами против советской власти!» Однако, голосуя ногами, надо все-таки хоть раз ей под задницу ногой захватить, не так ли? Ну уехали, господа, и уехали, не надо, право, уточнять, кто чем голосовал против старухи, и уж тем более высокомерничать по отношению к оставшимся.

Женя Кацнельсон был не из тех, что кичились своим «поступком». Он явно тосковал по прежней жизни, где помнилось ему все то, что было, пропетое окуджавами, галичами, висоцкими, верониками долиными, все то московское, волнующее, непонятное в журнале «Конституция». В Америке он «резидентствовал» с середины семидесятых, то есть больше десяти лет к тому моменту, как пропал. Как художественная личность здесь себя, мягко говоря, не очень-то проявил. В «Конституции» он занимался в основном разборкой советской прессы, производством дайджестов для начальства, кое-каким переводом. Деньжата все-таки притекали

более или менее постоянным ручейком, что позволило ему в конце концов получить в банке заем для покупки квартиры. Помнится, он был колоссально взволнован и горд этим обстоятельством. Еще бы, свой дом! Знаешь, заведу себе собаку! Буду жить вдвоем со своим сеттером! Бедняга какая, подумал я тогда о нем каким-то странным макаром. Экая, в самом деле, бедняга, почему-то подумалось в каком-то российском литературном, штабс-капитанском ключе.

Кажется, я никогда не встречал Женю за пределами «Конституции» и тем более ни разу на «нашингтонских» русских, или американских, или смешанных сборищах. Кто-то как-то сказал, что этот Кацнельсон такой застенчивый. Другой кто-то по-ноздревски захохотал: «Не люблю я, братцы, этих застенчивых!» Нет, прощай, вру. Однажды моя жена пригласила его на шумный «парти». Он там стоял с напитком в руке, бледный такой, не в своей тарелке, если можно так сказать о вечеринке, где не было ни одной настоящей тарелки, одни бумажные; эдакий «лишний человек» в эмигрантском варианте. Кажется, мы тогда перекинулись с ним двумя-тремя фразами о расколе МХАТа, но, может быть, это было не тогда и не у нас, а, как обычно, на лестнице для курящих.

В общем, он однажды пропал. Мне об этом сообщил по телефону болгарский философ Валериан Валерианов. Оказывается, уже недели две Женя не появлялся в журнале. Не менее двух недель, если не три. Может быть, даже около месяца. Наконец решили позвонить мне как человеку, с которым Кацнельсон дружил. Если наши отношения считались там дружбой, любопытно, что же считалось товариществом в международном органе по наблюдению за тиранией?

Жена моя начала обзванивать знакомых. Никто не знал даже, где он живет, где размещается этот его пресловутый «кондоминиум». Кто-то вспомнил, что видел его как-то на Дюпоне с молодым ирландским сеттером на поводке, будто бы того звали то ли Михаилом, то ли Кузьмой, что-то в этом роде, но это было, похоже, задолго до того, как он пропал. Одна дама предположила, что некоторая компания в Нью-Йорке должна доподлинно знать, куда пропал Кацнельсон, ведь он, собственно говоря, как раз к этой компании и принадлежал. Для меня это было ново. Я никогда от него ничего не слышал ни о какой нью-йоркской компании. Никаких имен никто в Вашингтоне не знал, и все разводили руками: не обзванивать же весь эмигрантский корпус Манхэттена.

Потревоженная русским булькотеньем, «Конституция» сделала официальный запрос в полиции. Там никаких «рекордов» на Джина Нельсона не обнаружилось. Кто-то предположил, что он мог вернуться в Москву. Все-таки там сейчас климат значительно изменился, коммунисты стали себя вести поприличнее. В журнале вспомнили, что у него недавно были неприятности в связи с Москвой. Оказывается, людям из этой организации нельзя было ездить в Москву без разрешения начальства. И вот однажды одна сотрудница, такая Агриппина Пристова, которая была в Москве с разрешения начальства, увидела на улице Горького Кацнельсона, который там был без разрешения. Вернувшись, она сочла своим долгом доложить, то есть, если бы это было не в Америке, можно было бы сказать, что наступала Кацнельсона пригласили в «персонал», то есть в отдел кадров. Вспомнив об этом, Валериан Валерианов сказал, что это было вопиющим нарушением Женькиных

гражданских прав, и он ничуть бы не удивился, узнав, что тот свалил в Москву после такого унижения. С другой стороны, кто-то, может быть все та же злокозненная Агриппина Пристова, подпустил, что Кацнельсон мог спокойно оказаться внедренным «нелегалом» советского шпионажа.

После этих разговоров всем стало ясно, что интерес к этому делу пошел на убыль и вскоре вся община забудет о пропавшем Кацнельсоне. Вот в этот момент моя жена неожиданно узнала адрес кацнельсоновского «кондоминиума» и, взяв для страховки подругу, отправилась на поиски. Вернулась она ни с чем и долго возмущалась американскими порядками: этот «кондо» в Адамс Морган похож на крепость, внутрь попасть невозможно, никто тебе никогда не откроет, если твоего адресата нет дома. Что касается коменданта, то он только пожимает плечами: у него нет никаких оснований вторгаться в «прайвеси» упомянутого резидента, поскольку все счета за текущий месяц оплачены. Вот если тот начнет уклоняться от выплат, тогда, после соответствующего сигнала из банка и решения ассоциации домовладельцев, можно будет поставить перед властями вопрос о принудительном открытии дверей того «юнита», владельцем которого является мистер Нельсон. А пока что, ледис, могу вам только посоветовать обратиться в полицию.

Тогда я сам туда поехал и через четверть часа прибыл к подножию внушительного по размерам строения, кварталах в пяти-шести от веселой площади Дюпон. Строение называлось «Элизабет», о чем сообщали крупные буквы над козырьком главного входа. Этот козырек, напоминающий растопыренный плавник летучей рыбы, был, что называется, «прищеп-кобыле-хвост» на мрачно-

ватом фасаде с узкими рефлектирующими окнами. Шедевр коммерческой архитектуры эпохи «наппи дженерэйшн» напоминал образцовую тюрьму среднего режима. Все необходимые удобства подразумевались, а во внутреннем дворе, то есть в защищенном пространстве, должно быть, были солярий и бассейн — все четко распланированное, удобное, с намеком на какой-то еще не названный американский социализм.

Я уже знал номер кацнельсоновского «юнита» — В-018А и попытался для очистки совести позвонить туда от входа. Включался автоответчик, Джин очень вежливо и совсем без акцента извинялся за свое отсутствие и приглашал оставить «мэсидж» (запись). Тут из дома вышел почтенный черный господин и вопросительно попридержал дверь: будете ли, мол, заходить? Видимо, моя внешность, а еще более модель оставленного у подъезда автомобиля не вызвали у него никаких сомнений по поводу допуска в жилую твердыню. Я спросил, не знает ли он Джина Нельсона из номера В-018А. Он не знал. «Да вы постучите ему прямо в дверь, — посоветовал он. — Может, телефон испорчен или еще какая-нибудь чепуха».

Ободренный столь бытовыми предположениями, я вошел внутрь. Было, кажется, около трех пополудни, и поскольку народ тут жил, очевидно, в основном служилый, постольку я не встретил ни души, пока блуждал по вестибюлю и каким-то коридорчикам первого этажа. В таких строениях, не ровен час, можно попасть в клаустрофобическую ловушку. С одной стороны, набалдашник двери поворачивается, а с другой — наглухо недвижим, и вот ты оказываешься в тускло освещенном коридорчике вроде бы навеки. На твой голос никто не откликнется в веках. Может быть, и Женька Кац-

нельсон где-нибудь тут дрожит уже три недели? Заметавшись, я побежал вниз по бетонной лестнице, хватаясь на каждом этаже за набалдашники дверей. Все они были зафиксированы. «Hey, is there anyone around here?» — кричал я нарочито бодрым голосом, а у самого все колотилось внутри: попался, попался! Вдруг появилась светящаяся надпись «Выход» и не обманула. Крутанув набалдашник и надавав коленом, я вытряхнулся во внутренний двор кондоминиума «Элизабет». Четырехугольное пространство неба как раз пересекал клин гусей, направлявшихся в милую сторону, к резервуару на Палисадах, что висят в просторном живом мире на левом берегу Потомакского каньона.

Одну сторону четырехугольника замыкала высотная квартирная часть, с трех других тянулись низкие «юниты», каждый со своим отдельным ходом. Женькин дом находился в одном из этих рядов, вот и он. Я начал стучать. Ощущение было такое, что стучишь в глыбу гранита. Никакого ответа. Мимо прошла латинка, поперек себя шире. Она толкала колясочку с белым ребенком. В ответ на мой вопрос развела руками: не понимаю, мол, ни бельмеса. Ребенок показал мне свою трещалку. Он явно не был причастен к тайнам этого жилмассива. Один за другим прошли еще несколько соседей Кацнельсона. Всех этих троих я добросовестно спрашивал о пропавшем, так что там, где все такие дела учитываются, ясно видели, что человек всерьез пытается найти другого человека. Ни один из опрошенных не знал обитателя данного таун-хауса и никогда не видел его в глаза. Все пожимали плечами, как бы говоря: с какой стати нам тут разных людей знать? Затем все обезлюдело, и весь «Элизабет» снова стал казаться чужеродным монолитом.

Ну хорошо, я сделал все, что мог. Во всяком случае, больше, чем все сослуживцы пропавшего человека. Даже угодил, пусть ненадолго, в клаустрофобическую ловушку! Не ломать же дверь, в самом деле! Пусть соответствующие органы ломают. Можно отправляться домой с чистой совестью, по дороге подумать об отчуждении человека в современном пространстве, вообще обо всем этом гнусном экзистенциализме. Оправданий у меня набралось немало, и я отправился домой. Автомобиль со свойственным этой марке спокойствием продолжал меня ждать, мигали передние и задние габаритки. Уже почти отчалив, я подумал, что эти таунхаусы могут иметь и вторые двери, выходящие не во двор, а на параллельную улицу.

Эта параллельная улица принадлежала к числу тех, что не рекомендуется посещать. В Америке так нередко происходит: одна улица еще считается «приличной», а следующую уже не рекомендуется посещать. Я поехал и увидел, что там на углу стоит компания в пестрых штанах и в бейсболках козырьками назад. Ну понятно, порошками счастья торгуют. Сетчатый забор ограждал полуразвалившиеся хибары. Перекосившись, висела ржавая вывеска «Fich». Так выглядела трущобная сторона этой улицы, тогда как «приличная» ее сторона представляла из себя, я был прав, линию таунхаусов кондоминиума «Элизабет» с отдельными выходами. Я медленно поехал вдоль этого ряда, сверяя номера: В-104А, В-105А, В-106А, В-107-А... Дверь В-108А была приоткрыта! Я выскочил из машины и бросился было к двери, но тут благоразумно передернулись подколенные сухожилия. Кацнельсона нет уже несколько недель, а дверь в его квартиру приоткрыта! Нет, я не могу перешагнуть через этот порог! Во-пер-

вых, нельзя входить без полиции, во-вторых, нервнишки надо пожалеть, мало ли что там можно увидеть.

Из соседней двери под номером В-109А в это время вышел молодой человек. «Простите, вы давно не видели Джина Нельсона?» — спросил я. Молодой человек наморщил лысеющий лоб, пружинисто покачался на спортивных ножках — он, видно, собрался бежать. «А кто это, Джин Нельсон?» — «Да это же ваш сосед, ваш “некстдор” все-таки, вот отсюда!» — голос мой, видимо, как-то неестественно взлетел. Молодой человек чуточку поморщился, стрельнул глазом на свои черные часы с желтыми кнопками, обескураженно промычал: «Спасибо, что сказали. Я его имени не знал. А что случилось?» Я объяснил, что сосед пропал, а дверь вот приоткрыта, не замечал ли он сквозь юношескую рассеянность чего-нибудь странного, извините за беспокойство. Он взял себя левой рукой за лодыжку левой ноги, прижал ее пяткой к ягодице, правую руку положил на затылок и растянулся с удивившим нас обоим сильным хрустом. «Прошу прощения за растяжку мышц, это у меня автоматически. Между прочим, давно уже замечаю, что эта дверь, слева от меня, приоткрыта». — «Как давно?» — «Ну, не менее двух недель, сэр, если не все три». С этими словами он резво взял со старта, мгновенно пробежал мимо «торговцев счастьем» и завернул за угол в сторону «приличных» улиц. Я остался перед дверью, которая зияла мраком, как лаз в пирамиду.

Не сразу я сообразил позвонить 911 и в «Конституцию», и, звоня, я как-то мямлил, видимо, оттого, что не понимал своей роли во всей этой истории. Минут через пятнадцать все приехали почти одновременно, менты и коллеги по наблюдению за тиранией: В. Вале-

рианов, Кларисса Соновна, Монтассар Бдар и, конечно, вездесущая Агриппина. Эта последняя больше всех суежилась, совалась к ментам, что-то все объясняла про Женькину «нестабильность».

Полиция выслушала всех внимательно, но без интереса. Потом стали бочком входить в квартиру, держа пистолеты обеими руками над головой. Не прошло и десяти минут, как они вернулись и теперь дверь уже открыли спокойно, настезь. Никаких следов преступления не обнаружено. Вообще ничего не обнаружено, кроме легкого слоя пыли. Вот вам контактный телефон, ледис энд джентльмен, давайте держать связь. В ближайшие дни мы почти наверняка сумеем ответить на ваши вопросы. В Соединенных Штатах восемьдесят семь процентов пропавших людей так или иначе обнаруживаются.

Я забыл сказать, что все это происходило осенью. Парки багровели и зазимонивались. Все четче выявлялась конфигурация листьев, резьба свекольного колорита, густел коньяк в дубовых сумерках, начинали просвечивать не только бронхиальные пучки, но и альвеолы щедрой, чтобы не сказать, величественно-поднебесной, среднеатлантической флоры. Прохожие со свойственным этому сорту публики легкомыслием уже успели забыть изнурительную парилку летних месяцев и теперь живо завязывали кто что: романчики ли, делишки ли по недвижимости, получая удовольствие от быстро вечеряющих прохладных небес и от своих еще легких плащей вкупе с уже теплыми шарфами. Пришла, словом, здешняя благодать, которая может в иной год длиться много недель и которой не мешают даже политически-сексуальные скандалы на Холме.

В один из таких вечеров я зашел в книжный магазин-кафе, чтобы выпить капучино и полистать литературное обозрение. Тут меня окликнули на русский манер, то есть по имени и отчеству. За спиной у меня стоял большой мужик с растафарианскими букаями полуседых волос, с мясистым носом, что мог бы доминировать во всем его мрачно-застойном облике, если бы не тонкого серебра серьга в левом ухе, а она в этот момент, оказавшись случайно на фоне окна с отторевшим и зеленеющим небом, как бы дзинькала: не гони прочь!

«А я за вами шел, не решался окликнуть. Думал, не узнаете. Ну, узнаёшь?» Конечно, я узнал его. Человек-москвич со странной фамилией. Искусствовед и историк искусства.

Вот именно, Александр Дегусто, Алик. Встречались всего лишь лет двадцать назад. Я протянул ему руку. Не пожав ее, он присел к моему столу и дружески улыбнулся: «Как я рад тебя видеть, не помню, на “ты” мы были или на “вы”. Вы не поверите, я собирался вам позвонить и не решался. И вдруг вижу, ты идешь. Я слышал, ты ищешь Женьку Кацнельсона, а я как раз приехал его повидать из Нью-Йорка. Ну да, я видел его всего лишь час назад. Ничего утешительного. Умирает. Ну да, он в Сибли-госпитал, в реанимации. Ну да, вы же понимаете, вы же знаете историю нашей компании. Не знаешь? Ну, в общем, у него Эйдс в последней стадии. По-русски говоря, спид на высшей скорости...»

Такая простая история. Мы взяли бутылку вина. Окно, как далекое море, теперь лиловело. «Сполна. За все отвечаешь, чем жил ты, / Чем бы на Земле опьянен», — так пел гитарист черно-желтый в кафе возле Круга Дюпон.

Мы все были из московской «голубой дивизии», и в середине семидесятых все решили эмигрировать, рассказывал Дегусто. Больше не могли терпеть унижений со стороны тех гадских «правоохранительных органов». Уголовная статья давала возможность мусорам сунуть любого из нас за решетку. А ты знаешь, что ждет «гомика» в лагерях? Групповые изнасилования грязными подонками, которым все равно, что трахать — козу, человека или телеграфный столб.

Все эти наши тайные сборища, чтения Кузмина, выставки сомовских или «подсомовских» гравюр, какая-нибудь контрабандная кассета, когда все позорно вздрагивают от каждого звука в дверях. Между тем мы прекрасно знали, что в Штатах идет все нарастающий праздник нашей культуры. Конечно, если бы не появилась возможность драпа, все и дальше терпели бы, но она вдруг появилась, и тогда семь человек, самых близких друзей и любовников, решились и подали заявления на израильские визы. У всех, конечно, обнаружались еврейские родственники, даже у русских аристократов, ну ты знаешь, о ком я говорю. Нет, не знаешь? Ну, Юрка Луденищев-Кутузов, ну, Витасик Трещокин-Саранцев, ну, Борька Греджий-Стержень.. Разве ты не знал, что они были голубыми? А я-то думал, все о нас всё знают.

Мы съехались в Нью-Йорке в самый разгар «гей-карнавала» в семьдесят восьмом. Все знали, что нас ждет свобода, но все-таки не предполагали, что такая феерическая! Это было состояние какого-то бесконечного восторга. Я просыпался каждое утро с восторгом и с ним же и засыпал, если я вообще спал в то время. Фактически я ебался с восторгом, вступал с ним в совокупление с утра до ночи и обратно. Какие бы личные он на себя ни надевал, это был только восторг,

и мы с ним еблись. Понимаешь, старик? Ну и хорошо, что не понимаешь.

Нас встретили как героев и таскали из города в город, с берега на берег, Элэй и Сан-Франциско, Чикаго, Ньюорлин, летом Кэйп-Код и Сауткэмптон, зимой Ки-Уэст, и вокруг были одни наши! Наши! Наши!

Так прошел год и еще год, что ли, а потом мы как-то, поначалу незаметно для самих себя, стали обособляться от ликующих гейских масс. Вдруг нам стало что-то претить в этом голубом море разлитом. Очень уж массовым оказалось движение. В Москве и в Питере гомосексуализм был как бы признаком утонченности, мы чувствовали себя элитой, а здесь вдруг оказались среди гогочущих приказчиков, орущих на весь бар, кто кому мощнее в кишку вставил. Фестивали эти с играющими ягодицами, со свисающими из промежностей кошачьими хвостами стали нам казаться вульгарными. Кто-то из компании, может быть как раз Женька, однажды сказал: а не кажется ли вам, ребята, что из этих «10 процентов» (тогда говорили, что 10 процентов населения явные или латентные геи) большинство — вовсе не настоящие голубые, что это просто тут мода распространилась среди деревенщины?

Вот парадокс из парадоксов: мы вдруг стали вспоминать наши тайные сборища в Союзе с почти исторической ностальгией. Как читали когда-то, будто великое таинство совершали: «Твой нежный взор, лукавый и манящий, — / Как милый вздор комедии звенящей, / Иль Мариво капризное перо. / Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий / Мне кружит ум, как “Свадьба Фигаро”»

Ведь мы себя считали как бы возрожденцами Серебряного века, тех славных российских голубых —

Кузмина, Нуведя, Сомова, Дягилева... И какими бы бухими ни были после советской алкогольной гадости, присягали «нежности мира», «эротическому умилению», «последней пленительности»... Мечтали о бегстве, повторяя нашего кумира: «Ежеминутно умирая, увижу ль новый Арион?» И вот увидели самый что ни на есть новейший Арион, на его берегах приплясывающие толпы с политическими лозунгами.

Мы стали избегать разных массовых вакханалий, однако было уже поздно, нам уже было не выбраться из того, что здесь, в Америке, называется противным словом «промискьюити». Ну а потом тот сучий потрох, тот квебекуа, ну тот стюард с Эр Франс, прилетел в Сан-Франциско с новой заразой в корме и на передке. Пока его самолет стоял, то есть в течение двенадцати часов, он успел перетрахаться с четырнадцатью ребятами. Ты, наверное, читал об этом? Фантастика, неужели не читал и ничего не слышал? А нам-то казалось, что весь мир потрясен крушением «альтернативного образа жизни»!

В общем, через пару-тройку лет после первого появления Эйдс в Америке наша московская компания тоже стала вымирать. Сначала мы пытались разбиться на пары — Женьке и Витасику это было легче, чем другим, между ними давно была настоящая любовь, — однако вирус, должно быть, давно уже гулял в нашем кругу. Сначала ушел Марк Туманцев, потом Борис, потом Юрий... Год назад Женька потерял Витасика, а теперь вот пришла и его очередь. Через несколько дней я останусь один...

Конец этой истории он рассказывал уже на улице, пока мы шли по Коннектикут-авеню в сторону светящейся стенки агентства «Американ экспресс» с его

подчеркнуто красной линией голубым на все времена обещанием. Где-то там Алик Дегусто оставил свою машину. Завернувшийся в перуанское пончо, с трубкой в зубах, со свисающими колбасками нелепо закрученных волос, он действительно как бы представлял «альтернативный образ жизни», в отличие от Кацнельсона с его обычной внешностью. Обычной, если не присмотреться. Никто, впрочем, и не присматривался.

Конец этого спокойного и даже как бы слегка отрететированного рассказа почему-то поразил меня меньше, чем первое откровение. Дегусто, кажется, это заметил и с недоумением посмотрел.

«Как же получилось, что Женя пропал, а дверь осталась открытой?» — спросил я.

«Он сюда переехал из-за Витасика, — издали начал объяснять Дегусто. — Тот получил работу в Федеральном почтовом ведомстве, а Женьке удалось зацепиться за “Конституцию”. Ну а потом остался тут совсем один и стал умирать в одиночку. В тот день, когда ему стало совсем плохо, он не нашел ничего лучшего, как позвонить мне в Нью-Йорк. И я тогда вызвал вашингтонскую “неотложку”. Вот и все».

«Вот и все, вот и все», — несколько раз повторил он на ходу, и опять мне показалось, что присутствует какая-то отрететированность, чтобы не сказать театральщина, хотя какой уж тут театр, если действительно «дышат почва и судьба». Тут Дегусто встрепенулся: «Что касается двери, не знаю, почему она осталась приоткрытой. Может быть, парамедики забыли прихлопнуть».

Он продиктовал мне номер телефона, по которому можно позвонить Кацнельсону. Как и полагается в американских госпиталях, у умирающего был свой телефон возле кровати. Умирающим, скажет админист-

рация, телефон нужнее, чем выздоравливающим: следует привести в порядок финансовые дела, сделать немало распоряжений.

Затем мы стали прощаться с Дегусто. Он поклонился, как бы подчеркивая, что мы с ним все-таки не перешли на «ты». Я протянул ему руку. Он с промелькнувшей улыбкой уклонился от рукопожатия. Я вспомнил вдруг, что и Женька задолго до своего исчезновения стал как-то странно уклоняться от этих ладонных ритуалов. Догадка, видимо, как-то по-дурацки отразилась на моем лице. Дегусто усмехнулся: «Да-да, я тоже, хотя еще не в той стадии, что называется болезнью. В общем, “эйч-ай-ви-позитив”, ну с вирусом, понимаете?»

«Ну конечно, понимаю! — воскликнул тут я. — Однако, Алик, ведь это не имеет значения, ведь это же...» Тут я осекся, едва не выговорив бестактность. Рука моя все еще висела в пространстве между моим плащом и его пончо.

«Да-да, это не передается через рукопожатие, — сказал он и с любезным поворотом корпуса пошел было прочь, однако, сделав один шаг, задержался. — Я хочу вам сказать одну вещь... может быть, это покажется клише... но мне все-таки хочется это сказать вам...»

Я увидел, что он очень волнуется, едва ли не до перехвата дыхания. Я клял себя за то, что как-то неправильно с ним общался, какими-то неверными интонациями не позволил ему завершить беседу в его собственном, пусть слегка театральном тоне, а вынудил к этим многоточиям и перехвату дыхания.

«Я просто хотел сказать, что при всем трагизме... ну... мы заслуживаем всего, что угодно, но только не жалости... Мы, может быть, счастья видели больше, чем другие... ну ты, наверное, это уже сто раз слышал...»

Я кивал, ничего не говоря, хотя никогда ничего подобного не слышал. Наконец мы разошлись, предварительно все же хлопнув друг друга по плечу.

Иной неловкий разговор аукается потом целую неделю, и не содержанием своим, а именно неловкостью. Расставшись с Дегусто, я все время как-то передегивался и почему-то совсем не думал о трагическом конце этой компании, которая сбежала из тюрьмы, обрела свободу, а потом этой же свободой и была убита. К этой неловкости прибавилась и другая, быть может, еще более паршивая. Дома я набрал номер в госпитале. Немедленно ответил Кацнельсон. «Да», — сказал он по-русски. Голос его был слаб и сопровождался сильными хрипами. Я не знал, что сказать и как сказать. Выбрал самое глупое, наигранную бодрость: «Куда же ты пропал, Женька?» После паузы он еле слышно произнес: «Да, я пропал, пропал...» Хрипы, еще одна пауза и после этого чуть громче: «Прости, меня тут к дыхательной машине подключили».

Жена взяла у меня трубку и спросила: «Чего ты хочешь, Женя?» Выслушав его, она продолжила разговор: «Мучных? Гречневых? Картофельных? Вот и хорошо, я тебе завтра их принесу». Повесив трубку, она пояснила: «Он блинчиков хочет».

Блок, умирая, мечтал о вине. Женя Кацнельсон о блинчиках. Он еще успел их попробовать, даже съел парочку, а потом забылся среди реанимационных трубок.

Спустя неделю после церемонии в стандартном, а значит, очень чистом и приличном похоронном доме мне снова случилось быть в районе площади Дюпон, и там я увидел одинокого ирландского сеттера. Были сумерки, все, казалось бы, должно было молчать и грус-

тить, а все, наоборот, трубило на все голоса. Музыка и сводки новостей долетали из машин, переключались велосипедисты и роликобежцы, возле фонтана бравурно играл негритянский диксиленд. Грустил, кажется, только сеттер. Крупный, почти медной рыжины, он сидел под фонарем, провожал глазами прохожих и перелетающих от скамьи к скамье голубей.

Я подумал, что, пока искали Кацнельсона, никто не вспомнил о его сеттере по имени Михаил. Может быть, это как раз он оставил полуоткрытой дверь, когда бросился догонять увозимого навсегда хозяина? «Михаил! — позвал я, сел на скамью и пригласил его рукой: — Поди сюда, Михаил!» Пес спокойно приблизился и сел передо мной, глядя мне в лицо. Ничего нет съестного с собой, кроме двух бананов. Я очистил бананы, и он их спокойно съел. Я хотел посмотреть его жетон на ошейнике, но он от этого решительно уклонился.

«Я знал твоего хозяина, Михаил», — сказал я. Он смотрел на меня. К сожалению, я лишен дара человеческой речи, чтобы вам ответить, казалось, говорили его глаза. Иначе я бы дал вам знать, что вы принимаете меня за кого-то другого. «Может быть, пойдешь со мной?» Я встал, воображая, как будет потрясен мой собственный пес, когда я приду с Михаилом.

Он не двинулся с места, хотя долго провожал меня взглядом. Что ж, такой красивый пес не пропадет в городе, где столько ирландцев и где активно действуют общества, покровительствующие животным. Если только не угодит под машину. Вот именно, если только не будет приходить сюда каждый вечер, в час пик, и ждать, когда после соло кларнета на площади Дюпон появится его пропавший хозяин.

X

ИВАН

В 1938 году Иван Иванович...
матер у добрих людей...
Татар, Эрик Николасович, Иван...

Вот тогда было...
Самостоятельно...
Иван Иванович...

В 1939 году...
Иван Иванович...

Летом 1988 года подобралась неплохая компания на острове Шелтер у побережья штата Нью-Йорк: Нисневичи Лев и Тамара, Эрик Неизвестный, Вася Аксенов, его спаниель Ушик, жена Васи Майя и ее внук, калифорниец Иван Трунин.

Ему тогда было шестнадцать лет. Он вообще-то скептически относился к Восточному побережью Соединенных Штатов. В возрасте двенадцати лет он как-то приехал вместе со своей мамой Аленой к нам в Вашингтон зимой, посмотрел на хмурое небо и осведомился, есть ли в этом городе какие-нибудь *recreational facilities*, то есть «оздоровительные услуги». Помнится, я спросил его, что он имеет в виду. «Ну, море здесь есть?» — спросил он и вздохнул, узнав, что океан находится в трех часах езды.

В 1988-м, направляясь прямо на берег Атлантики, он привез с собой из Лос-Анджелеса свой *surf-board*, доску для занятия серфингом. Опять разочарование: оказалось, что на острове нет пляжей с постоянным накалом прибоя. Чем же тут заняться шестнадцатилетнему рыцарю волн? Осмотревшись, он все-таки нашел кое-что, достойное внимания: *wind-surfing!* Без долгих раздумий он завладел одним плавательным средством с парусом. «А ты, Ванятка, вообще-то уже плавал на них?» — по-

интересовались мы. «Не волнуйтесь», — улыбнулся он и тут же поплыл.

Шелтер-Айленд лежит между двумя челюстями Лонг-Айленда, словно утка в пасти крокодила. Каждые пятнадцать минут туда ходит паром, однако местные жители чувствуют себя основательно оторванными от большой земли. Местные подростки, во всяком случае, были глубоко впечатлены прибытием юного калифорнийца. Они внимательно смотрели, как он какими-то особыми, «знаковыми» жестами обкручивает свитер вокруг своих чресел, как завязывает бандану на лбу. И тогда, и позднее меня удивляла Ванина способность быстро сходиться со своими сверстниками. Три сына поляка, хозяина нашего затрапезного курорта, Пол, Джон и Вик, тут же приняли Айвана (так называют тут Иванов) в свою компанию, пятнадцатилетние девочки стайками зачастили на наш пляж. Со своей стопроцентной славянской кровью Ваня выглядел как чистый янки, длинный, белокурый, розовощекий, словом — то, что здесь называют *golden boy*.

Мы видим, что он все дальше уходит от берега на своей доске с парусом. Иной раз поворачивает к нам хохочущую от счастья физиономию. Вот он на середине пролива. Лица уже не различишь, но похоже, что ему там приходится круто. Он борется с парусом, с трудом удерживает равновесие. Парус падает, Иван оказывается в воде, однако выкарабкивается на доску, подтягивает парус в вертикальное положение и уходит все дальше. Теперь мы видим только маленькую фигурку, натягивающую канат. Его уносит все дальше к горловине пролива, за которой масса воды теряет зеленоватое прибрежное сослагательное наклонение

и приобретает темно-синий с белыми гребнями императив: там идет океанский поток.

Майи, к счастью, в это время не было на пляже. Еще к большому счастью, в это время там появились наши поляки Пол, Джон и Вик. Они прыгнули в скоростной катер и помчались на выручку. Похоже было на то, что они перехватили Ивана в самый нужный момент. История эта, впрочем, нисколько не уменьшила его интереса к виндсерфингу. Через несколько дней он освоил искусство управления парусом и спокойно циркулировал по зеленой воде, всякий раз, однако, подплывая слишком близко к воде темно-синей.

Он уехал из СССР вместе с нами в восьмилетнем возрасте. В Штатах семья разделилась. Алена с сыном и ее муж Виталий Гринберг оказались в Сизтле. Когда говорят об эмигрантском «культурном шоке», чаще всего имеют в виду взрослое население. Маленьких, очевидно, стресс бьет сильнее. Можно только представить, что испытывал восьмилетний советский ребенок, оказавшись среди чужой культуры и чужого языка. Больше полугода Ваня не мог произнести ни одной английской фразы. Он все сидел перед телевизором и, как тогда говорили, «до посинения» смотрел все, что предлагалось: мультяшки, мыльные оперы, сводки новостей и рекламы, рекламы, рекламы.

Как-то раз Алена отвезла его к знакомым американцам, а сама на несколько часов отлучилась. Вернувшись за ним, она не без опаски спросила: «Как тут мой молчун?» Оказалось, что «молчун» все это время болтал без умолку. По-каковски, позвольте спросить. По-нашенски, ответили друзья. По-другому мы не можем.

Так началось стремительное внедрение Ивана в американскую культуру. К подростковому возрасту, то есть к тому, что здесь называют teens (от 13-ти до 19-ти), он уже был настоящим калифорнийским teepager'ом. Они тогда уже переместились к югу, в вечно благоухающий грейпфрутами и бензином Лос-Анджелес. Важнейшие вехи американского взросления записаны на трех досках: skate-board (доска на колесиках), surf-board (уже упомянута) и snow-board (доска для спуска с горных круч).

В начале перестройки, когда приоткрылись советские границы, в Эл-Эй приехал Ванин отец, писатель Вадим Трунин. Он тогда плохо себя чувствовал и, конечно, нервничал в ожидании сына, когда сидел с Аленой в гостиной, землистого цвета, основательно отекающий, с разрушенными зубами. Затем в квартиру въехал на роликовых коньках уже тогда огромный мальчик, источавший, казалось, все калифорнийское солнце. «Боже! — воскликнул Вадим. — Да ты просто инопланетянин!»

Я знал Вадима еще с тех времен, когда он несколько лет спустя после моего дебюта появился в журнале «Юность» со своими первыми рассказами. Молодой, легкий на ногу человек с веселыми глазами. Помнится, мы познакомились во дворе возле памятника Толстому и обменялись, как тогда было принято в молодой литсреде, комплиментами. «Старик, — сказал я ему в катаевской манере, — у вас крепкое перо, старик!»

Позднее Вадим полностью ушел — не хочется говорить: погряз — в кино. Не хочется, потому что и в кино у него были блистательные удачи, например «Белорусский вокзал», снятый Андреем Смирновым. До-

сально то, что Вадима, как и многих других, как и меня самого в свое время, засосала специфическая киношная ботема, в которой без водки творческий разговор не начинался. Там он утратил свою изначальную легкую походку.

Вот эта легкость, свежесть и свобода сейчас излучались при каждом движении «инопланетянина» Ваньки. Они были очень похожи, и я не раз, глядя на подростка, вспоминал появление его молодого отца.

Следующей вехой американского воспитания Ивана стал, как многие, очевидно, догадались, мотоцикл. Лавировать в бесконечных потоках машин, оседлав металлического льва, — это ли не наслаждение? Чтобы отбить у мальчика охоту к этим опасным делам, Алена купила ему огромный старый автомобиль, но и на нем он умудрялся лавировать, да еще и по пересеченной местности.

Параллельно с океаном в жизнь Вани вступили могучие отроги Скалистых гор. Калифорния так устроена, что в ней можно в один и тот же день прокатиться на волне и спуститься со снежной горы. Ваня стал первоклассным лыжником и сноу-бордистом. Те, кто видел его спуски, говорят, что от них дух захватывало. Мне не пришлось, но я помню один его рассказ, посвященный лыжникам, там, среди ослепительной белизны, царили все те же легкость и свобода.

Я пишу сейчас о спортивных делах для того, чтобы подчеркнуть две стороны Ваниного характера. Во-первых, он был настоящим атлетом, причем атлетом-одиночкой; групповые виды спорта ему не нравились. Во-вторых, он был человеком исключительной спелости. У него, похоже, не очень-то сильно был развит

инстинкт самосохранения. Скорость, резкие повороты и снова скорость — вот что стало для него апофеозом жизни. Интересно, что в раннем детстве он страдал аллергической астмой. Последствия этой болезни у него остались на всю жизнь, но они ни в малой степени не повлияли ни на его общительность, ни на его атлетизм.

Дети, попадая в Америку, обычно влюбляются в эту страну, может быть, еще и потому, что в американской культуре вообще много детского. Опоздай Ваня года на четыре, и ему было бы труднее адаптироваться. Эмигрантские подростки обычно проходят через трудный период сознательного и подсознательного противостояния. Они чураются американских сверстников, стараются держаться вместе, говорят по-русски, играют не в американский «плечевой», а в свой родной «ножной» футбол. Ваня к подростковому возрасту был уже настоящим американцем, и все его друзья были американцы. Вместе со своими друзьями он проходил через все фазы очарования молодежной субкультурой, а потом и через фазу переоценки культуры, как в ее массовом, так и в элитарном варианте. Сначала были герои комиксов. Электронным играм тоже была отдана должная дань. В тинейджерстве он был, конечно, захвачен стихией рок-н-ролла. Кумирами их компании были уже немолодые Grateful Dead. На одном из их gigs Ване удалось подойти к нему, к самому Джерри Гарсиа, этому преждевременно постаревшему идолу молодежи. Поскребывая в своей дед-морозовской бороде, идол уделил мальчишке не менее пятнадцати минут для серьезного разговора. О чем? Обо всем! О музыке, о мире, о проблемах!

В этот период раннего юношества не остался Ваня в стороне и от повальной кампании «политической корректности». Помнится, когда ему было лет шестнадцать, зашел за столом разговор об индейцах. Он сказал, что они в классе изучают их великую культуру. Я поинтересовался, о каких индейцах он говорит, об инках, ацтеках и майя или о североамериканских кочевниках. Оказалось, что он имеет в виду именно северных, то есть сиу, апачей, навахо и т.д. Вообще-то кочевые народы не отличаются большими культурными достижениями, сказал я. Культура все-таки возникала в городах, под защитой крепостей. Мальчик вдруг страшно разозлился, глаза у него сузились, а нос покраснел. «Ты, Вася, ты... — начал он дрожащим голосом и выпалил: — Ты просто старая гадина!» Обидевшись, я покинул семейный стол.

Бабушка Майя стала тогда его упрекать: «Как же, Ваняточка, ты мог такое сказать Васе?» Он был смущен. Оказалось, что он не особенно четко представлял, что означает русская «гадина». Он просто сделал прямой перевод слова *сгеер*, а выражение *old сгеер* все-таки ближе к «старой зануде», чем к «гадине». Все-таки не так обидно. Даже совсем не обидно, если представить, что вкладывают в юные умы «политически корректные» преподаватели, «защитники» этнических меньшинств и противники «европоцентризма».

После школы Ванька начал накапливать настоящую что ни на есть джек-лондоновскую биографию. Он поступал в колледж, учился там год, а потом уходил на стройку или работал официантом, продавцом, велосипедным курьером, спасателем на льжных базах. Обычно он передвигался по стране вместе с группой сверстни-

ков, по большей части его друзей из юной калифорнийской компании. Все были большими любителями природы и не упускали случая переночевать у костра, где-нибудь на горном склоне, чтобы утром с разбегу бухнуться в ледяной ручей. Перебирая сейчас снимки того периода, мы видим обнявшихся за плечи хохочущих юнцов: Иван часто в центре, самый длинный и длинноволосый, явно душа общества.

Наиболее джек-лондоновский кусок его жизни связан с путешествием на Аляску. Сначала он отправился туда один, потом к нему присоединились Хэнк и Пит. Главным (внешним, по крайней мере) побуждением было желание заработать хорошие деньги, то есть, как в России говорят, догнать длинный рубль. На самом деле, очевидно, юнцы хотели проверить себя на прочность, изучить свои мужские качества. Аляскинский «рубль» оказался не ахти каким длинным, и зря его там никому не отстегивали. Сначала они работали на рыбоделочной фабрике, потом двое, Иван и Пит, записались матросами на траулер, а третий, Хэнк, отправился домой — не выдержал. Хэнк пробыл на корабле месяц.

Более полугода Иван провел в открытом море, а именно в Беринговом море, вечно штормовом, холодном и опасном. Они поднимали трал, опорожняли его на палубу, разбирали рыбу и снова опускали трал в воду. Смены продолжались по 12 часов. Потом отправлялись в кубрик и валялись на койки в полной отключке. Однажды Иван проснулся в ужасе. Ему показалось, что вся палуба в кубрике покрыта подпрыгивающей рыбой. Он слетел со своего второго яруса и стал пытаться разобраться в этой рыбе — то ли выбросить ее в коридор, то ли заставить убраться своим ходом. Распах-

нула дверь, и сразу вся рыба пропала. Сосед по кубрику, опытный мариман, понимающе покачал башкой: «Что, рыбка приснилась? Это с каждым тут бывает вначале».

Зато какое блаженство охватывало ребят, когда после бесконечной качки судно заходило в Датч-Харбор на западном конце усика Алеутских островов. Все выглядело почти как в каком-нибудь вестерне, но только они были участниками, а не зрителями.

В свое время я много общался с моряками и знаю, что после долгих рейсов они нередко совершают безрассудные поступки. Один мой приятель после года в море увидел на экране питерского телевидения диктора, тут же помчался в студию и сложил к ногам изумленной дамы все свои «длинные рубли». Иван такого себе не позволил. На львиную долю заработка он купил хороший спортивный автомобиль, но зато помчался на нем с такой скоростью, что угодил в тюрьму штата Невада. К счастью, удалось его оттуда вытащить с помощью многоопытного сутяги.

Признаться, уже тогда, глядя на авантюрного юнца, я думал, что он строит себе биографию настоящего американского писателя начала века. Я был почти уверен, что он начнет писать. И не ошибся.

Наши с ним литературные отношения имеют долгую историю. Году, кажется, в 1974-м, то есть когда Ване шел третий год, я приехал в Коктебель, где в литфондовском доме отдыхал Ваня со своими мамой и бабушкой. Я снял крошечную мазанку в деревне, неподалеку от «писателей». Ваня с бабушкой нередко меня посещали. Обычно он тут же находил себе занятие в саду, начинал что-то строить или копать, но тут вдруг

пристал: «Вася, иди сюда! Вася, давай играть!» Я тем временем сидел между моим сарайчиком и общим люфт-клозетом и строчил, положив альбом на затоваренную бочкотару. Появлялась Майя в очках и с книгой: «Ванюша, не мешай Васе! У тебя свои дела, у него свои дела!» И уводила мальчика за руку. Через некоторое время хитрая мордочка высывалась из-за угла: «Вася, у тебя свои дела? А у меня свои дела!» И с хохотом исчезала. У меня действительно были свои дела. Там под яблоней я заканчивал сочинение романа «Ожог».

Иван, как я понимаю, начал писать свои английские стихи еще в школе. Музыка русского стиха он, кажется, не улавливал, как и я не особенно улавливаю музыку современной американской лирики. Словом, он был молодым американцем, пишущим стихи. Таких немало. В свой первый студенческий год в Университете Джордж Мэйсон он стал ходить в поэтический кружок, где тон задавали изошренные старшекурсники Крис Нагл, Джеф Макдауэл и Брэдли Кук. У нашего фрешмена (салаги) с ними, кажется, произошел конфликт, — во всяком случае, именно оттуда, из «Мэйсона», он отправился на Аляску, то есть как Байрон в Грецию, устав от лондонских салонов.

Чтобы не упустить дальше эту идею, заметим сразу, что Ваня был настоящим байронитом. Если говорят, что этот образ разочарованного (и в то же время очарованного) молодого человека вышел сейчас в тираж, что нынче время молодых прагматиков, зарабатывающих миллионы на Интернете, что байронитов сейчас можно сосчитать по пальцам, тогда один из этих пальцев безусловно надо отдать молодому (теперь уже вечно молодому) поэту Ивану Трунину. Как бы серьезно

мы ни оценивали в скептическую минуту постмодернизма, я берусь утверждать, что без байронита литература теряет способность следующего шага. Куда направится этот шаг, трудно сказать, уж во всяком случае, не в зону энтропии.

Однажды, кажется в 1994 году, мы вдвоем с ним поехали в Чарльстон, Южная Каролина. Этот старинный город был основан гугенотами, переплывшими океан в конце XVII века. У меня к нему возникло влечение сродни тому, что я когда-то испытывал к Таллинну. Мы рулили по очереди и гнали в вечном потоке «Интерстейт-95» на юг. Без конца болтали то по-русски, то по-английски, перескакивали с темы на тему. Было такое ощущение, что он хочет переступить какую-то черту и подружиться по-настоящему, что соответствовало и моему желанию. По пути в какой-то закускойной он протянул мне пачку своих стихов. Меня поразили их трагический тон, столь мало соответствующий всему его улыбчивому и легкому образу. Грешен, я принял это за обычную мрачную экзальтацию молодого поэта. Я стал говорить с ним на профессиональный манер. Знаешь, Ваня, мне не хватает здесь примет времени и места, то есть хронотопа. Соедини свое чувство с миром, в котором мы живем, и, может быть, от этого оно станет еще ярче, возникнет твоя уникальная метафора. Он кивал, потом засунул пачку стихов в карман. Позднее я понял, что он не согласился с моим советом.

В Чарльстоне все гостиницы оказались битком забиты, шел какой-то праздник. В поисках ночлега мы уже глубокой ночью заехали на Фолли-Айленд. Там среди дюн нашелся убогий мотель, который нас при-

ютил. Комнаты, впрочем, были вполне пристойные. Мы провели там неделю, блуждая днем по пляжам, а вечерами по улочкам Чарльстона и болтая как два приятеля, несмотря на сорокалетнюю разницу в возрасте.

За год до этого чарльстонская округа сильно пострадала от урагана «Хьюго». Для ремонта разрушенных домов и коммуникаций в город съехалась бродячая рабочая сила, бородатое мужичье, которых здесь стали называть «хьюгонатс». В этом словечке был каламбур, оно напоминало и об отцах-основателях, французских гугенотах, и об урагане «Хьюго», а окончанием своим подчеркивало чудной, странный характер этой публики — в смысле «чокнутые».

Иван повадился в соседний бар играть на бильярде. Как-то я зашел туда за ним и нашел его в обществе «хьюгонатсов». Еще издали я увидел, что он с ними непринужденно болтает и хохочет и те в ответ хохочут и хлопают его по плечу. Один из них провел меня к бильярду и позвал: «Хей, Айван, тут твой дадди (то есть папаша) тебя ищет!» Очевидно, после Аляски и Берингова моря парень чувствовал себя своим среди «синих воротников», как здесь называют потеющих на работе трудящихся.

В тот вечер произошла забавная история. В старом Чарльстоне мы забрели в какой-то более-менее шикарный ресторан. «Знаешь, Вася, тут в меню лягушка полуизиански, — сказал Ваня с непритворным любопытством. — Ты не будешь возражать, если я ее попробую?»

Мне как-то приходилось есть жареные лягушачьи лапки. Ничего особенного, вполне съедобно, даже вкусно, похоже на хрустящих цыплят. Словом, я дал добро на этот эксперимент. Увы, то, что явилось, мало напоминало мой собственный опыт. Ивану принесли боль-

шой глиняный горшок с густой зеленой жижей. Покопавшись в ней вилкой, он вытащил здоровенный мосол, от которого тянулась длинная борода. Похоже было, что парня сразу слегка затошнило, однако он героически взялся глотать жабью конечность. Баста, вскричал я. Бежим скорей в «Макдональдс»! На бегу мы оба, дед и внук, начали нервно хохотать и долго не могли успокоиться.

«Чья будет эта лягушка? — спросил его я потом. — Кто ее опишет, я или ты?»

«Пиши ты», — великодушно предложил он.

«А по-моему, ты должен ее описать в своем будущем романе», — предложил я.

Лягушка эта так и осталась неописанной. Может быть, ее до сих пор подают в том шикарном ресторане.

Роман был упомянут не зря. Иван уже пробовал себя в прозе. Я читал несколько его рассказов. В них явно «что-то было»: детали, лексика, жест, стоящий за фразой. Особенно мне понравился упомянутый уже рассказ о трех горах, основанный на личном опыте спасателя. Там было вдохновенное и подробное описание снега, оно мне даже напомнило что-то подобное у Пильняка, которого Ваня, конечно, не читал, поскольку он почти не читал по-русски. Там были тени и острое ощущение высоты и прозрачного воздуха. Иногда мне казалось, что Иван постоянно тянется к чистому воздуху: быть может, сказывались детские воспоминания о приступах астмы.

Как-то в разговорах с ним мы сошлись на том, что ему, быть может, не хватает литературной среды. Где можно в Америке найти настоящую литературную среду, если не в Нью-Йорке? Я позвонил своему изда-

телю Питеру Осносу, который тогда был вице-президентом в огромном книжном доме «Рэндом Хаус». Тот пообещал найти Ване какую-нибудь работу и пригласил его к себе. Любая работа в этом издательстве приблизит тебя к литературе, убеждал я его. Ты окажешься в самом центре этой тусовки, все остальное будет зависеть от тебя самого и от твоего везения.

Иван отправился в «Большое яблоко» и навестил Питера в небоскребе на 50-й улице. После этого он уехал из Нью-Йорка, чтобы больше туда не возвращаться. Во всяком случае, в роли начинающего писателя. «Почему ваш Ваня не перезвонил?» — спрашивал Питер. Я не знал. Ваня на мои расспросы не ответил ничего вразумительного. Теперь я думаю, что ему просто было не по себе в Нью-Йорке: воздух там не отличался прозрачностью.

Роман у него подвигался нелегко, но подвигался. Иногда он посылал мне на прочтение куски. По своей работе в университете я знаю, что ребята часто начинают писать прозу, а между тем в голове-то прокручивается фильм. Не избежал этого современного соблазна (или ущерба?) и Ваня. То тут, то там угадывались киношные планы, однако наряду с этим появлялись уже и прозаически развивающиеся характеры. Особенно интересным для меня был его молодой герой, в котором угадывались черты некоего необайронита.

Стоит подумать тут о трансформации байронического типа в американском контексте, от Мартина Идена до героев «потерянного поколения», от них — к людям спонтанного джаза, к протестантам 60-х годов и к хиппи 70-х. В 80-е этот герой как бы выпадает из контекста, его место занимает бодренький прагматик-йаппи, и вот теперь, казалось мне, Ванькино поколение пытается нащупать его вновь.

С интересом я ожидал развития романа. В то время он часто звонил и задавал мне сугубо профессиональные вопросы о романной технике. Вдруг в романе стали происходить несколько обескураживающие неожиданности. Герой стал бледнеть, его оттесняли на периферию некие типы, словно сошедшие с экрана боевиков. Потом и это направление стало засыхать, возник какой-то новый полумистический сюжет, основанный на египетских мифах.

«Знаешь, Вася, что-то не получается у меня с романом», — признался он однажды по телефону уже из Сан-Франциско. Я стал его убеждать, что, начав роман, надо его обязательно кончить, иначе возникнет ощущение неудачи, а это может плохо отразиться на будущих проектах. Он соглашался со мной, но все реже и реже говорил о романе. Я все-таки был уверен, что в нем нарастает писательство. Он совсем молод и может (должен?) пройти через неудачи. Все это впоследствии будет востребовано необайронизмом,

К этому времени Ваня окончил Университет Боулдер-Колорадо и получил степень бакалавра по чрезвычайно дефицитной в современной Америке специальности историка. Это, конечно, шутка — с этим дипломом ребят-филологов нигде не ждут. Как они работали в студенческие годы официантами и продавцами, так ими и остались. Выпускники гуманитарных наук сталкиваются почти поголовно с полосой невостребованности. Чтобы перешагнуть эту полосу, надо сильно напрячься. Ощущение пустоты и одиночества доминирует во многих Ваниных стихах. Возможно, оно зародилось именно в этот период.

Волк, мой друг,
Стоит на перекрестке.
Россыпь звезд
Мерцает в шерсти серой, жесткой.
Мечта раздирает глотку¹.

К этому же периоду относится и серьезная любовная драма.

Три года Ваня и его сокурсница, полунемка, полуамериканка, тоненькая и нервная Каролина, были неразлучны. Потом все стало разваливаться по никому, и прежде всего им самим, не понятным причинам. По всей вероятности, он никогда не прекращал ее любить. Одно из лучших стихотворений было вдохновлено именно этой девушкой:

Она мой последний варяжский корабль.
Она торопится к ныряльщику в объятья.
Я поднимаю ее на своих плечах...
Моя возлюбленная, о да,
она — это все, чем я обладаю,
что считаю лучшим в себе.
Мое сокровище, которое промотаю.
Сердце от любви распарывается по швам,
и не приметаешь.
Но я осмелюсь, да, я осмелюсь
этот корабль за собой вести...

И она призналась, когда мы в августе 99-го собрались оплакивать Ваню, что никогда не переставала его любить. Быть может, беда бы не стряслась, если бы они не расстались.

¹ Поэтический перевод здесь и далее во вступительном слове Инги Кузнецовой.

Он стал время от времени появляться в России. Не уверен, что он чувствовал с ней прямую связь, все-таки он прежде всего был молодым американцем, однако Россия все чаще проявляется в сумрачной живописи его стихов:

московский день за моим окном
 на шторм надвигающийся похож
 я не буквально это просто чувство
 темно как в пять часов утра такой
 густой
 и мрачный воздух
 и вечно ждет опасности как будто
 на сердце камень в тридцать фунтов весом
 в России каждый выглядит печальным
 под этим камнем сдавлен похоронен

Жесткий контраст миру его детства и ранней юности в солнечной Калифорнии — постсоветская нищая Москва. Однажды мы пошли с ним от нашего дома на Котельниках через полуразрушенную Солянку в сторону Китай-города. Смердящие нечистотами подъезды, зияющие провалы подвалов, искореженные решетки ворот — так все это тогда выглядело. В то же время чувствовался как бы нарастающий ритм огромного города. Возле метро вокруг коммерческих киосков кишела толпа. Среди людей, придавленных унылым прошлым и ошеломляюще непонятным настоящим, время от времени мелькали иные лица, исполненные дерзости или беззаботности, что было в те времена, может быть, дерзейшим вызовом. Кто-то проскальзывал на роликовых коньках, какая-нибудь пара самозабвенно целовалась, девушки, перед тем как прыгнуть в троллейбус, бросали на Ваню заинтересованные взгляды.

ды. В подземных переходах играли нищие музыканты. «Священный Байкал» сменялся песенкой Армстронга, через десять шагов наплывала Ave Maria. Мы говорили о специфическом московском урбанизме, о множестве тайн, гнездящихся в этих нечистых кварталах, о неожиданностях, которые подстерегают здесь за каждым углом.

Со стороны Варварки (тогда — улица Степана Разина) мы вошли в полуразрушенный Аптраксин двор. До революции там были богатые торговые ряды, большевики повесили тут пудовые замки и наглухо закрылись: ходили слухи, что там был выход кремлевского тайного метро. Во всяком случае, в центре огромного внутреннего пространства мы увидели заброшенную шахту.

Мы шли по кавернозным галереям, напоминавшим какую-нибудь голливудскую антиутопию о временах будущего гниения и распада. Было пусто, только вороны копошились под сводами. Иван оглядывал все это с большим интересом и иногда бормотал: «Классно!» Где-то он подцепил это словечко и теперь постоянно им пользовался. Вдруг мы увидели юную девушку в джинсах. Она сидела с книжкой, опершись на полуобвалившуюся кирпичную кладку. Мы поздоровались. Она смущенно кивнула. «Вы тут одна?» — спросил Иван, то есть сразу по делу. Она покачала головой: «Нет, вон там наши стоят». В стороне кучковались длинноволосые ребята и девочки с раскрашенной в разные цвета короткой стрижкой. «А кто вы?» — спросил Иван. Девушка улыбнулась именно такой улыбкой, какую он впоследствии описал как единственно возможную в Москве: «улыбкой невинности». «Мы — хиппи». Я пошутил: «А это вот американский хиппи». Через не-

сколько минут Ваня уже был в середине группы. Там все улыбались улыбками невинности. Я прошел вперед, чтобы не мешать им общаться. Не исключаю, что эта встреча повлияла на появление таких строк:

...о, конечно, Москва не бесчувственна
к этому тяжкому свету
и гнету
к птицам, летящим в эти тенета

За три года до конца он вместе с двумя своими университетскими друзьями, Оливером Бюргельманом и Рубеном Салазаром, переехал в Сан-Франциско. Они сняли на троих маленький домик и стали там жить, три огромных бакалавра. Ваня со своими 1,92 по росту располагался в середине. Немного до него не дотянул фламандец Оливер. Колумбиец Рубен был выше двух метров. Когда эти «три товарища» (в сугубо ремарковском смысле) двигались вместе сверху вниз по горбатой сан-францисской улице, веселые и прямые (во всех смыслах), не избалованным девушкам этого города они, наверное, казались демиургами молодой мужественности.

Все три бакалавра нашли работу, подобающую их степеням: Оливер стал таксистом, Рубен велосипедным курьером, Иван как опытный горнолыжник устроился продавцом в лыжный магазин. Никто из них, впрочем, не собирался посвятить всю жизнь городской коммерции. Оливер сочинял рок-музыку. Рубен стремился к путешествиям: возможно, и в нем бродила уже писательская закваска. Иван все круче уходил в стихи, в восточную философию, в размышления о непостижимости жизни.

Сан-Франциско — город с основательной поэтической традицией. Здесь родилось beat generation. Еще в 50-е годы в здешних кафе дерзко декламировали Аллен Гинзбург, Грегори Корсо, Джек Керуак, Лоуренс Фирлингетти. С тех времен в городе осталось битниковское издательство City Lights. Альтернативщики тут никогда не выводились. Первые хиппи (самые крутые), а стало быть, и лирики рока зародились здесь в квартале Ashbury Heights. Через залив бурлил завиральными революционными идеями «Красный Беркли».

Все это создавало фон для необайронической ностальгии. Ваня начал читать свои стихи в поэтических кафе. В семье он никогда не говорил об этой стороне своей деятельности, хотя друзья, приехавшие с ним проститься, рассказывали нам, что он начинал пользоваться успехом. Снобистская аудитория обычно встречала незнакомого юношу скептическими улыбками, потом начинала прислушиваться и, наконец, подчинялась течению его мрачной лирики. Стихотворение «She is a last longship» («Она мой последний варяжский корабль») стало, так сказать, его «торговой маркой», а сам он уже слыл признанным непризнанным (до поры) поэтом: «Lo and behold, this is Ivan Trunin!»¹ Рукописи, впрочем, продолжали благополучно возвращаться из журналов. Ну что ж, это ведь тоже традиция: молодой писатель в Сан-Франциско получает отказы в журналах Восточного побережья, чтобы в один прекрасный день завоевать признание.

В первые десятилетия XX века американская интеллигенция была еще литературоцентрична. Множество молодых людей мечтали о литературной славе, хотели

¹ «Ба, да это же Иван Трунин!»

сказать новое слово, произвести сдвиг, были захвачены романтическим индивидуализмом. Теперь (пока что) все обстоит иначе. Прекрасно подготовленные выпускники бесчисленных писательских программ и мастерских вступают в литературу с уверенностью профессионалов, но без вызывающего романтизма. Ваня, человек будущего, в этом смысле принадлежал к прошлому, к временам Эзры Паунда, Хемингуэя и других безумных честолюбцев. В его литературном сознании доминировал образ полной независимости, тень одинокого поэта, говорящего с Богом и мирозданием.

Читатель этой книжки, конечно, сразу поймет, что он имеет дело с поэтом трагического мироощущения. Воля к жизни воспринимается им в шопенгауэровском ключе, то есть не является — как бы поточнее выразиться? — высшим проявлением жизни. Темы безотчетного страха, падения и разлома всего состава тела, словно предвещавшие судьбу:

Упав с седьмого этажа,
я сломан и разбит, —

мысль об изначальном зачатии жизни («я был так стар, я был грязь»), все это проходит, как судорога, через стихотворение «Пузырь» (шекспировские «пузыри земли») и судорогой передается читателю, чтобы далее завершиться трогательным и совершенно классическим шедевром:

И заключаю: какой бы грязи вы ни пожелали,
в конце концов Озирис будет меня судить.
Пожалуйста, опустите
немного любви, прикосновение милосердия,
вишенку добрых намерений

в чашку весов, и это
уравновесит мои поступки,
дарует искупление.

За год, или чуть больше, он оставил нам в Вашингтоне солидную пачку стихов. Последний раз, когда мы с ним говорили об этом, я опять пытался ему втолковать, что с профессиональной точки зрения его лирика будет звучать еще сильнее, если в ней появятся приметы времени и места. Его трагическую ноту я, повторяю, близоруко воспринимал как традиционную экзальтированность молодого поэта.

В конце концов, трудно найти настоящего поэта без трагической ноты. Поэты начинают прощаться с жизнью в шестнадцатилетнем возрасте, однако одни из них доживают до лауреатских седин, в то время как другие не доживают. Ваня грустно смотрел в окно, иногда кивал и произносил «может быть, может быть»...

В жизни он не был печальным Пьеро. Напротив, в нем иной раз можно было увидеть и Арлекина. Друзья обожали его, он был, по сути дела, душой большой сан-францисской компании. Девушки не обделяли его своим вниманием.

Года за два до конца он снял отдельную однокомнатную квартирку («студию», как здесь говорят) на седьмом этаже многоквартирного дома. Он признался Алене, что его стало немного тяготить шумное общество. Ему требовалось одиночество для стихов и медитации. Сейчас, конечно, думаешь, что, если бы он остался со всеми, он смог бы преодолеть какую-то свою неведомую нам беду. Как много этих «если бы» приходит сейчас в голову!

К этому времени он обзавелся домашним оракулом. Речь идет о книге китайской мудрости, которая назы-

вается «Йи Джинг» («Ветер перемен»). Считается, что она была создана чуть ли не пять тысяч лет назад для того, чтобы помочь людям находить правильные решения жизненных вопросов. Разумеется, в ней все построено на мистическом элементе, но к тому же она еще похожа на игру, так как снабжена и специальной системой для получения ответов. Книга эта очень популярна в Америке, и Иван, как тысячи других молодых людей, обращался к «Дорогому Оракулу» по разным своим — иногда сложным, а иногда очень простым — вопросам.

Переезд вовсе не означал, что он порвал со своей компанией. «Три товарища» по-прежнему были близки. Они часто встречались, бродили по городу, вместе появлялись на вечеринках. Нередко они устраивались на плоской крыше Ваниного дома, пили пиво, созерцали звезды и философствовали. Алена говорит, что он еще в детстве тяготел к крышам, но кто в детстве не торчал на верхотурах, воображая себя на мостике океанского корабля?

Та его последняя крыша имела одну страшноватую и гипнотическую деталь — узкую шахту для пожарной лестницы, завершающуюся бетонным дном. Если бы этот дом был сконструирован как-то иначе...

Осенью 1998 года Ваня вместе со своей любимой бабушкой, которую он всегда называл Маечкой, отправился в одно из самых своих захватывающих путешествий. Сначала они прибыли в Москву, а оттуда проследовали в Тель-Авив, в Иерусалим, в Галилею, на Голаны, на Красное море, в Эйлат, откуда Ваня с компанией англичан на автобусе поехал в Египет, к пирамидам Гизы.

Ваня вообще-то в своих медитациях и поэтических откровениях постоянно включал себя в контекст Древнего мира. Об этом говорят хотя бы следующие строки:

Мой сон дремуч, мой дух мутится,
я падаю на лапы, точно кот.

У него была своя эзотерическая религия, он, похоже, мечтал во время этого путешествия приблизиться к своему Богу и, кажется, наряду со жгучим интересом ко всему окружающему испытал некоторое разочарование сродни тому, что овладело Гоголем, когда тот достиг вожделенной Святой земли. Все дело, конечно, в огромном количестве быта, заполнившего Землю откровений. Турист вытесняет пилигрима. Море, у которого страдал апостол Иоанн, стало местом отдыха миллионов. И все-таки можно, сидя у этого моря, мысленно расставить вокруг себя свечки для медитаций и задать вопрос:

Почему моя планка не так высока,
как у стаи, взлетающей под облака.
Почему мы должны умереть
Есть ли смысл
видеть мир так, как мы, —
в настоящем, прошедшем и будущем времени —

и тогда он обратился за помощью к чему-то, что он называет «нежным милосердием».

Так или иначе, они были счастливы там вдвоем на Святой земле, и, конечно, ни ей, ни ему не приходило в голову, что меньше чем через год они предстанут перед крайним ужасом — концом его существования. Неизвестная нам буря, охватившая его 6 августа

1999 года, не оставила ему шанса подумать о «Маечке». Если бы он представил, какую муку придется испытать его близким, он, быть может, не прыгнул бы с крыши.

Ничто не предвещало трагедии. Последний год своей жизни Иван был полон планов и надежд. Он решил получить вторую академическую степень, так называемый MFA, что дало бы ему возможность претендовать на преподавательскую лицензию. С такой лицензией он мог преподавать английский в любой стране мира. Иными словами, поэт мечтал о путешествиях.

Для этой цели он записался в Сан-Францисский университет. Как все студенты, он должен был работать. Оставив за собой место в горнолыжном магазине «Любая гора», он пошел на канцелярскую работу в какой-то институт практической лингвистики. Куча дел, как мы видим, а помимо этого он еще стал «брат» японский. Метафизике явно пришлось потесниться в этом загруженном календаре.

По телефону он звучал бодро. Ему нравилось снова быть в университетской среде. Все как-то стало складываться неплохо. Финансовых трудностей он не испытывал. Дурными пристрастиями не страдал. Друзья были рядом. Редкие свободные дни он проводил в горах возле озера Тахо, съезжая на своем сноу-борде с головокружительных высот.

Быть может, если бы он жил рядом с семьей, мы бы почувствовали приближение опасности, но мы были далеко и ничего не почувствовали. Ни Оливер, ни Рубен, никто из многочисленных приятелей, ни девушки, с которыми у него были отношения, не испытывали (по отношению к нему) никаких дурных предчувствий.

Напротив, «Айван» считался сильным парнем, во всяком случае — сильнее других.

В последующие за самоубийством дни Алена из последних сил обзвонила всех, кто был с ним связан, проверила все его счета и звонки на его сотовом телефоне. Никаких признаков беды. Последний день его жизни вроде бы не предвещал ничего чрезвычайного. Днем был в банке, положил на свой счет очередной чек. Ближе к вечеру столкнулся на улице с девушкой из магазина «Любая гора». По ее свидетельству, он был спокоен и весел. Вечером вся лыжная компания собиралась встретиться в баре по поводу возвращения их менеджера Кевина из какой-то поездки. Я обязательно буду, сказал Иван. Сто лет не видел Кевина. Вот приму душ, переоденусь и приеду.

Что произошло после этой встречи, никто не знает и, скорее всего, не узнает никогда. Через два часа он спрыгнул с крыши в ту страшную шахту с бетонным дном.

Нет ничего ужаснее для семьи, чем смерть ее младшего члена, да еще такая смерть. Разверзлись небеса, и треснула земля. Наш мальчик ушел из этого маленького мира в сферы, недоступные живым. Представить себе, что он это сделал в результате своих размышлений о тщетности бытия, невозможно. Был, должно быть, какой-то финальный толчок. Конечно, вся его поэзия проникнута чувством смерти, но и с этим чувством поэты живут до конца, до финального толчка, что приходит из ниоткуда, из роковой судьбы, будь это западня Маяковского, жуткая водка Есенина, разрушение семьи Цветаевой. Каждая строчка в оставленной Ваней записке может быть прочитана по-разному, включая и ссылку на «Йи Джинг». Нам остаются только вопросы, вопросы и вопросы.

«Как теперь жить?» — спрашивает моя несчастная жена, Ванина «Маечка».

«Теперь нужно жить грустно», — бормочу я. Что я могу еще сказать?

КОРБАХИ

XI

КОРБАХИ

ИЗДАНИЕ СВОИМ ТРУДАМ ИСКУССТВЕННЫМ И НАУЧНЫМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКИ (Москва) (Издательство Академии Наук СССР)

М. 1970 200 стр. 16 л. ил. 1600 экз. 1 руб. 50 коп.
Издательство Академии Наук СССР, Москва

ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
3. ПРИМЕНЕНИЕ
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКИ
Москва
1970

... в котором ...

... в котором ...

Наконец, во второй половине 90-х прошлого века (это двадцатый-то зовется прошлым!) я начал работать над своим почти американским романом, «The New Sweet Style» («Новый сладостный стиль»). В данном случае речь идет не только о метафорической «американственности», но и о многих других менее заумных компонентах жанра: место постепенно разворачивающегося действия, состав персонажей, даже американская ностальгия в контексте общемировой ностальгии человека, а может быть и наоборот — общемировая в контексте американской. Словом, great American novel («большой американский роман»), каким это сочинение и было названо писателем Джонатаном Ди в статье, напечатанной в журнале «Harper's». Самое удивительное состоит в том, пишет он, что этот изрядно увядающий жанр был поддержан русским эмигрантом.

Титул книги взят не из торговой рекламы, как может показаться, а из глубинной европейской традиции. Во Флоренции XIII века так называлась школа поэзии, основанная двумя Гвидо, Гвиницелли и Кавальканти. Позже к ним присоединился молодой рыцарь Дант, из рода Алигьери. Поэзия этого кружка через 700 лет становится чуть ли не навязчивой идеей рус-

ского изгнанника, режиссера Саши Корбаха, волею судеб оказавшегося главной личностью «большого американского романа», то есть того самого похмельного субчика, которого автор увидел в кафе на пляже Вэнэ за 15 лет до того, как начал этот роман.

Есть, между прочим, некий сладостный нюанс в русском варианте названия, а стало быть, и в названии поэтической школы раннего Возрождения. По-итальянски это звучит как *Dolce Stil Nuovo*, по-английски *New Sweet Style*, по-французски *Doux Style Nouveau*, и на всех этих языках соответствующие эпитеты, *dolce*, *sweet* и *doux*, переводятся на русский как «сладкий», то есть могут быть пригодны как для любовной лирики, так и для конфеты. Русское «сладостный» на эти языки не переводится, а между тем оно, несмотря на родственные связи со «сладким», не годится для конфеты, потому что имеет отношение только к любви.

Теперь уже не очень отчетливо припоминаю, что толкнуло меня из Америки — к Данте, Беатриче и «Новой жизни». Может быть, долгие размышления, вернее, попытки размышлений о человеческой природе и не-природе, о жизни и не-жизни, о любви и благоговении. В принципе это роман о любви, вернее, любовный роман в той же степени, как он американский роман, но не роман об Америке, или, исключительно, о любви.

Фантом любовного объекта уже не раз мелькал в предыдущих книженциях. Однажды она оказалась вдвоем с ГМР (герой моего романа) на заднем сиденье такси и взялась ему галстук развязывать. «Не думайте, что я такая уж распутная, — бормотала она, — я просто люблю мужчинам галстуки развязывать». Из этого следует, что она американка. Ну, и дальше пошло-

поехало. Американка замужем за арабским террористом. Она из довольно богатой семьи. Из самой богатой семьи. Из сверхбогатой еврейской семьи. Ее отец — олигарх благотворительности. Да ведь он же сам Корбах! Они Корбахи! Из России! Из Варшавы, как мои еврейские дед и бабка! Может быть, родственники Саши? Конечно, почему я сразу не понял, что их прадеды были близнецами, сбежавшими в Америку? Так начинается романский трехлетний запой.

...Первая встреча на американской земле оказалась приятной, если не сказать волнующей. Вдруг среди первых прибыл чемодан, выскочил из преисподней, демонстрируя странную подвижность, чтобы не сказать развязность. Склонный к неадекватным размышлениям на не относящиеся к делу темы, Александр думал, глядя на чемодан: вот ведь, затасканный по гастролям чемоданишко, а как-то душевно дорог. Вот ведь, по сути дела, что получается: забили где-то большое животное, из шкуры сделали в Латвии чемодан, и вот все зверское уже испарилось, чемодан превратился в предмет ностальгии.

Чемодан проехал мимо, столкнулся с индусским тюком, шлепнулся плашмя. На следующем обороте Корбах выхватил свое из чужого и стал пристраиваться к очереди на таможенный досмотр.

На него с высокого стула посматривал таможенный офицер Джим Корбетт. Все прибывающее в США барахло невозможно проверить, однако существует метод выборочного контроля, которым хорошо владеют профессионалы. Специалист таможни читает лица, жесты, любое движение. Потенциальный нарушитель иногда виден издали. Вот этот, например, индивидуум с лы-

сой, хорошо очерченной головой. Трудно классифицируемый индивидуум. Странно передергивает плечами. Впрочем, слишком как-то передергивает плечами. Перевозчик наркотиков так не вздрагивает. Ну, не буду его проверять, пусть проходит эта башка со своими ушами. «Будьте любезны, откройте ваш чемодан, — попросил он вежливо и добавил: — Сэр».

Индивидуум сует бумажку: «Декларэйшн! Декларэйшн!»

Э, да он по-английски не понимает! Джим Корбетт показывает: резкий поворот кистей рук и затем элегантный умеренный подъем ладоней: «Если не возражаете, сэр».

Ничего привлекательного, но и ничего особенно отталкивающего в чемодане не было. Среди пропотевших рубашек книга в старинном переплете, большая «D» золотой печатью на томе том. Двойного дна явно нет. Джим Корбетт заглядывает в паспорт. Гош, этот малый из редких птичек, советский!

— Водка есть? — шутит офицер.

— Только здесь, — шутит в ответ приезжий, похлопывая себя по лбу.

Отличный малый, смеется Корбетт, хорошо бы с ним посидеть в «Топу's».

Как много интересного каждый русский несет в себе, еще несколько минут думал Корбетт, пропуская потенциальных нарушителей без проверки. Страна исключительного порядка, все под контролем, никакого гомосексуализма, как это все там организовано?

...Он вышел из здания и увидел перед собой гигантское лежбище гладких, отсвечивающих на солнце морских львов. Изредка медленно начинали переме-

щаться самцы. Сальвадор-далиевское перезревшее солнце висело над возлежащим стадом. Необозримый паркинг машин.

Сразу покрываешься потом. Влажность охуенная. Humidity или humanity? Не важно как, но во всем этом пространстве никому до меня нет дела.

— Господин Корбах! — тут же отозвалось пространство.

Подходил невысокий уплотненный человек в скверной летней рубашонке навывпуск. Рукопожатие, обмен потом.

— Мне Игореша Юрин утром позвонил, попросил вас встретить на всякий случай. Бутлеров Станислав, ну, в общем, Стас, ведь мы же с вами, кажется, одного возраста. — Он повел его прямо в пекло, на дальний конец паркинга. — Я уж думал, вы не приехали: нигде никаких признаков встречи. Внешность вашу, сорри, проектирую не очень отчетливо: за три года подзабылись герои отчизны. Хотел уже уезжать, и вдруг сам идет, во плоти. Сразу эта песенка ваша вспомнилась: «Преисподняя, преисподняя, посвежей надевай исподнее».

Корбаха замутило от собственной строчки столетней давности.

— Ну вот, пришли.

Стояло большое желтое такси.

— Там шофера нет, — сказал он.

— Я сам шофер, — ухмыльнулся Бутлеров.

Поехали по шоссе, четыре ряда в одну сторону, четыре в другую. Поток разнообразных машин ровно катил на одной скорости, как будто их всех завели одним ключом и разом пустили. Скользили мимо невзрачных домишек и торчащих кирпичных кубов без каких-либо признаков архитектуры, одни стены, окна,

двери — чего еще, вполне достаточно. Иногда над крышами возникал рекламный щит: призыв аэролинии или кэмеловский человек с его пшеничными усами. На одном углу промелькнула толпа, почему-то показывающая пальцами в одном направлении, но вообще-то было пустынно.

— Вам вообще-то куда? — спросил Стас Бутлеров. Он был вполне корректен — вообще-то, — только иногда среди подпухших век мелькало выражение легкого сарказма.

— Да в центр, — пожал плечами Корбах.

Жаль, что не выпил на вокзале. Сейчас бы все это иначе окрасилось. Не пришлось бы корежиться на каждом вираже, когда над штабельными кирпичными домами появляется в сером застое набухшее малиновой магмой солнце.

— На Манхаттан, значит, — со странным лукавством произнес Стас. Он описывал широкий полукрут перед подъемом на подвешенную автостраду. Слева по борту на склонах холмов стояли прижатые друг к другу небоскребы, эдакое воинство, как бы готовое спуститься к битве.

— Станный вид, — пробормотал Корбах.

— Это еврейское кладбище, — проговорил Бутлеров.

У меня просто настоящий невроз, подумал Корбах. Близкое кладбище принимаю за отдаленный Манхаттан. Надо было выпить в ПанАм. Зря не выпил.

— А вот сейчас это уже Манхэттен, — сказал Бутлеров. Всеми силами он старался избежать торжественности, но до конца ему это не удалось.

Зрелище в тот вечер было величественное и мрачное. Застойный стоградусный Фаренгейт создавал от всей гряды камня, стекла и стали ощущение какой-то

неясной неизбежности, приближения чего-то кардинально бесчеловечного. Ясность вносило только ядро солнца, висевшее над грядой в мутном вареве городской поллюции, имея в виду только американский, никоим образом не русский смысл этого слова.

— Вам все ясно? — спросил Бутлеров, и трудно было понять, чего больше было в этом вопросе, сарказма или гордости.

— Впопне, — засмеялся Корбах. — Как в кино, — продолжал смеяться он. — Как во сне, — и все смеялся.

...В густых сумерках он медленно брел к Таймс-скверу. В те времена огромный кэмеловский мужик все еще великолепно выпускал кольца дыма. На большой высоте стена желтого огня заливалась потоком красного огня, который сменялся сливом синего огня, после чего появлялось ассирийское слово «Набиско». В кино шла «Женщина французского лейтенанта», если память не изменяет. Первые этажи сияли сотнями ярко освещенных пещер, в одной — тысяча фотоаппаратов, в другой — тысяча радио, в третьей — тысяча чемоданов. Меж небоскребов висел вертолет, шарил лучами, хоть все они и рассеивались в испарине низов. Толпа брела туда-сюда, смотрела сама на себя, чего-то искала послаще. Вон там, на карнизе шестидесятого этажа, хорошо бы карлику Блока примоститься с огненным языком на полнеба. Народ подумает: что они хотят продать этим суперязыком?

Бесцельно он зашел в пещеру, пылающую тысячью телевизоров. Одновременно мелькали: бейсбол, мыло, драма, взрыв, кулачище, ножища, губы, сосущие сладь, шина, несколько лиц, горящих жгучим интересом к

какому-то злободневному вопросу. Прорезался женский голос: «I always have a sex with my cloth on, and outside my bed's sheet!» При чем здесь shit, подумал я, впрочем, оно всегда при чем-нибудь. Группа восточных владельцев лавки внимательно следила за его продвижением вдоль экранов. Тут все несложно, подумал он, надо лишь нащупать ключ к этим тайнам, ключ в виде змейки, обвившейся вокруг столбика. Впрочем, лучше не нащупывать, лучше просто мимо пройти, хотя бы попытаться все это миновать, иначе оттадка обвалится на тебя, как хрустальная люстра. Восточные люди отвернулись: This man is just looking. Обвяжи желтую ленту вокруг старого дуба, если ты еще любишь меня, если ты еще хочешь меня, если ты еще ждешь. Эта старая здешняя мелодия как будто весточка из дома. Из дома, где коллективы предателей живут и жены-стукачки процветают. Ни здесь, ни там мне никогда ничего не откроется, кроме бутылки.

«И страсть его на дне бутылки давным-давно, давным-давно!» Это еще откуда? Вдруг выплыло: первый послевоенный год, скрип снега под валенками, утоптаный снег, как мрамор под луной, ему семь лет, он возвращается с мамой из театра, всеобъемлющее счастье, прыжки, пробежки, скольжение по накатанным ледяным полоскам, пою, как там гусары в театре пели: «Давным-давно! Давным-давно!»

Это было не воспоминание. Тот зимний момент просто вернулся к нему посреди Таймс-сквера. Вдруг поместился посреди «чистилища», как бы никому и не мешая. Проявился вне времени. Нарушилась черед бесконечного надувательства, проносящихся мимо, из будущего в прошлое, мигнов. Он вспомнил надгробную надпись на переделкинском кладбище: «И затопили нас

волны времени, и участь наша была мгновенна». Время не может нас затопить, его нет, когда нас нет, нас затопляет что-то другое. Явившийся вдруг зимний миг детства — это не миг. Я, кажется, качаюсь на какой-то последней точке. Еще один не-миг, и я окажусь вне времени. Если я еще в нем, содрогнулся он.

Вдруг поразила мысль, что его, может быть, нет в живых. После какого-то мгновения в Москве это уже не жизнь происходит со мной, но только лишь блуждание еще не рассеявшегося энергетического состава. Не исключено, что КГБ убил меня утюгом по голове. Или в мою машину КраЗ ударил. Может быть, даже и без КГБ обошлось, вот ведь в детстве упала на голову люстра. Тело, наверное, провожала вся Москва, после похорон Высоцкого такого массового излияния чувств Москва не знала. Предшествия революции. А сам я, то есть мой энергетический пучок, отправился в астрал, в зону отражений, и народы текли вместе со мной, как сонмища теней, в Америку как в чистилище. Только Вергилия нет со мной, если не считать Стаса Бутлерова. Отбрасываю ли тень? Сейчас на Таймс-сквере я отбрасываю десятки теней, но это еще не значит, что я телесный в привычном смысле. Я пью водку и заедаю огурцом, но вкуса не чувствую. Все сдвинулось, зазеркалилось. Лишнее доказательство — мой гротескный секс с Анис, а самое явное из неявного — возврат той зимней ночи из детства.

В круговороте этого ошеломляющего откровения или — смеем мы предположить — в остром приступе невроза он не заметил, как свернул из сверкающего коммерческими соблазнами треугольника в одну из боковых умеренно освещенных улиц. Теперь двигался по ней: то вышагивал поступью Маяковского, то воло-

чился в манере Беккета, то вспыхивал вдруг восторгом перед астральным смыслом всего происходящего, то в страхе перед собственным отсутствием дрожал лягушкой. Ну, загляни в отражающее стекло, вдруг ничего не увидишь? Отражался потный человек в мятой куртке-сафари, лбище, что у «Боинга-747», космы с висков прилипли к щекам, за растянутым ртом не исключен и красный язык, что может развернуться на полнеба. Или полное отсутствие языка.

Я просто под диким стрессом, пришла спасительная мысль, мне просто нужны транквилизаторы. Тут вдруг открылась перспектива, в центре которой на темном небе встало перед ним огромными горящими буквами его собственное имя: Alexander Korbach. Ну, вот и все. Пришел мой час. Зовут. Апокалипсис, очевидно, бывает с каждым по отдельности. Всяк в одиночку проходит муки перед Страшным Судом.

Мимо меж тем шли новые йоркцы, кто в элегантном прикиде, кто в рубашке и исподних шортах. Покашливали, жевали, сосали свой дринк, проверяли течение времени на своих запястьях. Вот так и бывает, все идут, а одного вдруг вызывают страшными буквами в темном небе. Из булочной вышла женщина с гуманитарным лицом. Несла коричневый пакет, из которого торчали две палки хлеба. К ней и качнулся подсудимый. Madame! Даже и в этот момент не решился по-английски, залепетал на косноязычном франсе. Est-que vous vous cela audessus? Она пожала плечами. Mais oui! What's the matter, monsieur? Он прижал ладони к своему животу, чтобы умерить кишечный и сосудистый турмойл. Qu'est que c'est, madame? Умоляю, qu'est que c'est? Она пожала еще раз плечами своими. Just «Korbach», Sir! Un grand magasin! И с этими словами,

и с повернутой головой, и с изумленными глазами вошла в автобус. Боже, благослови эту тетку, пусть с наслаждением сегодня преломит свой французский хлеб!

В кармане, вдруг вспомнил, был недопитый флакон. Сев на ступеньки рядом с бормочущим что-то божком и подперев затылком шаткий небоскреб, сосал из флакона и смотрел на ровно светящиеся буквы своего имени. Они не подмигивали и не хамелеонили. Спокойным светом желтого электричества подтверждали: Alexander Korbach is a great name in the States! Вдоль улицы несло вечерним варевом человеческих селений: муши-порок и вантон-суп от китайцев, сладкий базили от тайландцев, трюфельный соус от провансальцев. Бытовая цивилизация, Нью-Йорк.

Через энное количество страниц в романе появляется первый американский персонаж, Арт Даппертат, молодой управляющий универмагом «Александр Корбах» (универмаг-то назван по имени одного из беглецов-близнецов, основателя розничной торговли столетней давности). Еще через энное количество страниц мы видим его в открытом «кадиллаке», с тревогой и сладостной надеждой на встречу с юной Сильви спешащего по приглашению в усадьбу великих Корбахов, что раскинулась на холмах Мэриленда.

Вид этих сельскохозяйственных холмов возникает у нас всякий раз, когда хочется найти альтернативу теснинам Манхэттена.

Деревья уже начали желтеть, господа. И багроветь, милостивые государи. И законьячиваться в глубине роцц, если это кому-нибудь интересно. Рекордная, гвардейского роста кукуруза стояла по обочинам извилистых

дорог Йорноверблюдского графства. Арт с удивлением на нее смотрел. Совсем как-то позабыл, что до превращения в попкорн эта, ну, штука сия, стоит зеленой ратью с подвешенными, как противотанковые гранаты, початками. Белые дощатые дома с террасами завершали гармонию холмистых пространств. Ну как тут избежать банальности? Эх, бросить бы все да поселиться вон на том холме! Избежать нельзя, но проехать мимо можно. Все ближе и ближе к реальности.

— Mon Dieu! — воскликнула тут Сильви и зарделась, не оставив ни малейших сомнений в том, что сильные мысли действительно передаются на расстоянии.

После гольфа значительное общество расселось на террасе, висевшей над зелеными перекатами англосаксонского воплощения мечты о земной гармонии. Арт все смотрел на будущую супругу. Она сильно переменялась за последние несколько месяцев, во всяком случае старалась изо всех сил показать, что детский порыв давно уже перешел в элегантную сдержанность. В соответствии с новым направлением изменилась и одежда: джинсы и «тэнк-топ» маечка вытеснены были широким и легким осенним твидом. Шелковый и тоже очень широкий шарф Сильви постоянно обкручивала то вокруг плеч, то вокруг пояса, то вокруг попки, будто собираясь показать какой-то фокус. Не исключено, впрочем, что все было наоборот: новый стиль одежды вызвал и перемену манер. Папаша явно придерживался этой последней точки зрения. Пригнувшись к уху Арта, он сказал: «Побывала в гостях у старшей сестры, и вот такие перемены». Арт глубоким взором уперся в подбородок президента. Стенли, передал он ему свою еще одну сильную мысль, мне не нужно никакого прида-

ного, ноль миллионов, мне нужна только твоя Сильви. Магнат кивнул.

Старый слуга Енох Агасф, возраст которого, разумеется, не поддается исчислению, обнес все общество лонг-дринками и встал в углу террасы, уподобившись шумерской скульптурке времен Хаммурапи. Давайте теперь перечислим состав мизансцены. Начнем с гостей. Молодой без пяти минут родственник — так, во всяком случае, подсказывала ему интуиция — Артур Даппертат. Еще один почти родственник, то есть просто-напросто дальний кузен Стенли с материнской стороны, Норман Бламсдейл, кругленький, слегка сумрачный мужичок средних лет, при взгляде на которого наш читатель немедленно бы воскликнул: «Вот типичный агент по продаже недвижимости!» — не дочитай он до конца данной фразы, главная цель которой состоит в донесении информации о том, что Норм является миллиардером и президентом корпорации «Бламсдейл брокеридж», в настоящий момент изъявляющей усиленное, а стало быть, несколько подозрительное желание слиться с «Александр Корбах инкорпорейтед».

Далее перед нами предстает хозяин поместья, огромнейший пятидесятипятилетний Стенли Франклин Корбах, разложивший одну великолепную ногу на колене другой, не менее монументальной, юмористически почесывающий хорошо заросшую пегим кустом волос макушку, стабильно, глоток за глотком, направляющий в глубину организма свой «водкатини», чему отлично способствуют движения кадыка, подпирающего несколько пеликановидный зоб с небольшими пятнышками возрастной пигментации. Рядом с хозяином сидела хозяйка Марджори Корбах, сорокапятилетняя девушка с пышнейшей гривой в общем-то блондинис-

тых, хоть и с лиловыми ниточками, волос, которые она доводила до совсем уже невероятной пышности, то и дело запуская в них прехорошенькие пальчики, способные, впрочем, отменно нажимать на спуск ружья, ибо обладательница пальчиков была чемпионкой штата Мэриленд по стендовой стрельбе. Неподалеку, естественно, располагалась дочь хозяина и хозяйки, предмет наших с Артом вздохов Сильви, студентка мэрилендского колледжа «Дикинсон», собирающаяся, впрочем, покинуть здешние цапельные пасторали, чтобы присоединиться к диким стаям студентов Колумбийского университета на Манхэттене. Рядом с полусестренкой в отрешенной позе, то есть прислонившись к колонне, стоял сын Марджори и пасынок Стенли, двадцатитрехлетний Энтони Эрроусмит из породы новых байронитов, то есть тех молодых людей, что в будущей зрелой жизни не собираются платить по счетам. Этот последний только что вернулся на американский материк после двухлетнего одиночного плавания под парусами и снисходительно возобновил свой курс шекспироведения в Гарварде. Самым, однако, невероятным участником мизансцены, во всяком случае для Арта Даппертата, был начальник охраны уже хорошо известного нам универмага «Александр Корбах», темнокожий красавец Бен Дакуорт. Любопытно отметить, что Арт, пребывающий в состоянии немыслимого возбуждения, поначалу не обратил на него никакого внимания и только уже перед ужином, столкнувшись с ним у фонтана, воскликнул: «А ты-то здесь как оказался, Бен?» — на что сдержанный легкий кавалерист непринужденно ответил, что их семью связывают с Корбахами очень тесные, едва ли не родственные узы.

Саша Корбах оказался далеко от буколической благодати. Он в приморском районе Вэнэс, где же ему еще быть, если мы уже видели его здесь 15 лет назад? Может быть, кому-то все же запомнилась стертая сандалетка, свисающая с большого пальца голый ноги. Он (палец), кажется, еще был украшен крепким *археологическим* ногтем.

...Затем сильно, но коротко почистил зубы, прополоскал рот, уставший от поцелуев. Бреемся обычно после завтрака, но в джинсы влезает до завтрака. Теперь — за завтраком. Проходя через комнату, посмотрел на голую спину вчерашней сопостельницы. Как ее звать, Максин или Лявон? Снял ее вчера в «Ле Джоз», ночном клубе на окраине Вэнэс. Клуб был назван в честь фильма про акулу, но с французским артиклем.

Прошлаевав по вспученным полам отеля «Кадиллак» мимо перекошенных дверей, из-за которых слышалось попукивание стариков, он вывалился на свободу. О, Божий мир в калифорнийском варианте, как ты хорош! Как бриз твой охлаждает и взбадривает воспаленную личность «венца природы!» Позитивистская философия иной раз аукается, как отрывка арахисовым маслом, но море сияет, темно-синее, вот истинный шедевр! К нему в придачу пальмы потрескивают под ветром своим оперением. Стоит июль восемьдесят третьего. Брежнев уже восемь месяцев как свалил. В Москве царит Андропов. Америка готовится выстоять советский «последний и решительный бой». Чайка взлетает с антенны. То, что было похоже на хвост, оказывается крыльями. Протали все ссылки на домино. Перед героем простирается огромный пляж. Половина его заасфальтирована и расчерчена для стоянок машин. Пока что пусто.

Посреди пустоты стояла очередь в никуда. Все свои, бомжи и бамы. Есть черные, есть и красноватые, есть и буроватые, есть и синеватые, зеленоватые, есть и с желтизной. «Хау ю дуинг?» — спросил Касторциус, высовывая из мотка тканей птицеватый немецкий нос. «Да нормально», — ответил герой. В песках из картонных апартаментов поднимались припозднившиеся фигуры, тащились к очереди. Наконец появился завтрак, то есть фургон благотворительного общества «Католические братья» с завтраками для бродяг. Подрулил гостеприимным задком к голове очереди. Брат Чарльз с застывшей улыбкой лошадиной благосклонности стал из задка каждому баму вручать коричневый пакет с гамбургером, жареной картошкой и большим бумажным стаканом горячего кофе. Какие грехи он отмаливает, этот утренний благодетель?

— На двоих, — сказал Александр Корбах и показал пальцами: фор ту.

Брат Чарльз на мгновение задержал дающую руку.

— На двоих?

Саша Корбах решительно кивнул:

— Друг лежит. Очень болен. Очень анхэппи.

Судорога мощного сочувствия прошла по диагонали длинного лица, рука протянула два пакета:

— Инджой ер брекфаст, кушайте на здоровье.

Поедая по дороге гамбургер и запивая кофе, Александр остановился возле ящика с «Лос-Анджелес таймс». Четвертака в кармане не оказалось, чтобы вытащить эту груду текста. Тут какой-то господин в панамене бросил свой четвертак и выпростал газету. Расторопный рабочий (так нередко себя называл теперь Корбах) успел сунуть карандаш, чтобы остановить закрывающуюся дверцу ящика. Захлопывание было при-

остановлено, и он бесплатно вытащил свежий номер основного органа этой большой страны Калифорнии. Так развращает благотворительность. Боги Пасифика, да тут что-то происходит драматическое на первой полосе: Фортуна ли поет, эринии ли кружат? На большущем снимке изображен был новый генсек Юрий Владимирович, бессильно повисший на руках двух членов охраны. Текст гласил, что слухи о серьезных проблемах со здоровьем министра Андропова, похоже, соответствуют действительности.

Корбаху стало не по себе. Ведь так и Брежнев сползал! Что там с ними происходит, с верховными жрецами? Может, должность сама безнадежно одряхла, энергетически иссякла, зияет в какую-нибудь черную дыру? Что же будет с той страной, моей родиной, если ее главные хмыри один за другим продолжают вот так безобразно сползать на руки здоровенных, но окончательно тупых охранников?

Он швырнул тяжелую газету в мусор и пошел быстрее. Опаздывать сегодня нельзя, смену сдает Габриель Лианоза. Задержишься на пяток минут, сразу развоняется марксистская жопа. Сильный прыжок на крыльцо «Кадиллака». Вот вам и утренняя зарядка. Один такой прыжок, и десять лет долой! Мне снова, как всегда, тридцать три или там тридцать четыре. Влетаю весь в блеске второй молодости, ни слова о третьей! «Эй, Максин, гет ап, бэби! Завтрак подан!» Быстро брить молодые щеки, насвистывать что-нибудь, ну, скажем, «Опус 21» этого Амадеуса, или нашептывать что-нибудь из «нового сладкого стиля». Пардон, не «сладкого», а «сладостного» все-таки. Вот они, русские суффиксы, эти их суть, таких нюансов не найдешь в других языках. Даже в оригинале говорят «дольче стиль нуово». Так

можно сказать и про конфету, «дольше бонбони», что ли. А у нас ведь не скажешь «сладостная конфета», верно? Поневоле преисполнишься гордости за ВМПС им. Тургенева, как иные писатели ернически называют наш «великий-могучий-правдивый-свободный». Что-то я сегодня слишком разынтеллектуальничался спозаранку, жулик католических гамбургеров. Смазал еще более помолодевшие щеки одеколоном «Соваж». Ночью, увидев в ванной этот одеколон, дамочка присвистнула: «Уаху! “Соважем” пользуешься, как я погляжу!» Выглянул из «ванной». Максин уже жевала католический гамбургер. Зрелище было не вдохновляющее: щечки растерялись, губки разлохматились, вороньи перышки свисают, как хотят, словом, апофеоз ташизма.

— Не смотри на меня! — А ведь вчера и этот голос грузчика казался трогательным писком. — Не смей меня называть какой-то ебаной Максин! У меня свое имя есть!

— То есть... — деликатно замноготочился он.

— Денис! — гаркнула она. Он уважительно кивнул. Денис Давыдов. И в самом деле, что-то было общее у этой девушки с героем партизанской войны 1812 года. Она расхохоталась: — Чертов ебарь! Факинг Лавски! Не помнит девушек, с которыми спит! У тебя пиво есть, Лавски?

Он передернулся с отвращением к себе: называет меня «Лавски»! Значит, я опять нес там околесицу о системе Станиславского!

...В водовороте счастливых изменений Стас Бутлеров начисто забыл о своей принадлежности к «поколению протеста», да и друга своего, некогда знаменитого протестанта, нечасто вспоминал. Так вот и получилось, что

Корбах вдруг оказался в пространстве, из которого почти одновременно отсосали весь русский кислород. Иной раз он по неделям не произносил ни одного русского слова. Единственный оставшийся в поле зрения из прежней компании Арам Тер-Айвазян предпочитал общаться по-английски. Или, если угодно, по-армянски. Мне всего тридцать пять, говорил он, еще есть время забыть комсомольский жаргон, то есть русский.

Ну вот и отлично, думал Александр, бесконечно таскаясь по кромке океана от Венис до Пасифик Палисэс и обратно, вот и останусь один со своим жаргоном, как Овидий остался со своим римским жаргоном в стране даков. Вот так ведь и он, должно быть, таскался вдоль Черного моря, и «Элегии» начинали вылетать у него из ушей в виде цветов, и птиц, и разноцветной пыльцы, что подхватывалась ветром и улетаала, увы, не в милый сердцу и члену развратный Рим, а в противоположную сторону, через Понт, в Колхиду, в Месхети, как будто бы погибая, а на самом деле торопясь оплодотворить через тысячу лет двор любви царицы Тамар, где как раз вовремя стал подвизаться рыцарь-бухгалтер, по-тогдашнему казначей, некий Шота.

От Овидия я, быть может, отличаюсь только тем, что уже не в силах творить плоды, плодить творчество. В остальном мы почти похожи. Его погнали в степи за «Науку любви», меня к океану за науку смеха, но разве какая-нибудь любовь обходится без шутовства? Шутовство нам с вами поможет излечиться от прошлого, мой друг, скажете вы, но почему же вы сами так жалобно стенаете, яйцеголовый? Мы почти одинаково обуваемся, Публий Назон, только вы обматываете кожаный ремешок вокруг голени, а я лишь засовываю в петельку сандалии большой палец с раскрошившимся

археологическим ногтем. Завидую вашему хитону, он полощется по ветру, дает дышать всему телу, ваши яйца в свободном полете, в то время как мои стеснены шортами. Вы, главный шут империи, родоначальник «нового сладостного стиля» за тысячу двести лет до его рождения, вы оказались не у дел. Август не дотянул до понимания «Метаморфоз» и «Сатурналий», потому что не читал Бахтина. Он знал, как человек превращается в императора или в труп, но не мог усечь, как Юпитер оборачивается быком, а потом торжественным созвездием. Все-таки он имперским чутьем угадывал, что сарказм знаменует закат одной цивилизации, а высокопарность говорит о восходе другой. Быть может, поэтому и Дант, столь тесно обтянутый снизу шерстяными колготками, выбрал поводырем не вас, а Вергилия. Прошу прощения за нескромность, но мне больше подходите вы, хоть я когда-то и мечтал о «Свечении Беатриче». Тысяча извинений, но даже под вашим водительством мне не выбраться из этих заокеанских чистилищ, как и вам не выбраться из страны даков, несмотря на жалобные послания Августу. Да я и не собираюсь писать Андропу, ведь он не из августейших, наш засекреченный графоман.

Океан между тем занимался своим основным делом, подчеркиванием человеческого ничтожества. Серферы тем не менее поддразнивали великана, скатываясь с одной из его триллионов волн. Как там: «Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, прячась в белую пряность акаций, может, ты-то их, море, и сводишь, и сводишь на нет».

...Закат над океаном сгущался, мрачнел. Саша быстро пошел по кромке воды в сторону дома. Кто-то

бегущий впереди обо что-то споткнулся, выкрикнул «шит!», заскользил, как по льду, удержался, побежал дальше. Через секунду и Саша сам утонул ногой в какой-то мешок перекатывающейся слизи. Там подыхла полураздавленная огромная медуза. Форма жизни, довольно чуждая просвещенному человечеству.

Все раздавленное, подыхающее влепляется в память, как летучие мыши влепляются иной раз в белые рубашки. Однажды на фривэй выскочила большая чернорыжая кошка. Никто уже не мог затормозить. Шедший впереди вэн ударил кошку крутящимся скатом. Она описала дугу и шлепнулась на бок между «хондой» и «вольво». Ей бы, дуре, лежать, не двигаться, но, ошеломленная ударом, она стремилась попасть в какой-нибудь спасительный угол и оказалась под колесом летающего. То, что осталось от нее, дергалось в безумной борьбе за еще несколько секунд существования, и дальше она пропала из виду. Могучие демоны железа летели по фривэю на одной скорости, размазывая кошачьи остатки.

Он разрыдался за рулем и трясся не менее четверти часа, забыв уже и о кошке, и о демонах, каждый из которых, может быть, точно так же раздавлен и размазан в одну минуту.

Эти содрогания нередко гнали его в бар «Ферст Баттом», дескать, нужно разрядиться. В углу там пожилой малый, похожий на все киношные клише черного музыканта, звать его, без смеха, Генри Миллер, напевал хрипловатым баском:

If you treat me right, baby,
I'll stay home every day,

But you're so mean, baby,
I'm sure you gonna drive me away.

Все было замечательно похоже на настоящий американский бар, как будто это и не был настоящий американский бар. Сидеть у стойки, как спивающийся иностранец в настоящем американском баре. С полуночи заведение заполняется почти до отказа, но отказа никому нет. Немало здесь уже и знакомых, едва ли не друзей, у нашего Саши. Вот, например, монументальный, с татуированными ручищами Мэтт Шурофф, бойфренд оправдомши нескольких венисовских жилых строений, включая и обветшалую ночлежку отель «Кадиллак», не менее величественной Бернадетты Люкс, что ходит по околотку весь день в бигудях, резкими движениями поправляя плечики под постоянным батистовым с кистями одеянием.

Мэтт водит грузовики на большие расстояния, то есть, по российской терминологии, является дальнобойщиком, и, возвращаясь из рейсов, по неделям ни черта не делает, только лишь ждет открытия «Первого Дна», где он сначала смотрит газеты, потом телевизор, потом играет с вьетнамцами на бильярде, постепенно набираясь, прежде чем засесть в окончательной скульптурной позиции перед стойкой.

К нему неизменно пришвартовываются два друга, которых он снисходительно опекает: вьетнамский беженец генерал Пью, который тут в округе завоевал себе репутацию лучшего водопроводчика, и венгерский беженец Бруно Касторциус, давно уже превратившийся в настоящего бича. Частенько к ним присоединяется молодой подтянутый господин из деловых кругов Мелвин О'Масси. Все четверо ждут, когда появится несрав-

ненная Бернадетта, все они время от времени пользуются благосклонностью Люкс, хотя приоритет Матта Шуроффа никем не оспаривается. Пятый член этого клуба Алекс Корбах, по кличке Лавски, держится несколько в стороне, хотя и он, признаемся, успел пообщиться к таинствам Бернадетты. Иной раз комендантша среди ночи открывает своим ключом его «студию» и с ходу наваливается на щуплого недотепу всем жаром своего океанского эго. «Где тут мой кьюти лики-прики? Дай-ка я его накрою своей вэджи-мэджи!»

В «Первом Дне» все знают, что стоит Лавски принять третью дозу «столи», как он начинает нести какую-то околесицу про какого-то мистера Станиславского, с его якобы всему миру известной системой. Отсюда и кличка взялась: (Станис)Лавски, народ у нас остроумен.

— Еще неясно, кто был большим формалистом — Мейерхольт или Станиславский, — говорит он, обращаясь к кому-то прямо перед собой, то есть чаще всего к бартендеру Фрэнки.

— Риалли? — вежливо реагирует Фрэнки.

— Пытаясь максимально имитировать жизнь, Станиславский хотел оттородиться от твоего, Фрэнки, «риалли», то есть создать театр как вещь в себе. Понятно? Мейерхольт же, отрицая имитацию жизни, настаивая на театральности театра, наоборот, мечтал его сделать частью тех глупых утопий. Это понятно, товарищи?

— Понятная, тоу-вор-иччи! — Бруно Касторциус с трудом вспоминал язык оккупантов.

Бернадетта аплодировала. Сильное сияние стояло в неслабых глазах Лавски.

— Снять четвертую стенку, соединить театр со зрителем, то есть с улицей, это заманчиво, но не так сложно, как заставить зрителя биться лбом в стенку между

оракулом театра и базаром политики, подглядывать в замочную скважину. Пью-твою-налево, тебе понятно? Матт-твою-так, продолжать или нет?

— Вали дальше, Лавски, только убери руку с задницы Бернадетты, — говорил главный парень, чей кожный покров с годами, еще со времен знакомства с пенитенциарной системой штата Невада, постоянно становился подобием гобелена, где арбалетчики с толстыми крылышками представляли силы добра, а русалки плавали сами по себе, словно проститутские ноги в сетчатых чулках.

Опрокидывая двойные-на-камушках, Корбах продолжал:

— С этого же угла мы видим и актерский вопрос, господа. Импровизируя в заданном Мейерхольдом ключе, актер становится каботеном, уличным паяцем, то есть частью этого ебаного народа, пошел бы он со всеми своими чаяниями в его любимую красную верзуху! Станиславский же говорил: перевоплощайтесь! Вы свободны от вашего общества, вы в храме лицедейства, вас не захпают грязными лапами! Вот ты, Пью, перевоплощайся сейчас в Макбета! Забудь про драп из Сайгона и про свои здешние сортиры, ну, Макбет!

— Фьюи, фьюи, — почему-то закрыв глаза, насвистывал Пью. Так, с его точки зрения, свистел бы Макбет.

— Великолепно! — с неадекватным бешенством вопил Корбах. — Ты на верном пути! Ты уже герметизировался! — Тут он поворачивался к Бернадетте: — Ну а вы, мисс Люкс? Вот вам задание, вы Раневская! Произнесите: где мой «черри орчал», вишневый сад?!

Бернадетта с неожиданной близостью к иным интерпретациям бессмертной драмы произносила глубоким контральто:

— Где мой черри пай?!

Мужики вокруг взрывались в подхалимском восторге. Корбах ронял руки на стойку и голову — в руки. Заключительная часть вечеринки проходила хоть в его присутствии, но без его участия. Потом Матт тряс его за плечо: «Гет ап, Лавски! Можешь идти?» Он выбирался из бара и шел напрямик через непомерно широкий пляж к вырастающему во мраке белоголовому валу прибой. «Конец, — бормотал он. — Дальнейшее — рев и пена».

...Сколько же вся эта лажа может продолжаться, в отчаянии думал иногда он похмельным утром, когда не озарялась еще рассветной медью его заветная форточка без окна. И почему все мокрое вокруг? Обоссался, что ли? Или пытался утащиться в океан? Показалось мне это вчера или действительно вдруг пропала тень? Духи отличали Данта от своего сонма, когда видели, что он отбрасывает тень. В этом мире, однако, всякий отбрасывает тень. Гомик, что тащился за мной по пляжу, отбрасывал длиннейшую тень. Америка все-таки не оригинальное чистилище, но только парафраза. Здесь, может быть, только я не отбрасываю тени. В ужасе он включил ночник и делал десятку пальцами шевелящуюся на стене тень петуха.

ТЕРРАСА

Где в Вашингтоне можно опохмелиться
 На халяву, то есть как полный бам?
 Так вопрошают без постоянного местожительства лица,
 У которых лишь зажеванный чуингам
 Скрыт за щекой, а в кармане ни цента,

У которых совесть расхлябана, но хитрость мудра,
Ну вот вы и появляетесь на террасе Кеннеди-центра
В четыре с четвертью, с проблесками утра.
Главное — явиться в единственном экземпляре!
Ивы там шелестят, словно детские сны.
Утренний мир в перевернутом окуляре
Предъявляет свой главный план — недопитые стаканы.
Прошлой ночью тут слушали Ростроповича,
А в перерыве, по-светски, потягивали шампань.
Рослые дамы прятали в стеклышки опыт очей,
Нежно зубная поигрывала филигрань.
За разговорами многое недопито,
Или недопито, стало добычей бомжэ,
Пять—семь бокальчиков, вот вам и пинта,
Можете радость свою существенно умножать.
Достопочтенный Мстислав Леопольдович,
Слава, спасибо за матине!
Мрамор скользит, будто тащитесь по льду вы,
Тень растекается на стене.
Затем высвечивается тень пантеры,
И вы ей салютуете, обнаглев,
Но тут за зеркальной рифмой-гетерой
Монстр пробуждается, рьян и лев.
Следом исчадие бурелома со взъерошенной холкой,
В перьях вороньих от хвоста до ключиц,
Будто бы вестница Холокоста,
Выпрыгивает алчнейшая из волчиц.
Призраков отражения, кошмары гадалки,
Отражает пуговицами генеральский сюртук,
Это над Джорджтауном в кресле-каталке
Проезжает похабнейшая из старух.
Ножищи ее укрыты отменнейшим пончо,
Через плечо бородачица, будто полярный песец,
Все же сверкает один генеральский погончик,
А в зубах дымится сигара за тысячу песет.
Пару бокальчиков подцепив у фонтана,
Баба шуруется, как перед криком «пли!»,
Революции призрак и марксизма фантомы
Снова прицеливаются в капитализм.
Ну, прямо скажем, задалась опохмелка!

Кто ты, старуха? Не крутись, ответь!
 Что представляешь ты здесь с ухмылкой,
 Жижу теории или практики твердь?
 Правда ли то, что в стакане недопитом
 Мысли остаются, а если так,
 О чем это общество, духами пропитанное,
 Думало здесь сквозь светский такт?
 Генерал по-испански хохочет скверно.
 Слышится топот буденновских кавалькад.
 Все они думают лишь об «инферно».
 Все они видят лишь свалку и ад.
 Она удаляется с долгим подмигом,
 Солнце встает за мостами Потóмака
 И, удаляясь, поет, как Доминго,
 Ноты вытаскивая из котомки.
 Вы остаетесь, застенчивый бомжик,
 Двадцать пластиковых бокалов опорожняя,
 Шепчете: Боже, всемилостивейший Боже,
 Дай мне прилечь возле твоего урожая.

Кто сочиняет тут стихи, автор или герой? Герой вроде бы еще не был в Вашингтоне и не посвящен в тайны Кеннеди-центра. С Манхэттена-то драпанули через весь континент на последнюю кромку Запада, за которой тут же стал маячить Восток. Здесь он тут же пошел по стопам неведомого ему художника Олега, о котором и автор забыл, и стал парковщиком в подозрительном бетонном паркинге, где тон задавала комсомольская мафия из Аддис-Абебы и Еревана.

Вашингтон приблизился еще на одну главу. Вскоре АЯ (Александр Яковлевич) будет таскаться по нему в поисках своей возлюбленной Норы Мансур, урожденной Корбах. То есть АЯ будет трудно избежать романтического стихоплетства.

— — — — —

— — — — —

— — — — —

...Сейчас все, конечно, повернутся к нему: «Хей, Лавски, как ты сегодня дуинг?» Никто не повернулся. Он сел на свободную табуретку и сказал бартендеру:

— Двойную «столи», Фрэнки, о'кей?

Тот как-то странно завел глаза к потолку, потом шепнул:

— Прости, Лавски, но мы больше не подаем «столи».

— Это еще почему?

— Бойкот на все советское.

— Это еще что за хуйня?

Тут все повернулись и стали смотреть на Лавски. Могучая, как предмостное укрепление, грудь Матта была в этот вечер обтянута зеленой майкой с изображением вертолета «Морской жеребец». Глаза прищурились, как за прицелом пулемета.

Мел подтолкнул к Александру пухлую и основательно уже сдобренную пивом газету.

— Я чертовски извиняюсь, Лавски, но ваш истребитель сбил корейский пассажирский лайнер.

— Мой истребитель? О чем вы говорите, ребята? — Александр держал в руках тяжелую газету, но почему-то не догадывался прочесть заголовки.

— Фак твою налево, мужик! — угрожающе произнес Матт. — Ваш ебанный русский джет убил целую толпу невинного народа, понял, заебыш, Сталин и Ленин, фак-твою-расфак, расфакованный Лавски?!

Александр нажал себе пальцами на виски:

— Фрэнки, дай мне что у тебя есть! Я не могу ничего понять без двойного шота!

— Эй, Пью, дай-ка ему двойной шот! — захохотал американский трудящийся. — Покажи-ка этому комису свой знаменитый удар ладонью!

— Легче, легче, ребята! — с полузакрытыми глазами, на полушепоте проговорил бартендер, подавая русскому двойную «Финляндию».

Александр поспешно опрокинул рюмаху. Никакой разницы между всеми этими водками нет, одна и та же крепчайшая гнусь, что будит в потребителе всякую мерзость, вроде оскорбленного достоинства. Теперь он смог прочесть, но не заголовок газеты, а ленточку букв на груди дальнобойщика, прямо под картинкой и над черепашным панцирем его брюшной мускулатуры: «Килл э камми фор ер мамми!» Пью между тем кинжально рассекал воздух своими маленькими лопаточками.

— Дай ему по печени, братец гук! — проорал Матт, и тут же одна из лопаточек пальцами вперед врезалась Корбаху под ребро. Как больно, думал он, медленно сваливаясь с табуретки, открывая и закрывая рот, как будто пытаясь откусить недостающий кусок воздуха. Не только обидно, но и больно. Черт с ним, с обидно, лишь бы не было так больно.

— Ну, Лавски, ну ты и комик! — хохотала Бернадетта Буцефаловна. Притворно нахмурившись, она взяла вьетнамского спецназа за шиворот. — Ты куда его ударил? Надеюсь, не в мошонку? В моем присутствии, ребята, не бейте друг друга по мошонкам!

Из глубины заведения выскочил выпученный Кас-торциус:

— Амбуланца! Братцы, вызывайте амбуланцу! Он умирает, этот хороший русский! — В руках у него была тарелка с густым морским супом. Видно, кто-то угостил популярного побирушку. Жирные капли падали Корбаху на запрокинутое лицо.

— Лучший русский — это мертвый русский, я прав? — сказал Матт Шурофф Мелу О'Масси.

— Нет, ты не прав, приятель, — ответствовал компьютерный молодой человек. — Русский русскому рознь. Лавски тут ни при чем. — Он покинул стойку и присел возле Александра. — Ты в порядке, Лавски?

— Ебанный вьетнамец мне кишки порвал, — усмехнулся Александр и стал понемногу подниматься. — Надоело быть щитом между монголом и Европой, а тут еще Америка подставляется, как корова. — Он встал на обе ноги и начал разворачиваться к бару. Бесстрастное крошечное личико следило за каждым его движением. — Ты бы, Пью, жук навозный, Хо Ши Мину бы так засадил! Размахались после драки, выкидыши истории!

Никто, конечно, ничего не понимал из его русского бормотания, но все смотрели, что дальше будет. Александр подхихикивал. Руку, что ли, сломать хинину? Навалиться и ломать, пока не переломится. Нет, азиат, мы пойдем другим путем. Нанесем удар в самый центр антирусской коалиции.

— Фрэнки, запиши в мой тэб большой бокал бочкового! — Ну вот, спасибо, алкогольная проститутка, ты невольно стал пособником преступления.

Он плеснул все пиво одним махом в лицо Матту, а следующим движением вырвал сиденье из-под задницы королевы красоты. В результате бывшему марину не удалось увидеть, как позорно кувыркнулась любимая.

— Мне конец! — завопила она. — Прощай, моя молодость! Моя пампушка порвана! Ой, да я же ссусь, как лошадь!

Ошеломленный гигант поворачивался то вправо, то влево, предлагая желающим кокосовый орех своего кулака. Главному желающему, однако, было уже не до него. Теперь он висел на дергающемся вьетнамце. По-

зорная конфигурация схватки мешала генералу пустить в ход свои неслабые ножки.

— Врагу не сдается наш гордый «Варяг»! — кричал пробудившийся в пьянчуге патриот.

В это время на экране был прерван футбол, пошел специальный репортаж о трагедии на острове Сахалин. Кокосовый орех тут по ошибке въехал в неизгладимо иностранную физиономию Бруно Касторциуса, а между тем тот ведь и сам был жертвой русского империализма, ибо бегство из горящего Будапешта двадцать семь лет назад погубило его блестящую юридическую карьеру.

Александр выпустил вьетнамца из своих объятий и зарыдал неукротимо. Пью выпорхнул из зажима, описал пируэт и направил в челюсть врага острый носок своего миниатюрного ковбойского сапожка. Пока этот носок летел ему в челюсть, Александр успел продумать презренную русскую мысль: «Вот оно, новое преступление моей родины! Нет уже сил быть русским, пусть убьют!» Удар прервал течение мыслей. Все померкло вокруг, но почему-то возник и застыл в темноте фронтиспис какой-то старинной итальянской книги, где «U» тонкой кистью писали, как «V», и где еще более тонкими кистями, обмакнутыми в золото или индиго, в лазурь и киноварь, писаны были на широких полях в канители цветущих ветвей купидоны, львы, агнцы и попугаи, и где в глубине какого-то маленького архитектурного квадрата стояло темно-голубое небо Тосканы, ради которого только, ради возможной еще встречи с которым только и стоило, Теофил, возвращаться к сознанию.

Весь кабак уже бился, пока виновник торжества лежал в отключке. Как всегда это бывает, первопринчи-

на махаловки была забыта, но страсти кипели, стулья выдергивались и взлетали в воздух вместе с оторванными рукавами. Царила нехорошая истерическая анархия, за которой стоял темной стеной СССР, махнувший вдруг смертоносным крылом над международной пассажирской трассой «Ромео». Спасая мебель, носились среди хрипящих мужиков и визжащих баб бартендер Фрэнки и два его помощника, Кит и Киф. Полиция долго не являлась, поскольку по всему побережью в этот вечер происходили плохо мотивированные потасовки. Пианист Генри между тем, бросив свой привычный репертуар, виртуозно раскатывал «Бранденбургский концерт» в своей интерпретации, то есть все-таки с адресом к «бэби».

Ну а Александр Яковлевич Корбах, ободренный музыкой, собрал всю память о своем акробатическом прошлом, выкатился из дверей и растянулся на асфальте. Возле его тела остановились три еврейские девушки из отеля «Кадилак», голубые парички, розовые колокольчики юбочек, желтенькие колготки, общий возраст двести двадцать пять, не считая обезьянки, сидящей на одном из шести плечиков. «А вам там пакет, мистер Корбьюик, — сказали они с уважением. — Экспресс. Должно быть, от ваших богатых родственников».

Он поднялся: «Фенкью, герлз!» Какого хрена им всем от меня надо? Я не хочу никаких пакетов, никаких родственников, никаких театров и уж тем более никаких России с их андропами и андропоидами, из-за которых тебе разрывают кишки и переламывают челюсть.

Негнущиеся пальцы, по которым в этот вечер прогулялась не одна подошва, открывают пакет. В нем ока-

зывается довольно любопытное содержимое: отпечатанное едва ли не готическим фонтом, государи мои, на отменной бумаге верже приглашение посетить «Всеамериканский сбор Корбахов», что состоится 18—19 ноября в «Галифакс фарм», штат Мэриленд, там же ваучер на резервированный номер в близлежащей гостинице «У Ручьев», там же карта графства Йорноверблюдо с подъездными путями к имению, там же авиабилет от Лос-Анджелеса до аэропорта Вашингтон-Балтимор, там же чек на тысячу долларов и, наконец, записка от Стенли: «Алекс, приезжай! Будет весело!» — накарябанная в лучших традициях американских миллиардеров, то есть почти неразборчиво, но все-таки разборчиво.

Действие все-таки раскручивается, подумал наш герой, вместе, разумеется, с нашими читателями. Продолжает бить по башке, по печени, прогуливается по ребрам, потом сует в пасть ошеломляющую сладость: не бойся диабета, соси!

В СТРАНЕ ГУИНГМОВ

Через полтора месяца после совершенного высшим генералитетом СССР мокрого дела и последовавшего за ним побоища в прибрежном ресторане «Первое Дно» мы переносимся к воротам прибытия в аэропорту «Вашингтон-Балтимор Интернейшнл». Элегантный господин выходит из этих ворот в толпе обычных, то есть незелегантных, пассажиров. Мягкого твида кепи-восемиклинка легким скосом предлагает взгляду некоторую ненавязчивую дерзновенность. Плащу при ходьбе обнаруживает благородную бербериевскую подкладку. Шарф этого господина демонстрирует свое родство с подклад-

кой плаща, а проглядывающий из-под расстегнутого плаща пиджак и колышущиеся при ходьбе брюки явно напрашиваются в родственники восьмиклинному кепи, что же касается уверенно перемещающихся в пространстве толстых туфель цвета старого бургундского с пунктирным узором, то они говорят сами за себя, то есть завершают этот почти безупречный облик в его динамической гамме; фу, ну и фраза!

Непосвященный мог бы подумать при взгляде на этого господина, что он принадлежит к миру кино, что перед нами какой-нибудь хорошо оплачиваемый сценарист, непринужденно облаченный в не очень новые любимые вещи, но наш читатель без труда вспомнит нехитрые приключения предыдущей главы и без труда догадается, что все это имущество было приобретено незадолго до выезда в лавке «Once is not enough» при содействии все той же Ширли Федот за одну четверть действительной стоимости. Ну, словом, перед нами наш герой Александр Яковлевич Корбах, что подтверждается частично рассосавшейся, но все еще заметной темно-лимонной гематомой в правом углу челюсти.

Следуя указаниям секретарши «Галифакс фарм» мисс Роуз Мороуз, Александр взял такси и, проехав через город Балтимор, считающийся одним из самых аутентичных мест американского обитания, высадился возле железнодорожного вокзала. С приятным удивлением смотрел он с перрона на облетающие вдалеке желтые кроны могучих среднеатлантических дубов и тополей. За время жизни в Калифорнии некоторые природные явления вроде осени и листопада основательно выветрились из сознания одинокого беженца.

Зазвонил колокол, и к перрону подошел поезд из трех вагонов, влекомый паровозиком с массивной буль-

бой трубы и с хорошо надраенными медными частями. Это был мемориальный институт на колесах, известный под аббревиатурой ТТТ — Толи Трэйл Трэйн, что вот уже сто лет возит фермеров и дачников в самые что ни на есть глубины северных мэрилендских графств.

В вагоне было не более дюжины персон, очевидно прекрасно знавших друг друга и не знавших Сашу Корбаха. Мужчины были без головных уборов, однако при входе незнакомцы они как бы приподняли шляпы. Женщины же мимолетно пожеманились как бы в подобии книксена. Да уж не в Ютландию ли я попал? Добродушный черный кондуктор, сам похожий на паровозик ТТТ, отщелкнул его билет и спросил, не нужна ли под голову подушка. «Больше всего я как раз боюсь проспать свою станцию», — пошутил Корбах. Фраза, разумеется, была составлена таким образом, что никто из присутствующих ни черта не понял, однако все приветливо улыбнулись. «О-о-ола а-а-абора!» — пропел проводник, и все снова улыбнулись.

Место у открытого окна и тихая скорость давали возможность обозревать окрестности. «Индийское лето» было в полном разгаре. Воздух папахивал дымком и морозцем. Корбаху казалось, что он хоть и окольным путем, хоть и через литературу о старой Америке, но все-таки возвращается в прошлое, а значит, домой. Кварталы таун-хаусов сменились кварталами особняков, после чего ТТТ вошел в зелено-желтый, с багрянцем и свеколкой, растительный тоннель, внутри которого как раз и пролегал «Путь Толи», названный так в честь династии американских адмиралов. В прорехах листвы иной раз возникали высоты густо-голубого воздушного океана, в них, словно ниточки паучьей слюны, тянулись

инверсионные следы за почти невидимыми точками перехватчиков. Затем поезд снова входил в животрепещущую тень и вместе с ней в те времена, когда небо родины еще не нуждалось в столь сильной защите. Иногда расступались деревья, и тогда проплывали свежеспаханые на зиму или недавно сжатые поля, меж которых стояли белые дощатые дома, красные сараи и пенисовидные силосные башни. Через каждые десять-пятнадцать минут в вагоне появлялся проводник мистер Кук: «Гловер-Плейс, пли-и-из! Леди и джентльмены, Эми и Кристофер, миссис Ачинклоуз, не забудьте ваши личные вещи, благодарю вас! Следующая остановка — Картерс!» Пассажиры покидали вагон, сделав некоторое подобие общего поклона и поблагодарив мистера Кука. Иногда входили новые пассажиры, жители этих мест, весьма свежие старики и цветущие дети, одетые по сезону в недорогие добротные вещи из каталога «Джей-Джей Биин». Корбах умилялся: «Милые носители здравого смысла, не нужно ли вам русское чучело в огород?» Так он и доехал до своей станции Шатлейн и, когда пошел к выходу, заметил, что весь народ в вагоне, включая и мистера Кука, смотрит «чучелу» вслед с нескрываемым уже любопытством, исполненным, разумеется, самых добрых чувств.

...Вдруг он оказался в лошадиной стране. Сколько охватывал взгляд, во все стороны на стриженных холмах и под букетами великолепных деревьев стояли, двигались и даже проносились разномастные, но большей частью гнедые, гладкие и стройные создания. Близко к изгороди, кося на путника многозначительный взгляд, проществовал величественный жеребец. «Завидная у тебя судьба, мой друг, — заговорил с ним Александр

Яковлевич. — Ты знал успех, ревущие трибуны. Трубы марширующих оркестров подмывали переплясывать в такт четыре твои чудесных ноги, каждая из которых содержала в себе мощь противотанковой ракеты плюс недостающую ракете дельфиною гибкость. Ты ощущал, браток, триумф всем своим существом, кончиками ушей, и продолговатым мозгом, и несущимся, как вымпел эсминца, хвостом. И вот ты уходишь с ристалищ, но вовсе не на свалку, батоно, и не в грязный хлев забвения, а в царство любви, на привольные холмы, где тебя уважают, мой величавый царь кобыл, за ту замечательную дрынду, что вырастает у тебя между ног всякий раз, когда нужно, и где теперь ты стремишься уже не вдаль, а все выше и выше! Прими мое восхищение, могущественный отец!»

Жеребец потрогал копытом перекладину забора, как будто примеривался, можно ли пресечь поток пустословия. Подошли две кобылы, одна гнедая, другая каурая, и два жеребенка. Подул ветер, сильно зашевелились хвосты и гривы. Вся семья гуингмов теперь с интересом смотрела на Александра Яковлевича. Присутствие дам и детей настроило и владыку на миролюбивый лад. Корбах приготовился разразиться новым монологом теперь уже в адрес всего семейства, когда вдруг в поле его зрения появилось нечто мгновенно его поразившее: галопом медленным с холма близлежащего к нему спускалась жизни его всадница милостью Божьей.

Девушка скакала на белой в темно-дубовых яблоках лошади. Сапоги ее в стремени торчали вперед, как у шведского кирасира. Волосы ее каштановые отлетали в том же направлении, что и у всех присутствующих, за исключением тех, у кого их не было, и откры-

вали крутой лоб, свидетельствующий об определенной чистопородности, если еще можно об этом предмете говорить к концу двадцатого века. Глаза ее сияли даже сквозь дымку защитных очков. Губы ее то собирались в зрелую вишню, то открывали мажорную клавиатуру натурального зубного хозяйства. Стан ее гибкости чрезвычайной сливался со станом гибкой лошади. Господи, подумал он, да ведь она же напоминает всех вместе взятых — Беатриче, Лауру и Фьяметту! Боже ж ты мой, почему-то в каком-то одесском стиле задохнулся Александр Яковлевич, да ведь я же ошеломляюще влюблен! Скачок за скачком она приближается. Я никогда еще не был так влюблен и никогда больше не буду. Да ведь это же она, наконец, та девушка, которая предвосхищалась еще подростку в период крушения люстр на головы. Ведь это только для нее я гитарствовал и лицедействовал! Это ведь только для нее я и отрывался иной раз от шумной орды и бездумно смотрел, как закат освещает сбоку все окна какого-нибудь двадцатипятиэтажного истукана. Или в пустынности эстонского Клогаранда среди налегающих волн поворачивался к тихой заводи и видел там нежную цаплю — только в мечте о ней.

Вот что промелькнуло перед ним в десять перескоков всей этой пьесы колен и копыт. Осталось примерно столько же перескоков, когда еще одна мысль явилась с пронзительной грустью: все это в прошлом, мы не совпали, сейчас ей двадцать лет, а мне сорок четыре, нищей обезьяне с набалдашником битой башки. Было бы ей хоть двадцать девять, о Теофил!

Кто это такой, думала всадница, подлетая, этот неплохо одетый, уставившийся с обезьяньей улыбкой? Прянув возле изгороди, скакун заплясал на месте,

взлетела над седлом обтянутая лосинами нога. Только бы она не оказалась выше меня, взмолился в этот момент Александр Яковлевич. Мольба была услышана: девица оказалась хоть и ненамного, но ниже. Сбейте с нее каблуки, и будет в самый раз. Ведя в поводу свою молодую кобылку, она подходила к семье гуингмов. Олимп, ты услышал мой стон, ей, кажется, двадцать девять! Взгляд его с мгновенной дерзостью лишил незнакомку всех ее одежд. И обуви, милостивые государи, и сапожищ!

...Каждый день он звонил Норе в Вашингтон, чаще всего из таксофона в Венис, на грани песка и асфальта. Всякий раз попадал на автоответчик. Быстрый формальный женский голос произносил: «Привет! Вам перезвонят, если вы оставите номер своего телефона. Начинайте говорить после сигнала». Даже от этого почти неузнаваемого голоса у него начиналась какая-то левитация всего организма: маячил член, раздувались легкие, пыталось выскочить сердце, парила башка. Казалось, что и в этой скороговорке слышится та ночная сладостная нотка, адресованная лично ему. А может быть, не ему, а кому-нибудь другому? Еще не осознав, что ревнует, видел, что небо над пляжем набухает чем-то невыносимым. В конце концов он записался на проклятую машинку: «Нора, это Алекс! Я не могу до тебя дозвониться! Куда же ты пропала? Я просто умираю без тебя! Нора! Нора!» На следующий день вместо формальной скороговорки в трубке прозвучало другое: «Алекс, ну что ты за глупец! Почему ты не оставил номер своего телефона? Ты помнишь Гретчен? Она тоже умирает без тебя! Оставь свой номер, и все будет в порядке!» Вмешалась телефонная компания: «Положите еще один доллар и двадцать пять центов, чтобы продолжать».

Но он уже несся под темнеющими небесами в надуваемом под ветром пиджаке, альбатросом скользил под качающимися фонарями. Такси! В аэропорт! Через полчаса он уже слонялся в стеклянных переходах аэропорта. После покупки билета на TWA у него в кармане осталась двадцатка. В баре он взял пива и попросил на пятерку четвертаков для телефона. Осталась десятка. Что может быть лучше пива перед полетом, перед таким полетом! Какие здесь, право, устраивают уютные бары! А эти аэропортовские бармены, само достоинство, само дружелюбие!

В баре все смотрели телевизор. Продолжалась общенациональная дискуссия на сексуальные темы восьмидесятых годов. Четыре человека, переменивших свой пол, делились опытом с возбужденной аудиторией телестудии. Двое стали женщинами, другие две — мужчинами. Один, правда, уже был раньше переделанной женщиной, но потом снова стал мужчиной. Быть женщиной хорошо, говорил он, но немного надоедает. Наше просвещенное общество все-таки еще не достигло равенства полов. Немного надоедает быть всегда в униженном положении. Отсюда и возникло вот желание вернуться в мужскую лигу. У людей в аэропортовском баре отвисли челюсти. Даже и Саша, несмотря на любовный туман, удивился. Разве это возможно? Можно еще представить, как мужскую особь переоформляют в женскую — ну, убирают всякие довески к корпусу, — но как же обратно-то? Ведь тут уже появляется эффект скульптуры по мрамору, ледис энд джентльмен, не правда ли? Ведь от мрамора-то ведь можно только отнять, к нему ничего не прибавишь, не клеить же. «Нет ничего проще, — сказал дважды переметнувшийся. — В наши дни хирург становится ваятелем секса!» Гром аплодисментов.

На высоте положения оказался, как всегда, ведущий разговорного шоу. «Выходит, Ричард, вы решили вернуться к сексу господ? — спросил он. — Не станете ли вы после этого женоненавистником, мой друг?» Вот так вопрос, прямо в адамово яблочко! Вот за что этому ведущему деньги платят! Дважды переметнувшийся стал взволнованно оправдываться. Нет, нет и еще раз нет, Джил! Опыт пребывания среди «нижних собак» только поможет ему бороться за равноправие среди «собак верхних»! Тут мысль АЯ внезапно ушла в совсем неожиданном направлении. Недавно в одном пачкающем пальцы еженедельнике он прочитал, что телевизионная компания платит этому ведущему двенадцать миллионов долларов в год. Значит, если этот малый будет каждый день летать к своей любимой из Эл-Эй в Ди-Си первым классом, то за год не потратит и половины своей месячной зарплаты! Вот так платят тут действительно стоящему человеку!

— Вы что, верите этому цирку? — неожиданно спросил его скептический бартендер.

— Да как же не верить? — удивился совсем поглупевший от чувства гармонии Корбах. — Вот же, доказательство налицо!

— Никаких доказательств не вижу, — сердито сказал бартендер. — Все это обман. Нехорошие махинации на странных вкусах нашей публики.

Говоря о странных вкусах публики, этот бартендер еще не все сказал. Она обладает не только странностью вкусов, но и странной склонностью очень быстро забывать свои собственные поветрия. Вот, казалось бы, только что отшумели 80-е, десятилетие серьезных сексуальных дискуссий, а население его начисто забыло.

Бывало, вечера не проходит, чтобы по ящикам в разных ток-овищах не обсуждались темы садомазохизма, гомосексуализма, инцеста, оральных шалостей, а то вот еще изменения полов, и вдруг началась новая декада с новыми темами, как будто те все уже высказали и отмахнули. А ведь темы-то были исключительно серьезные, ведь за ними все-таки первородный грех стоит. наших героев, Ая и Нору, дочь его четвероюродного кузена Стенли Корбаха, в редкие передышки среди любовных утех, тоже занимала их собственная друг к другу одержимость. Что это? Грех ли это или Дар Божий? Посещает ли нынче мир «новый сладостный стиль» или давно уже изжит за бесконечными ток-овищами?

XII

СТАРЫЙ
СОЧИНТЕЛЬ
И
ДИКАЯ
ИНДЕЙКА

Начиная и заканчивая свои большие романы в течение 90-х годов, я уловил некоторую закономерность: на каждый из них уходило около или чуть больше трех лет. Когда дело дошло до «Кесарева свечения», я сообразил, что этим сочинением могу отметить конец тысячелетия. Так и получилось Интересно, что никакой штурмовщины не потребовалось. Потребовался отпуск на один семестр, я подал заявление, и Парфенон опять не подвел: sabbatical был предоставлен. В холодном и трезвом сомнамбулическом состоянии среди кристаллической вирджинской осени 2000 года я завершал сей огромный словесный «проект», всякий раз по утрам удивляясь, что вижу за завтраком своих обычных домочадцев. Конечно, я скрывал удивление, хотя задавал некоторые вопросы невпопад. Домочадцы тогда переглядывались. Так получилось и однажды вечером, когда я поставил точку, спустился к ужину и спросил пастернаковской цитатой: «Какое, милые, сегодня тысячелетье на дворе?» Соблазн был велик — украсить последнюю страницу столь круглой датой; завершилось романное десятилетие, завершился наш главный век Ха-Ха, как его называют в этом романе —

Ха-Ха, ты был свиреп, ты хавал свой прогресс,
Но все ж ты был Ха-Ха, ты сеял массу фана!
Ты рывкаешь, как вепрь, но куришь сладкий
грасс,
Прости, что для стиха я ботаю на фене, —

завершилось и тысячелетие, пролетев одним махом, от голубиной почты до интернетовского кли-кли. Роману этому, боюсь, не удалось избежать полемичности. Если кто-нибудь ее там не найдет, я буду счастлив. Ей-ей, не для литературных полемик пишутся романы, и все-таки диковинной своей композицией он как бы говорит тем, кто своей гладкописью сводит наш жанр к убожеству: учись, халтура, какой бывает «магический кристалл»!

Словом, перед вами есть «начало», которое ничем другим не является, кроме как началом повествования, и вот именно «началом» типа гоголевской брочки, въезжающей в город N. Собственно говоря, это просто то, что может в один прекрасный день выкатиться из принтера некоего «старого сочинителя». Только потом уже начнется повествование со всеми соблазнами реализма, однако оно будет три раза прерываться тремя полноразмерными пьесами о молодом авантюристе, что промелькнул в начале начала и завершился своей кончиной в финале финала. В этом же повествовании мы увидим целую главу, составленную из стихов, сочиненных «старым сочинителем», а также два рассказа (short stories) в оригинале, написанных по-английски, а также художественное эссе «Пегас Пикассо», написанное хоть и по-русски, но слегка и на других наречиях, во всяком случае проливающее некий свет на демиургическое происхождение героя.

Наш молодой герой Слава Горелик, который в то же время является «литературным детищем» старого

сочинителя, в отличие от последнего жаждет поскорее покинуть XX век и неизбежную для старого сочинителя «американственность» того времени; он, по всей вероятности, принадлежит к какой-то новой версии полукриминального российского необайронизма. Что касается старого сочинителя и профессора кафедры конфликтологии Стаса Ваксино (бывший русский писатель Влас Ваксаков), он за долгие годы в американском изгнании настолько оторвался от родной почвы, что то и дело норовит написать что-нибудь по-английски. Судите сами, разве может считаться русским писателем автор такого рассказа, как «Бэби Кассандра»?

Стас Ваксино

БЭБИ КАССАНДРА

Рассказ

(перевод В. Аксенова)

В начале 1980-х, точную дату не припомним, в ходе нашего долгого странствия мы достигли юго-запада Вашингтона, дистрикт Коламбия, и сняли там двухкомнатную квартиру в большом жилом доме. В этом районе, с его геометрически правильными кварталами шестиэтажек, мы все время пребывали в состоянии сонливого замедленного движения. Шаркаешь ногами из кухни, с чашкой кофе в руке, к окну в гостиной. Потягиваешь тепленький напиток перед окном с видом на робкий, если не слезливый, пейзаж. Ничего особенного в поле зрения не определяется, кроме паклевидных облаков да ряда одинаковых окон со стоявшими в них то тут, то там одинокими фигурами соседей, потягивающих тепленький кофе.

В редких случаях можно увидеть в небесах альбатроса на пути из Гренландии к мысу Горн. Он совершает круг над кварталами юго-запада, а потом, явно напуганный монотонностью этих мест, быстро взмывает к облакам; выше, выше, исчез! Ну и птичка, говорим мы сами себе, экая огромная Чайка! Месяц за месяцем она летит над ревушим и пенящимся океаном; разве можно сравнить чеховскую дачную пьесу с этими головокружительными водоворотами! В конце она приземляется на предназначенном ей утесе возле мыса Горн и начинает там свои любовные игры. Посылает там звуковые сигналы противоположному полу своего вида, и противоположный пол посылает тысячи звуковых сигналов новичку. Тысячи негативных калькуляций имеют место перед тем, как возникает одна-единственная позитивная калькуляция, после чего два альбатроса, он и она, начинают летать вместе, показывая уникальную, почти безупречную синхронность.

Мы имитируем волну какого-то воображения, сильные эмоции, но потом оставляем скучное, обезальбатросенное окно и плетемся к своему полуспальному дивану. Кружка остается на полу, никакого осадка на дне.

«Это как раз то, что вам нужно, — говорит наш сосед, психолог доктор Казимир Макс. — Лучшая терапевтическая среда для блуждающего народа. Оставайтесь здесь так долго, как можете, и избавитесь от изнуряющей мигрени, кожного зуда и сыпи, депрессии духа и угнетения либидо — всех этих последствий культурного шока. Посмотрите на меня, я поселился здесь двадцать пять лет назад, сразу после того, как мой апартамент в Будапеште был поражен танковым снарядами, и с тех пор с удовольствием ощущаю постоянное улучшение моего состояния».

Так случилось, что сразу после этого увещевания мы нашли новую квартиру и переехали в маленький кондоминиум в районе Адамс-Морган. Ошеломляющий опыт, мы должны признать, равный, скажем, эмиграции из Исландии в Бразилию или из Минска в Париж. Нечто сродни переходу из сна в реальность, или наоборот. Теперь из большущего окна нашей гостиной открывается вид на мешанину домов Адамс-Моргана и Дюпона, с ее башенками, куполами, бесчисленными типами террас и деков, огромным разнообразием антенн, а дальше церковные шпили, отдаленные колоннады нашего правительства и гигантская фараонская колонна-символ, в конечном счете. Добавьте к этому аэролайнер, что через каждые две минуты скользит, словно разумное существо, вниз к порту Нэшнл, и вы получите полную картину.

С другой стороны окна нашей спальни выходили на оживленную деловую улицу с ее неиссякаемым потоком машин, множеством маленьких шопов, торгующих любыми необходимыми предметами, от французских булочек до камней, домашних любимчиков. На одном углу саксофон играл каждую ночь до рассветного часа, на другом безостановочно завывал проповедник, поставивший своей целью пресечь зловерный гедонизм человечества.

Мы, конечно, тут же влюбились в эту среду обитания. Мы надеялись, что наши чувства тут оживут скорее, чем во владениях доктора Макса. И все говорило за то, что мы не ошибемся. Первым вернулось обоняние. Запах всех мыслимых пряностей, источаемый этническими едальнями, дразнил наши ноздри и увлажнял нёбо. В области запахов вообще этот район не был буколическим местом — со-

всем нет. Адамс-Морган пованивал самым что ни на есть *raison d'être*¹.

Ароматы всевозможных мазей и кремов смешивались тут с мочой, разные сорта табака — с порохом и ацетоном, трупный яд — с хелебором, гиацинты — с экскрементами, с потом и слизью всевозможных происхождений. Такова была ароматическая палитра этого района, и она, после всеобъемлющей санитарии юго-запада, возвращала нас в контекст человечества. Нашего несусветного мирового становища.

Второе сильное ощущение возникало под влиянием человеческих взглядов, как мимолетных, так и пристальных. Там, где мы раньше жили, редкий встречный как-то слепо взглядывал исподлобья во время обмена малоразборчивым «гуд-морнинг». Здесь каждый прежде всего старался встретиться с вами глазами, чтобы затем улыбнуться, или подмигнуть, или то и другое, или сделать комическую гримасу, как будто он чрезвычайно впечатлен чем-то в вашем облике, будь это пакет с апельсинами или плюмаж на вашей шляпе.

Мы должны признаться, что Адамс-Морган заставил нас вернуться к нашему любимому, еще со времен Старого Мира, времяпрепровождению — бесцельным прогулкам. День-деньской мы шлялись вокруг перекрестка Коламбия-роуд и Восемнадцатой, привыкая к множеству гортанных диалектов, переминаясь с ноги на ногу в толпе, слушающей бочковый оркестр, глядясь в витрины магазинчиков курьезов или в бесчисленные храмы еды, а также жуя что-нибудь на ходу, насвистывая новые мотивчики, приобщаясь к специфической местной легковесной достоверности.

¹ Смысл (жизни) (*фр.*)

Вскоре мы стали знатоками этой общины. Наши соседи, красочная смесь англов, ирландцев, афроамериканцев, афроафриканцев, славян, индонезийцев, индусов, монголов, китайцев, вьетнамцев, узбеков, евреев, всех видов латино, скотцев, французов, непальцев (надеюсь, мы не забыли перечислить армян), сердечно нас приветствовали и на вопрос «как у вас сегодня?» не ограничивались неизменным «файн!», но всякий раз старались пояснить, почему это так уж файн сегодня.

«Капитан квартала», отставной коммодор Трой Крэнкшоу, всегда был гораздо устроить какое-нибудь светское событие прямо на улице — будь то выставка аквариумов с рыбками, или сбор сыпучих субстанций для нуждающихся, или просто «сэй-хеллоу»¹ — вечеринку, одобренную особым сортом крепленого сидра из его родной Западной Вирджинии.

Проходили у нас также парады «Голубого достоинства», международные фестивали (в основном в области кулинарии), случались массовые потасовки и кикбоксинг, пожары (или поджоги?), спасательные операции и пиротехника. Люди здесь были склонны показывать пальцами в небеса, как будто что-то приближается. С другой стороны, они никогда долго не думали перед тем, как швырнуть опустошенную бутылку в стену. Словом, здесь процветал довольно веселый и слегка чокнутый образ жизни.

После нескольких визитов к нам наш друг доктор Макс наконец осознал, что созрел, то есть в достаточной степени поправился для переезда в Адамс-Морган. Здешний народ с его чудачествами составит, он полагал, порядочный круг его пациентов. Он открыл здесь

¹ От англ. Say hello — Скажи привет! (простенькая вечеринка).

свой офис под названием «Психо-кафе», оборудованный стендом для пончиков и машиной «эспрессо». Все устаканится, господа, поговаривал он на языке своих прежних обидчиков, все постепенно устаканится. Признаться, мы немного опасались: не слишком ли?

Однажды вечером около девяти в паре кварталов от нашего кондо возле бессонного магазинчика «7—11» мы заметили огромный автомобиль, который был похож на старого заезженного верблюда в ряду ухоженных пони. Как он умудрился запарковаться здесь, на одном из самых бойких перекрестков, где из-за малой лужи асфальта нередко вспыхивали лобовые столкновения? Это был «шевроле стэйшн-вагон» с «деревянными» панелями вдоль бортов, что безусловно указывало на его происхождение из ранних шестидесятых. Его старательно обезображенный задний бампер, хоть и был привязан к корпусу поясом купального халата, все-таки свисал едва ли не до земли. Что касается его внутренностей, то они были заполнены какой-то дрянью до самого потолка. Сквозь грязные окна мы заметили среди пластиковых мешочков, как бы раздутых какой-то гнилью, желтоватый бюст античного человека с кудрявой бородой, лысой башкой и слепыми глазами.

Некоторое время мы болтались возле этого авто, чтобы увидеть водителя, но никто не появился. Через пару дней мы снова здесь оказались и увидели, что машина стоит на прежнем месте, а пучок штрафов под одним из ее крабовидных «дворников» трепещет в порывах ветра, словно голубь в силке.

Есть что-то жуткое в этих брошенных по американской земле машинах. От них несет тотальным упадком, внезапным концом нашего, казалось бы, безоста-

новочного движения, тем днем, когда все наши «кары», Господи упаси, будут брошены.

Еще через день-два, в тот же вечерний час, купив бубликов в «7—11», мы снова бросили взгляд внутрь оставленной колымаги. Никакого бюста там больше не наблюдалось. Вместо него рука ползла там посреди помойки, ощупывая сомнительные пожитки какой-то персоны, чье существование само по себе вызывало сомнение. Рука, похоже, что-то искала или старалась определить что-то путем ощупывания. Она была похожа на ныряльщика в темноте неисследованных глубин, а может быть, скорее на чужака с другой планеты. У нее не было глаз, как не было у нее и ушей. Это была отдельно взятая рука с пятью длинными костлявыми пальцами, вот и все.

Тут нас пронзила догадка: данная рука — это не что иное, как чья-то попытка преодолеть перегородку между биологическим осязаемым миром и небιологическим неосязаемым миром. Бюст не сработал, теперь пробуют руку. Кто-то из «того мира» (или, вернее, немира) принял форму тактильного биоустройства, то есть стал рукою.

Какой только вздор не приходит в голову, когда заглядываешь в брошенную машину! Пальцы сжали край какой-то ткани и потянули его таким образом, каким любая обычная персона тянет на себя одеяло, чтобы укрыться с головой. Потом рука исчезла.

— В чем дело, народ? — произнес рядом с нами густой голос. Башней высился полицейский в своей великолепной форме с блестящими бляхами и эмблемами.

— Все в порядке, офицер, — ответили мы. — Ничего особенного. Просто мы думали, что это бесхозная машина, а оказывается, кто-то там обитает.

Мент усмехнулся и подкрутил концы своих усов.

— Не надо волноваться. Мы обо всем позаботимся.

Мы на это надеемся, о наш блестящий страж — так захотелось нам к нему обратиться. Вы, сержант Боб Бобро, как гласит ваша планка идентификации, позаботитесь обо всех этих метафизических глюках. Мы рассчитываем на вас, славный хранитель здравого смысла, стойкий сторонник порядка вещей! Как приятно вас видеть, пышущего здоровьем и спокойствием при исполнении служебных обязанностей. Боже вас благослови каждый пролетающий момент на этом ветреном перекрестке! Разумеется, мы не произнесли ни слова из этой экзальтированной чепухи, но лишь откланялись и покинули центуриона.

На следующий день в то же время, после ужина в эфиопском ресторане мы бодро двигались домой в предвкушении баскетбольной битвы на ТВ, когда внезапно рядом с той дурацкой развалюхой мы заметили человеческое существо. Это была тощая и парадоксально высокая женщина в джинсах и сверхразмерной майке. У нее были сутулые плечи и впалая грудь. Она курила дешевую сигару и обращалась к прохожим при помощи своих беспорядочно двигающихся длинных пальцев и беззвучного шевеления синеватых губ. У нее было длинное тяжелое лицо и водянистые глаза, явно не способные сконцентрироваться на частностях окружающей среды.

Какой бы странной она ни казалась, самой поразительной чертой в ее облике был крошечный ребенок, прикрепленный к ее левому бедру. На вид он был

не старше шести месяцев, но он спокойно висел на бедре, словно удерживаемый туго натянутой пуповиной. С серьезным и добродушным выражением ребенок озираал этот новый для него мир, образованный в данный момент нашим суетливым перекрестком.

Мы приблизились к машине и ощутили с трудом выносимую вонь. Две передних двери были приоткрыты, мутный свет шел с потолка. Полусъеденная курица торчала из пластикового мешка. Мы спросили курильщицу сигар, нужна ли ей помощь. Она повернулась к нам, но было неясно, правильно ли она нас фокусирует, то есть во множественном ли числе. Впрочем, она обратилась к нам при помощи собирательного существительного.

— Пипл, — сказала она, — я не знаю, что делать с этой проклятой развалюхой. — Она звучала в удивительно низком регистре.

— Не волнуйтесь, сударыня, — сказали мы. — Сейчас мы вас раскочегарим!

— Пипл, вы так добры, вы так милы! — вскричала вдруг она с неожиданной страстью, как будто мы предложили ей одну из наших почек.

— Подождите немного, сейчас мы приедем сюда на нашей машине, — сказали мы.

Тень улыбки проплыла по ее длинной физиономии, после чего ее всю передернуло. Беспомощно она прошептала:

— Пипл, у меня ключ-ч-ча нет.

— Где же ваш ключ?

— Пропал.

Несколько минут прошло в молчании. Женщина покачивалась, как мыслящее взвешенное растение.

— Может быть, у вас есть другой набор ключей дома? — спросили мы.

— Дома? — Она улыбнулась уголком рта. — Может быть. А может быть, и нет...

— Нельзя ли узнать, где вы живете, мэм? — спросили мы осторожно, ожидая услышать в ответ что-нибудь вроде «Зембла» или «Рубла».

— Гикки. — Она улыбнулась с привкусом какой-то отдаленной ностальгии.

— Это где? — спросили мы с еще большей осмотрительностью.

— Зовите меня Гикки, хороший пипл, — сказала она. — Я Гикки.

— Так где же вы живете... хм... Гикки?

— Спрингфилд, — сказала она меланхолично.

— Стало быть, вы Гикки Спрингфилд, или вы Гикки из Спрингфилда?

— И то и другое.

— А это ваш бэби прикреплен к вашей ноге? — спросили мы с ударением на слове «ваш».

— Да, это мой бэби! — воскликнула она с ударением на «бэби». — Это моя дочь Кассандра!

Она разразилась рыданиями. Весь ее огромный костяк дрожал и дергался в диких спазмах. Что касается бэби Кассандры, она казалась совершенно невозмутимой в этой тряске. Только ее маленькие ручки трепетали, словно ища равновесия.

— Мы описались, добрый пипл, — стонала Гикки. — Мы мокрые и грязные! Мы не можем больше жрать нашу тухлятину! У нас ломка! Мы потерялись тут совсем, несчастные, мой добрый заботливый пипл!

Что делать дальше? Привести их к нам? Но что подумают о нас соседи? Приход таких гостей, как Гикки, может существенно поколебать позицию нашего чинного кондо на рынке недвижимости. Что, если не-

которые наши соседи не будут обезоружены чувством сострадания? Затем мы отбросили колебания. Идемте, Гикки и бэби Кассандра, вам нужна ванная комната, горячая еда и питье, телефон, чтобы позвонить своим спрингфилдианцам! Благодетельные демиурги аплодировали нам с осенних небес. Коммодор Крэншоу одобрительно кивал с отдаленной точки перекрестка.

В нашей гостиной Гикки положила свою дочь на диван и отправилась в ванную. Наш французский бульдог Гюго немедленно лизнул бэби в пятку и улегся рядом, как будто давно уже привык к такого рода посетителям. Кассандра то и дело пыталась поиграть с его выпученными глазками и тряпочными ушками.

Гикки вышла из ванной комнаты абсолютно голой. Она была похожа на бывшую баскетбольную центровую из Балтии. Удивляло полное отсутствие грудных желез, однако костлявые плечи и длинные руки составляли несколько странную гармонию с чудесно женственными бедрами. Для полноты портрета добавим, что белки ее глаз казались скорее желтками, что губы по цвету гармонировали с бледной, опять же балтийской, голубизной зрачков и что ярко-розовые пятнышки были рассыпаны вокруг крупных суставов.

— Пипл, вы, наверное, хотите взять меня, не так ли? — спросила она с несколько претенциозным смирением.

— Послушайте, мисс Гикки, — сказали мы. — Мы вовсе не собираемся посягать на вашу личность. Отправляйтесь-ка наверх, откройте шкаф и найдите там для себя какую-нибудь чистую теплую одежду. Что касается вашего собственного гардероба, можете бросить его в стиральную машину.

Мы думали, что она выберет какой-нибудь треник, но она вернулась из спальни в костюме-тройке, который там давно уже висел в ожидании приглашения на светскую тусовку. Он ей шел, несмотря на то что и рукава и штанины были коротки для ее конечностей.

Она взяла бэби Кассандру и при помощи каких-то липучих поверхностей соединила ее с привычным местом на своем левом бедре. Инфант улыбался и трепетал, словно представляя вечно счастливый рой малых ангелов. Гикки жевала гамбургер, сдобренный большим количеством кетчупа. Временами она зачерпывала прожеванную пульпу изо рта и отправляла ее в ротовое отверстие крошки. Кетчуп размазался по их лицам, и мы впервые заметили их удивительное фамильное сходство. Обе залетные птицы были чрезвычайно возбуждены — одна от полноты жизни, другая от ее предвкушения.

— Спасибо за все, — шамкала Гикки сквозь гамбургер. — Куча благодарностей за то, что привели нас в тепло, а также за горячую воду и мыло, одежду и гамбургер и за кетчуп, в натуре. Вы просто волшебник, сэр!

— Множественное число, пжалста, — напомнили мы ей правила игры.

Она стала часто кивать, как какой-то герой мультяшки:

— Конечно, множественное, чисто конкретно, плюраль! Ну, уж конечно, наш щедрый пипл, вы — чистый плюраль! — Тут она схватила наш телефон.

Полчаса или дольше она набирала номера и рассказывала по линии историю ее злополучного странствия: затерялись в лабиринте Ди-Си, все четыре шины сплющились, ноги тоже не держат, живот бурчит, голова тоже, а руки стали похожи на морских птиц, угодив-

ших в мазут, пока нам тут не встретился щедрый плюральный пипл, который нас спас. Насчет бэби Кассандры не извольте беспокоиться, она счастлива и здорова и ест сейчас полную ложку клубничного шейка, пускает пузыри, такая чудесная девочка! Давай приезжайте за нами и отвезите нас в Спрингфилд! Она не называла имен, но по специфическому хихиканью и кокетливой мимике можно было понять, что все ее собеседники были мужчины.

Вскоре они начали прибывать: трудно сказать, сколько их было. Каждый представлялся как муж Гикки. У всех у них было что-то общее, и прежде всего в глаза бросалась татуировка. Открытые части их тел были покрыты таким густым слоем этого изобразительного искусства, что казалось, их майки были натянуты на плотное голубоватое трико. Один из них, впрочем, пришел в рубашке с галстуком, однако хвостики змей выползали у него из-под манжет, а острый кинжал выпирал из воротника прямо под адамово яблоко.

Все эти ребята, здоровенные и мускулистые, старались демонстрировать хорошие манеры. Принимая свои напитки, они оттопыривали мизинец.

— Джи, Гикки, ты выглядишь снэззи!¹ — восклицали они при виде своей жены, вихляющейся в костюме-тройке. Все они, без исключения, делали бэби Кассандре козу. — Хай, Кэсси! Как дела, моя конфетка?

Девочка приветствовала их очаровательной улыбкой, однако глазенки ее катались слева направо и обратно: слишком много было папочек для одного инфанта.

— Вот так прорва мужей, — сказали мы осторожно. — Где вы их выращиваете, Гикки, если не на ферме?

¹ От англ. spazzy — шикарный, эффектный.

Она смущенно присвистнула по-французски:

— C'est la vie!

Снова и снова мужественные голоса звучали в до-мофоне, двери распахивались, и новый муж в своей татуировке присоединялся к компании. Все они топ-тались в нашей квартире и, казалось, были готовы пу-ститься в пляс. В конце концов так и случилось: они начали свой неуклюжий танец, который, как мы по-няли, был своего рода ритуалом прощания. Только после того, как последний муж покинул помещение, мы за-метили, что вместе с ними исчезли: бэби Кассандра, ее мать Гикки, наш костюм-тройка и наш французский бульдог Гюго. Мы сидели в углу гостиной, оглохшие от внезапной тишины. Одна лишь единственная вещь напоминала о столь внезапно разыгравшейся и столь же внезапно исчезнувшей вечеринке: забытые жалкие джинсы Гикки. Мы швырнули этот предмет вымысла в окно, прямо в мощный поток воздуха, которому слу-чилось пролетать. Хлопая штанинами, джинсы удалились в сторону тлеющего горизонта.

С той ночи прошло много лет. Кажется, не менее восемнадцати, но кто считает? Адамс-Морган суще-ственно не изменился. Как прежде, он был бурноки-пящим и расслабленным в одно и то же время. Впро-чем, некоторые изменения, разумеется, накопились. Из них самые заметные сразу бросались в глаза всякий раз, когда мы бросали взгляд на свое отражение в витри-не. Мы постарели. Наши бакенбарды и косица стали седыми. Мы отказались от нашего дерзкого прикида. Не было больше ни треуголки с плюмажем, ни сереб-ряных шпор. Вместо этого у нас развилась склонность ко всему мягкому: вельветовый костюм, ирландская тви-

довая шляпа, кашемировый шарф, туфли из оленьей кожи. Мы придерживались диеты и перечитывали классиков. Народ Адамс-Моргана к нам привык и называл нас «наша старая гвардия». Больше того, коммодор Крэнкшоу однажды осторожно предложил нам занять позицию его заместителя по части подбора разбитой посуды. Для дальнейшей циклической переработки, разумеется.

По-прежнему нам нравился этот уголок мира, и мы жалели только о том, что он не расположен на острове, омываемом теплыми океанскими течениями, подсушенном благосклонными солнечными лучами и продуваемом прохладными бризами. Увы, он не был там расположен. Осадки и влажность частенько выводили нас из себя, однако мы все-таки получали удовольствие от этого места действия, потому что там было славно.

Однажды мы шли домой, неся пучок экологически чистой моркови и упаковку безалкогольного пива, когда к нам подошла худенькая девушка лет восемнадцати. Она мягко сказала:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, мисс! Чем мы можем быть вам полезны?

Она счастливо засмеялась:

— Как мне нравится ваше множественное число! Клянусь, я всегда обожала ваш плюраль! — Что-то было в этой молодой особе несказанно невинное и добродушное.

— Имели ли мы честь видеть вас ранее, мисс? — спросили мы.

— Ну конечно же! — воскликнула она. — Присмотритесь! Неужели вы меня не узнаете? Я Кэсси, бэби

Кассандра, как меня звали в те дни. Я была приторочена к левому бедру моей матери, припоминаете?

— Это удивительно, — сказали мы. — Вам в ту ночь, если это были вы, было всего шесть месяцев. Как вы можете помнить нас?

Она потупила глаза.

— Я помню все: ваш диван, и жвачку с кетчупом, и ложку клубничного шейка, которую я с таким наслаждением проглотила, и вашего Гюго, который последовал за мной и стал лучшим другом моего детства, и танцующую вокруг толпу моих отцов. — Она подняла глаза, они сияли. — Уж если вы не помните меня, припомните мою мать, мою драгоценную женщину с ее гигантским размахом рук сродни альбатросовым крыльям.

— Конечно, мы помним Гикки, — сказали мы и добавили осторожно: — Ну, как она?

Кэсси вздохнула:

— Она всегда легко взмывала ввысь, однако, увы, ей всегда было трудно благополучно приземлиться. Ее конечности были слишком тяжелы для приземлений. Однажды на сильно пересеченной местности она переломилась.

— Как это грустно, — вздохнули и мы.

Мы заняли столик на тротуаре возле углового кафе. Как многие другие заведения в округе, это кафе теперь принадлежало нашему бывшему другу психологу. Он сам в своем новом бурнусе, окруженный группой верных пациентов, шествовал мимо, как бы не замечая нас с девушкой. Без сомнения, он уже прослышал, что нам была предложена позиция по надзору за битым стеклом, а ведь коммодор Крэнкшоу был здесь его архисоперником. В недавние годы доктор Казимир Макс изменил манеру своего общения с людьми. Если раньше

он впивался взглядом прямо в человеческие лбы, стараясь прочесть их мысли, теперь его глаза скользили выше, как будто он подсчитывал клиентов по макушкам. Сегодня он, по идее, должен был быть доволен: улицы были полны потенциальных пациентов, и к тому же многие из них быстро превращались в посетителей кафе. Тем временем саксофонист на углу играл «Около полуночи», а на другом углу проповедник вопил, как обычно: «Отрекитесь от сирен Христианства!»

— А что с вами было, бэби Кассандра, как вы провели эти восемнадцать лет? — спросили мы тепло, но осторожно: сильные эмоции были противопоказаны в нашем возрасте.

Она залилась колокольчиком в счастливом смехе:

— О, благодарю вас, со мной все было в порядке, иначе я бы уже давно попросила вашего покровительства. Обо мне заботились мои отцы, а один из них, некий Стас Ваксина — он русский, представляете? — даже оказал на меня серьезное влияние. Вы знаете, все мои отцы принадлежат к весьма авторитетному обществу с широкой сетью общенациональных связей. Вы спросите, что это за общество? — Она улыбнулась с детской хитроватостью. — Могучая гласная буква трижды венчает его!

— А-а-а, — догадались мы.

Она продолжала свой рассказ:

— Я была неординарно одаренным ребенком, особенно в области музыки. Точнее, в вокале. Похоже, что вы не принадлежите к концертной публике, не так ли? В концертном мире я широко известна как одна из ярчайших восходящих звезд. «Сопрано Нового Тысячелетия» — ни больше ни меньше. Специалисты пишут работы о моей уникальной гортани, о мембране,

связках и языке-глотис. Они называют все это безупречным, больше того — чудодейственным вокальным аппаратом!

— Странно, как это могло пройти мимо нас, — пробормотали мы. — Конечно, некоторые проблемы мочеиспускания мешают нам посещать концерты, однако в нашей фонотеке мы поддерживаем довольно существенную коллекцию вокальной виртуозности. Мы также стараемся следить за развитием этой области, читаем периодику и даже некоторые специальные издания. — Внезапно мы поняли, что девушка еле сдерживается, чтобы не разрыдаться.

— Какая досада, — прошептала она. — Я еще не начала петь, а вы уже мне не верите.

— Кэсси, бэби, — мы умоляли, — не плачьте, пожалуйста! Кто сказал, что мы вам не верим? Мы просто огорчились, что пропустили что-то важное.

Она вынула платок из нашего нагрудного вельветового кармана и крепко вытерла им свое лицо до суха.

— Самая паршивая часть этой истории состоит в том, что народ не верит моему пению, — произнесла она с некоторым привкусом злобноватой меланхолии.

— Господи, что это значит?! — воскликнули мы. — Вы говорите в аллегорическом смысле?

— В буквальном. Всякий раз, как я начинаю свое феноменальное пение, публика бывает ошарашена, полностью захвачена, задыхается от восхищения. Однако через пять—десять минут она начинает обмениваться взглядами, а потом и ухмылками. Не успею я достичь зенита в своем апофеозе, как они начинают уходить. Если хотите, я вам продемонстрирую этот феномен прямо сейчас. Хотите, спою?

— Сделайте одолжение. — сказали мы. — Мы уверены, что народ Адамс-Моргана оценит ваше пение по достоинству.

— Я спою «Вокализ» Рахманинова, — предложила она.

— Все что угодно, только не это! — взмолились мы. — Это не очень хорошо для диабетиков.

— Нет, я спою «Вокализ», — сказала она категорически. — Верьте не верьте, я долго мечтала спеть именно эту пьесу на именно этом углу рассказа.

С первыми же звуками ее пения проповедник и саксофонист прекратили свою деятельность, а прохожие остановились как вкопанные под напором неслыханного обаяния. Сержант Боб Бобро остановил движение, а доктор Казимир Макс поднял руку, призывая свою паству к молчанию. «А-А-А, — пела бэби Кассандра и продолжала: — А-А-А». Ее пение очаровывало и обезоруживало, то есть опутывало чарами и отбирало оружие, оно было почти невыносимо. Публика стала обмениваться взглядами. Некоторые ухмылялись, как будто выказывая последнее жалкое сопротивление. Внезапно кто-то встал, с грохотом перевернул столик и с хряканьем отшвырнул свой стул. Это был наш властитель дум в его ветхозаветном одеянии.

Она нас заклинает, как змей, люди хорошие! Она нас чарует! Я протестую против чар ея! Мы ведь не рептилии! Мы люди, сторонники психоанализа!

Вокруг был слышен ропот толпы. Сержант Бобро капитулировал и возобновил трафик. Кто-то прошептал в одно из наших ушей:

— Ах, если бы только децибелы очарования остались на этом уровне! Народ бы постепенно привык к ним! Я молюсь, чтобы они не пошли выше! — Это

был коммодор Крэнкшоу, бледный и драматичный. Его выцветшие голубые глаза, повидавшие немало морских сражений, не отрывались от поющего отверстия бэби Кассандры. — Прошу тебя, дитя, утихомирь свои децибелы очарования!

Однако амплитуда децибелов очарования продолжала нарастать.

«Кесарево свечение», как я полагаю, довольно трудно классифицировать в рубриках книжного рынка. Если вы входите в большой книжный магазин, вы видите полки книг под постоянными, как бы навеки утвержденными названиями видов: *romance, gothic, thrillers, adventures, courtroom novels, etc.* «Свечение» ни в один из рыночных видов не поставишь, может быть, потому эта книга и не устраивает стяжателей из «Рэндом Хаус». Им кажется (и, скорее всего, так и есть), что они знают своих покупателей, ведь это именно они, специалисты по маркетингу, в течение многих десятилетий создавали вкусы и покупательные импульсы доверчивой публики. Когда-то я шуточно написал о других страстных любителях классификаций, коммунистических пропагандистах: «Похоже, что, если им позволить все классифицировать, они оставят человечество в покое». В этом аспекте наблюдается близость столь фундаментально противоположных концепций.

Для «Американской кириллицы» мы возьмем из опуса несколько фрагментов, связанных с американской сегодняшней, или, может быть, уже слегка вчерашней, рекой действительности. «Литературное детище», тот самый кесаренок замысла, остается в своих взрывных драматургических триадах «места, времени и дей-

ствия». Старый сочинитель Стас Ваксино неторопливо читает иные главы собравшимся под оранжевой лампой друзьям; и все течет.

КСТАТИ, О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

Я снял с принтера первую часть и, не перечитывая, сразу вошел во вторую, чтобы «фиксануть себе брекфест», говоря по-эмигрантски. Пока заваривал чай и подогревал краюху хлеба, смотрел в окно на поведение птиц и маленьких животных. Сушая свистопляска. С тех пор как подвесили кормушки, у дома стало порхать множество здешней крылатой братии: все эти финчи, роббины, ориолы и кардиналы; иной раз залетает мэпай, а то вдруг из зеленых глубин близкого леса, словно воздушный разведчик, пожалует хупу. В данный момент на перилах дека сидит неизвестный принц: густо-оранжевый плюмаж, серебристое жабо, черный торчком хвост, ни дать ни взять елизаветинский вельможа. Вудпеккер, что ли?

Все они, кажется, уже обожрались моим зерном. Во всяком случае, не поднимают, как раньше, шухера, когда налетают белки. Просто сидят вокруг и смотрят, как те раскачиваются, чаще всего головами вниз, на подвешенных птичьих кормушках, просто ждут, когда грызуны накушаются; полное спокойствие — всем, мол, хватит. Беличье раскачивание кормушек между тем способствует обильному высыпанию зерна, а внизу это благодатное явление природы приветствуют чипманки и разные прочие стремительные чаффинчи.

Так создается общество вэлфэра, идеальная утопия, невиданный коммунизм. Однако, что однако? Дурная

профессия не позволяет и тут не спрогнозировать какую-нибудь сложную конфликтную ситуацию. В последнее время я стал замечать, что эти создания начали утрачивать свою подвижность, а ведь бесконечная стремительная подвижность как бы заложена в самом смысле их существования. То и дело можно увидеть, как отяжелевшая задней частью белка сидит без движения на столбике забора. Даже бурундучок, сльвущий самым молниеносным животным в мире, а теперь опупевший от полной сытости, застывает на крышке вентилятора и подолгу там пребывает, создавая впечатление то ли перочинного ножика, то ли древнего философа. Бесперывный поиск пищи составляет суть его существования, а теперь, набив себе брыла, он, видно, задумался о чем-то более фундаментальном.

Вот тут-то и слопает его плотоядная лисица. Тут-то и завяжется конфликт, способный нарушить всю экологию нашего края. Ведь мой дом не одинок в смысле птичьих кормушек. Ведь поселок — а рядом десятки других таких же поселков — дает безобидным жителям леса возможность не заботиться о пропитании, а стало быть, открывает и новые перспективы хищникам. Представим себе, что лиса обожралась задумавшимися бурундуками, вот она и сама отяготилась лишними мыслями. Оленю теперь ничего не стоит забить ее своими копытами. Стало быть, и он, олень, теряет скорость. Ворон, погуляв по лисе, перестает выполнять свои обязанности санитаря леса. У ястреба стало слишком много доступной живинки. Задумавшись о постороннем, он может прекратить свой вечный парящий розыск, упадет и разобьется. Излишние количества трупного яда приведут в конце концов к какому-нибудь патологическому сдвигу — скажем, к возникновению мутантного

вида муравьев и к бессмысленному покорению ими всего леса. Вот муравьи-то и начнут осаду человеческих жилищ.

...Ну хорошо, завтрак завершается, краюха баварского хлеба почти изглодана. Помню, приехав в Америку 18 лет назад, все наше семейство стало увлекаться этими пресловутыми hearty breakfast'ами: огромный стакан свежесжатого сока, стопка поджаренного бекона, тосты, яйца в разных видах, свиные сосисочки, ячменные блинчики с патокой, здоровенные кружки кофе со сливками. Годы прошли, семейство разбежалось, все меньше хочется жрать. Завтраки сведены к черствой булке и чашке чая — правда, крепкого такого, британского, бодрящего. Странное дело — от кофе воротит, чай возвращает в актив.

Кстати, о человечестве. Чем оно занято поутрянке? Пора включать коммуникации. На 101,0 все еще идет «неделя биг-бэндз»: трубы, кларнеты и саксы трубят ритмы юности — «У меня есть девчонка в Каламазу». На 119,1 оперная ария «Ах, никогда я так не жаждал жизни» сменяется рекламой кладбища «Лучезарная память», которое только что обогатилось новыми, в готическом стиле воротами. 909,5 в духе нынешней ветреной и холодной весны с ее слабо зеленеющей прозрачностью отдаленных роцц передает клавишинный плеск Боккерини. Оставив этот концерт фоном, включаю CNN. Там, среди боснийских или косовских гор, неторопливо передвигается вооруженная молодежь, «поколение девяностых»: темные очки, флак-жакеты, татуированные конечности. Интересно, что никто не надевает касок. Надо, чтобы по телевизору были видны причесочки или повязки-банданы. Среди множества очевидных причин современных конфликтов есть одна

подспудная: нарциссизм. Боевики влюблены в свой молодой пол с изрыгающими огонь стволами. У многих конфликтов есть сексуальный подтекст. Недаром в Чечне и в Сребренице отмечались нередкие случаи кастрации пленных.

...Семестр еще не кончился. Курсовые работы нарастают на столе, как тещины блины. У меня была такая третья теща, русофобка Мэрилу. «Это ридикюльно, — кипятилась она, — почему русские приписывают блины себе?! Блин — это древнейшая пища всех народов!» Она затевала блины и пекла их до полного отпада, чтобы посрамить Россию. «Ридикюлоус, ридикюлоус», — шипела она, как сковородка, а гора все росла и росла.

...Я включаю автоответчик и сразу слышу голос Эйба Шумейкера, своего коллеги по Центру изучения и решения конфликтных ситуаций. «Давай встретимся на ланч перед Вибиге, идет? Мне нужно с тобой поговорить. Позвони мне обратно. О'кей?» Эйб предпочитает говорить со мной по-русски. У него почти нет акцента. Десять лет назад его, конечно, принимали за эстонца, но он всегда стремился там сойти за своего еврея. Очень часто так и получалось, пока он вдруг не употреблял какой-нибудь совершенно несусветный прямой перевод. Однажды весь московский бар в изумлении повернулся к нему, когда он заказал «одно стекло вина».

...Конфликты, конфликты, они навсегда, им нет решения. В прошлом семестре на курсе «Любовный конфликт в русской литературе» мы читали в классе общеизвестный шедевр, «Даму с собачкой», и я спросил студентов, что в нем было катастрофически утрачено. Студентка из Саудовской Аравии догадалась первой: собачка! И впрямь — в течение всей первой половины рассказа собачка постоянно кружила под ногами Гурова.

По всей вероятности, она присутствовала и при сцене грехопадения в отеле «Ореанда»; куда же еще ей было деваться? Там же она и пропала, то есть просто выпала из рассказа. То ли забыл о ней от волнения мастер прозы, то ли подсознательно не допустил к интиму. А между тем именно собачка могла стать ключом к решению конфликтной ситуации.

...и вдруг вспоминаю. Сегодня прибывают сестры О. Нужно встречать. Мчусь. В аэропорту Даллас, в зале международных прилетов, толпа пестрела множеством знакомых лиц, то есть русских. Не в том смысле, что лично знакомых, а в том, что этнически не чуждых. В каком бы иностранном обличье российский человек ни предстал, в нем всегда опознаешь «одного из наших». Не знаю уж, в чем тут дело, не разобрался за столько лет заморской жизни. С пожилыми людьми еще легче — все-таки советчина отпечаталась, однако и молодежь в ее бейсболках с отвернутыми назад козырьками тоже немедленно угадывается — наши!

«Аэрофлот» давно уже приземлился, пассажиры-руссаки еще не появились. Толпой тянутся немцы с «Люфтганзы»; тоже, между прочим, легко узнаваемы. Труднее всего опознать китайцев — их нередко можно принять за корейцев. Или за тайваньцев. Но не за японцев. У этих многолетних участников западной толпы есть свой специфический шик.

Пошли наши. Возгласы встречающих: «Лидия Стефановна! Ирочка! Вовка! Мухиных не видели? Мухины летели. Мухи налетели?» И вот в числе первых выплывают расписные: Мирка, Галка и Вавка — сестры О.

...Раньше они жили в моем доме и вдруг умчались: в Москву! В Москву! И вот теперь возвращаются, ка-

тят из глубин таможенных пространств коляски с таким количеством барахла, что не хватит, пожалуй, и соседского джипа. Сдержанность. Только не раздудониваться. Сдержанная приветливость. Все-таки не родственники ведь. Просто приятельницы, ну, как бы литературные поклонницы. Вовсе не основные персонажи, *supporting characters*¹.

Елки-палки, да они не помолодели! Ей-ей, не очень-то свежи. Мирка после полета выглядит на все свои «порядком за». Галка демонстрирует отчетливую пивноватость лица. Даже и на Вавочкиной мордашке видны «следы пережитого». Кстати, об этой мордашке. Увы, не Нефертити, как она сама нередко вздыхает по своему адресу. Мы вынуждены согласиться. Совсем не Нефертити, не фертите. Скорее мопсик. У этой Вавки чудесная гибкая фигурка, бурные такие, мажорные волосы, но мордаха, увы, мопсячья, ноздрята торчат. В целом — давайте уж не выпендриваться, старый Стас, — милейшее трио. Чего стоит одна только Галкина шляпа. Уж не из реквизита ли Театра-на-Помойке она добыта? А чего стоит эта шикарная манера непринужденно через платье оттягивать и щелкать резинкой от трусов? Публика готова аплодировать, и она зааплодировала бы, не будь руки заняты багажом.

— Стас! — восклицают они и бросаются, забыв свои тачанки.

Сдержанность, где ты?! Я рядом, я рядом, кричит она. Кто она? Да сдержанность же! Сдержанность рядом! И все хохочут. И я хохочу, старый Стас. Так мы продвигаемся к паркингу — в густом облаке хохота. Это у нас нервное. Чтобы прикрыть чувства. Так требует

¹ Второстепенные персонажи (англ.).

сдержанность: прикрывайте чувства! Ну вот, Стас, твой гарем вернулся. Надолго ли, девчата? Новый фонтан хохота. Навсегда! Неизменное: «Я к вам пришел навеки поселиться». А замуж разве никто не вышел? Повыходили, повыходили, с вещами на выход! Нынче вышло из моды выходить замуж, вот такой каламбур. Тут Вавка как бы злится. Вам лишь бы хохмить, Мирка, Галка, а я вот старому Стасу верность блюду. «Несерьезные» тут еще больше заходятся. Она блюдет — это когда на блюде. Тут еще одно созвучие напрашивается. Ну, в общем, принимай, мы вернулись, батюшка Стас Ваксино! А как же революционная родина? Знаешь, сейчас на родине основной лозунг «Кто не любит Аллу Пугачеву, тот не любит Родину!». Вот мы и вернулись.

...Засиделись в тот день допоздна. Слеповато от дремы дотащились до коек. Иногда в полусонном уже состоянии проплывали какие-то смутные, неизвестно откуда взявшиеся картины — то пышный собачий хвост, свисающий с чьего-то локтя, то какой-то петух голландский, то попугай псковский. Я открывал глаза, и предметы спальни немедленно возвращались на свои места из ниоткуда. Кто тут распоряжается, пока я сплю?

Нужно приоткрыть дверь коту. При всей его надменности вряд ли ему приятно сидеть в одиночестве на балконе. Оставляю только сетку и не наброшу крючка. Онегин догадается толкнуть сетку башкой, а змея не догадается. Она лишь проскользнет вдоль сетки и удалится. Здешние большие ужи безобидны, но могут напугать сестер. Начнутся крики: «Уж! Уж! Ужас!» Дурацкий уж в ужасе повиснет среди книг, вот тогда и будет с ним хлопот. Надев халат, я вышел на балкон. Луна ушла за кроны больших деревьев. Венера и Марс при-

лежно дежурили на сводах горизонта. На балконе не было ни Онегина, ни ужей. Там сидел Прозрачный, похожий в этот момент на жабу величиной, пожалуй, с борца сумо. Сидя в кресле, он частью своего тела обхватывал столик. Была ли это жаба? Если и была, то не из тех, что в летнюю пору, словно коровы, трубят в нашем заросшем пруду. От этой жабы не пахло слизи, и пятен болотных не было видно на ней. Она была сверхъестественна, и потому все разговоры о безобразии или небезобразии были неуместны. Все огромное ее тело было прозрачно, все, что было внутри, предлагалось для обозрения, однако почти ничего от этого нельзя было назвать. Пожалуй, лишь два предмета внутри Прозрачного можно было хоть как-то назвать — ну, скажем, «глаза», и эти «глаза», то ли в паре, то ли в слиянии, смотрели на меня, не глядя, но переливаясь, перекатываясь, искрясь в своих неподвижных глубинах, что-то как бы говоря, но что — нельзя и понять. Легче всего было бы сказать, что там была жалость-печаль, но это не то, совсем не то. «Садись на меня», — вдруг отчетливо пригласил он. Я подошел и сел, и он тут же исчез, как будто никогда меня не облегал, вообще ко мне не имел никакого отношения.

Следующий фрагмент из «Свечения» может пойти под заголовком «Кризис среднего возраста». Тема эта настолько привычна и любима в современной американской литературе, что уместно было бы, пожалуй, вынести ее как рубрику в торговом ряду: «Midlife crisis», вот тут, мол, в этой секции набирайте себе романов про «кризис среднего возраста». Увы, в нашем романешти это лишь одна из тем нашего рататуя. Да и решается она не вполне привычным и любимым образом. Итак.

КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

В центре нашего университета (University Pinkerton), на площади в форме пологого круга, где часто для поддержки баскетбольной команды собираются студенты в розовых майках с надписью «Go Pink!»¹, стоит статуя самого мистера Пинкертонна. Так было в Ленинграде с Лениным — с той лишь разницей, что большевик ничего не пожертвовал городу, а лишь скрывался там от полиции, чтобы впоследствии узурпировать власть и его название. Наш кумир не похож на оголтелого с броневика у вокзала. Он стоит без пьедестала посреди выложенной плиткой площади, в чулках, в туфлях с пряжками, в паричке. В руке он держит книжку, а не смятый кепарь, а наклон его тела демонстрирует склонность скорее к менуэту, чем к бешенству. Тяжеловатое в нижней части лицо снабжено сверху благожелательным, общепросветительным выражением глаз. Непредвзятый созерцатель, конечно, заметит сходство с Виктором Степановичем Черномырдиным. Что касается второй его руки, то она лежит на столике рядом с томами Локка, Хьюма и Руссо, до которых мы с Виктором Степановичем вряд ли когда-нибудь доберемся. Великолепная работа по металлу!

Эйб Шумейкер перехватил меня возле мистера Пинкертонна, и мы отправились на ланч в преподавательский клуб. Когда с ним рядом идешь, видишь, что это детина едва ли не баскетбольного роста. А вот издали он иногда производит впечатление обыкновенного университетского доходяги: впалая грудь, сутулые плечи, неизменный твидовый пиджачишко, мешковатые

¹ Розовые, вперед! (англ.)

и коротковатые штаны, всегда обременен книжной кладью. Ко всему этому отличается еще странной походкой с периодическими как бы приседаниями. Как у всех ипохондриков, постоянные метаморфозы происходят у него с цветом лица и выражением глаз: то вдруг разругается, засверкает, словно тридцатилетний мальчишка, то весь потухнет, посереет, будто на пенсию пора.

В общем-то ему уже слегка за пятьдесят, но он только год назад получил звание «полного профессора». В ЦИРКСе (так мы с ним по-русски сокращаем название нашего департамента) Шумейкера ценят как трудоголика, полиглота и очень серьезного политолога, однако он не принадлежит к числу лиц, о которых говорят на кампусе. Мы с ним считаем себя друзьями, хотя это совсем не та дружба, что культивируется в Москве и в которую непременно атрибутом входят многочасовые сидения на кухне с водкой и обсуждением жизненных драм. Здесь у нас все основано на сдержанности, тут пока еще, во всяком случае в университетах, царит цивилизация *understatement'a* — не знаю, как перевести, — недоговоренности, что ли. Будучи друзьями, мы с Эйбом почти не встречаемся вне кампуса, только иногда, очень редко, ездим в Д.С. на игры NBA. У меня нет ни малейшего представления о его семейной ситуации, но по его заношенным рубашкам можно судить, что она не из блестящих. В свою очередь, он ничего не знает о моем одиночестве, перемежаемом описанными выше столпотворениями.

В этот день мне показалось, что Эйб не в своей тарелке. Впрочем, если его можно было когда-нибудь представить в своей тарелке, то только в роли перекачивающегося огульца. У него, должно быть, не очень

стабильная сосудистая система — давление меняется от малейшего беспокойства. Я предложил взять вина, и нам принесли калифорнийского мерло. Мы выпили по стакану, и это его сразу успокоило. Он снял очки и положил их в нагрудный карман. Это было явным признаком улучшения, большого подъема комфортности.

— Блестящая идея, Влос, — сказал он. — Это вино как-то чудесно на меня подействовало. Вы давно практикуете эту марку?

Я не поддержал эту тему. Такой человек может легко заторчать на какой-нибудь марке вина и стать в конце концов алкоголиком.

— Вы смотрели последний матч «Колдунов»? — спросил я.

— Они продули в доп-тайм! — воскликнул он. — Крис почему-то стал мазать один за другим. Ну согласитесь, это несправедливо!

Как многие сооружения в Пинкертоне, столовая профессорского клуба была тронута и классицизмом, и готикой, и постмодерном. От времен Просветителя остались колонны и мрачноватые своды несколько монастырского вида. Достройки 80-х годов этого века преобразили внешнюю стену. Огромные эркеры как бы впустили в зал окружающий парк или наоборот — вытащили зал в парк на созерцание птицам. В общем, совсем неплохо получилось.

Народу собралось за столиками совсем не мало, и все прибавлялось. Ланч — ключевое слово в университетской жизни, как и во всей Америке. Мимо нас проходили профессора, молодые и старые. Большинство лиц было мне незнакомо. Чем дальше я здесь работаю, тем больше незнакомых лиц встречается за ланчем. Я обратил внимание Эйба на это странное обстоятельство. Правда

ли, что это признак хорошей циркуляции, показатель здоровья того или иного вуза? Он пожал плечами:

— Черт его знает. Я во все эти дискуссии по университетским структурам не лезу. Да меня никто и не приглашает.

Он снова наполнил наши бокалы, опорожнив таким образом бутылку. Я промолчал. И он промолчал. Мы выпили и взялись за салаты. Он все молчал, и у меня возникло странное ощущение, что он дает мне возможность изучить его лицо. Как бы напрашивается в персонажи. Еще и еще раз я провожу взглядом по его лицу. В любом университете Восточного побережья встретишь такие лица еврейских астеников. Иногда в них появляется что-то тевтонское. У Эйзенштейна в его псевдопатриотической вампуке роли псов-рыцарей исполняли евреи. Ашкенази отличаются богатством типов. В Америке они стали American Jewish¹; мой друг — характерный представитель этой не худшей породы. Мне почему-то захотелось преобразить его фамилию на свой лад. Скажем. Шум-Махер, производитель шума? Нет ли тут излишней претенциозности? Шумейкеры все же — это клан тишайших сапожников без всяких тире и дополнительных значений. Б-р, мне стало не по себе: неужели он влезает в повествование?

— Well, — сказал он и посмотрел.

— Well, — сказал я и посмотрел.

— Вы видели сегодня новости? — спросил он.

— Мельком. Кажется, ничего не изменилось после вчерашнего дня?

— Многое, — почти воскликнул он и приложил ладонь к горлу, как бы стараясь умерить тон. — Они

¹ Американскими евреями (англ.).

начали наступление на Междулучье по всему фронту — то есть и с севера, и с юга. Устраивают котел. Пажич теперь блокирует с Карташичем, а вчера ведь еще резали друг друга. Вот вам и непреодолимая линия Хантингтона! Западные и восточные, оказывается, прекрасно могут бандитствовать вместе. Религиозные различия не играют никакой роли, а идеология вообще выброшена на свалку: им уже все равно, кто коммунист, кто капиталист. Действуют только самые примитивные племенные мотивации.

— Ты безусловно прав, — сказал я. По-английски нередко трудно определить, в каких мы с ним отношениях — на «ты» или на «вы». Надо будет уточнить это по-русски.

— Теперь все считают, что я прав. — Он осекся, но после паузы добавил, глядя в сторону: — Но никто не упоминает моего имени.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я осторожно, чувствуя, что мы приближаемся к основной теме, к тому, что его по-настоящему грызет.

— Даже ты, Влос, не помнишь, что я предсказал все эти дела еще три года назад. Да ты читал ли книжку, которую я тебе подарил, — «Ускользящие парадигмы»?

Конечно, я читал эту книгу, если можно так сказать о перелистывании в постели в качестве снотворного. Кажется, я даже что-то говорил автору — что-то лицемерное, делал вид, что взволнован. Хвалил заголовок, это точно. «Ускользящие парадигмы» звучит вполне в унисон с самим предметом, распадающимся государством, возобновлением «балканизации». «Эйб, да ведь это не только о Балканах, — помнится, сказал я ему. — Это о самой человеческой сути. Это глобально, френд, глубоко и глобально». В этом духе.

Теперь, вяло копаясь в «цезарском салате» — кста-ти, почему он называется «цезарским» — Цезарь его, что ли, любил, или яйца доставали кесаревым сечени-ем? — он заговорил с нарастающим жаром о своей концепции современных конфликтов:

— Еще сорок лет назад Брунис, наш поистине пер-вый постмодернист — это об одном геморрое из нашего же центра, — писал о так называемом *Weltanschauung*, то есть о том, что и как мы чувствуем, глядя на окружа-ющий мир, — иными словами, парадигме религиозных, культурных, поколенческих, социальных и этнических со-ставляющих; с тех пор парадигма «холодной войны» ко-лоссально изменилась, да? Мы должны упорно выделять то, что в популярной журналистике называется «жизнен-ными интересами», — верно? Он был в Косове в 1989 году, когда Милошевич аннулировал автономию. Еще тогда он предсказал неизбежность этнического выплеска, кото-рый создаст колоссальную угрозу в центре Европы.

На конференции в Брюсселе один аналитик из Го-сударственного департамента возразил Эйбу: сейчас не 1914 год, мир изменился за семьдесят пять лет. Эйбу хотелось ему сказать, что семьдесят пять лет — недо-статочный срок, чтобы миру так уж кардинально из-мениться, однако он промолчал, прекрасно зная, что американские «практики» и «академики» плохо пони-мают друг друга, поскольку и сами принадлежат к разным и несоизмеримым парадигмам. Впрочем, уже тогда правительственный Институт Мира выпустил монографию о «выплеске этнической угрозы», где при-водилась точка зрения Шумейкера — конечно, без ссы-лок на источник. Ну а теперь, в разгаре всех этих дел, все только и пишут о «выплеске» и об «ускользающих парадигмах», которые нас всех оставляют на мели.

— Повсеместно употребляется моя терминология, например «механизмы усиленного выживания», которые могут быть разрушены, если ты помнишь, — но ты, конечно, не помнишь, — как преждевременным отказом от старой парадигмы, так и нежеланием определить новую. Везде используется моя идея «негативного мира», то есть отсутствия прямой вражды, и «позитивного мира», то есть удаления корней конфликта, принимающего насильственные формы, ну и так далее. Короче говоря, в бесчисленных статьях и докладах идет развитие моих идей, но нигде не упоминается мое имя и титул книги.

Он замолчал и сомкнул свои бледные губы. Этот момент был, очевидно, важен как для моего коллеги Шумейкера, так и для, черт побери, героя моей книги Шум-Махера. Он, видимо, считал, что открыл мне позорную сторону своего внутреннего мира: муку тщеславия, корчи непризнанности. Разомкнув свои бледные губы, он неожиданно коснулся и моей не такой уж глубокой, но все-таки глубинки.

— Как мне тебя называть, Влас или Стас? — спросил он.

В этом университете еще никто никогда не называл меня Стасом. Для всех я Влас Ваксаков, русский профессор с каким-то отдаленным диссидентским прошлым. Имя довольно удобное для американской фонетики. Его произносят «Влэс» или «Влос», никаких проблем. С фамилией сложнее. Здешнему народу почему-то нелегко произносить звукосочетание «акс», гораздо легче повернуть его на «аск», что мелькает повсеместно. Что касается ударений в русских фамилиях, американец всегда поставит их неверно: если вы Вакса́ков, он скажет Вбксаков, но если вы, скажем, Климо́в, то будете

Климóв. Словом, я тут фигурирую как Влос Васакоу, будто некая гротескная личность с Карибских островов. Студенты предпочитают называть меня «доктор Влос» и не обижаются, когда иной раз отшучиваюсь: «Больной, покажите язык!»

Никто не интересуется второй, вернее, первой стороной моей деятельности. Мало кто читает романы Стаса Ваксино, а если кто и читает, то не связывает этого автора с «доктором Влосом». В России, между прочим, дело обстоит наоборот: там меня знают как Стаса Ваксино; прежний молодой писатель-деревенщик Влас давно забыт.

Вопрос Эйба меня удивил. Стало быть, он знал меня в обеих ипостасях, всегда присматривался ко мне не только как к сослуживцу, но и как к модернистскому сочинителю? Снова почудилось, что он волей-неволей втягивается в игру. Я не ответил, но лишь пожал плечами: дескать, хоть горшком назови, но в печку не ставь. Он между тем продолжал:

— Ты понимаешь, я не тщеславен, не жажду ни славы, ни золотых дождей, однако меня поражает, почему даже в нашей скромной общине конфликтологов для меня не находится места. Одному достаточно родить какую-нибудь банальность, как его начинают повсеместно цитировать, а другого и «Ускользящие парадигмы» не поднимают на поверхность.

Тут почему-то я протянул через стол руку и толкнул его кулаком в плечо.

— Тебе надо изменить фамилию, Эйб. Ты не Шумейкер. Стань Шум-Махером. Тире и две большие буквы, а также и окончание на «хер» сделают тебя заметным.

Он слабо улыбнулся:

— Узнаю Стаса Ваксина. Только я ведь не из вашей породы, я просто Башмачкин.

Завершив ланч и как-то даже слегка загудев после двух бутылок каберне, мы решили пропустить совещание в ЦИРКСе. Пусть на этот раз Вибиге Олсон без нас обойдется. Все равно львиную долю времени там займут разговоры не о Балканах, а о том, усилится ли офис провоста в связи с реструктуризацией НСС, или, наоборот, нужно поднять в Комитете комитетов идею университетского гражданства. Спокойно без нас обойдется. Каждый поговорит горазд — вот пусть и выложится каждый. Эйб даже хохотнул не без некоторого шика, свойственного заметным гражданам кампуса. Пусть там Вибиге поговорит, как в своем Копенгагене. Вот именно, как в Копенгагене, там ведь дамы говорят часами. Сутки напролет. Там, в Копенгагене.

Байрон, семилетний спаниель профессора Шумейкера, после переезда в новый кондоминиум почему-то решил, что он хозяин территории. К собакам своего размера и меньше он относился снисходительно, на крупных же псов бросался не задумываясь и повергал их в бегство. Крутой малый, такое сразу же в округе сложилось мнение об этом длинноухом. «Не позорь отца, Байрон!» — увещевал его профессор, хотя прекрасно понимал, что пес испытывает что-то похожее на его собственное состояние, желание начать «новую жизнь» и никому не давать спуска.

Эти переезды после долгого сидения на одном месте! Нечто сродни частичному самосожжению, не так ли? Во всяком случае, собственноручно уничтожаешь кусок своего прошлого. Пятнадцать лет Шумейкер провел со своей третьей женой в небольшом — но с

колоннами! — доме в окрестностях университета. За это время жена сама выросла в профессора, с этим своим профессорским чином и отчалила в Питсбург. Что касается самого Эйба, то он, как мама говаривала, «родился профессором», то есть вообще ни во что не вырос. Наоборот, все время как-то снижался, м-да-с, по всем вопросам как-то вниз. Возьмем, например, напитки. Раньше в роли настоящего мужчины-советолога он пил водку straight¹.

Теперь по требованию врачей к водке вообще не прикасается, а скотч разводит, убивая весь его смысл и оставляя только противный привкус.

Раньше его постоянно приглашали на конференции как дома, так и за океаном. Шли осмысленные и бодрящие годы «холодной войны». Теперь если и приглашают, то всегда как-то немного унизительно. Никогда не предлагают возглавить «панель» (секцию), а уж о «киспикерстве» (ключевом докладе) и говорить не приходится.

Вот в этом плане все и идет. «Мерседес» приходится менять на «хонду». От дома с колоннами, пусть небольшими, но все-таки бросающими определенный вызов, скатываешься до заурядного многоквартирного ублюдка. Никого, впрочем, в этой деградации винить не приходится, кроме самого стареющего долговязого ипохондрика со странной привычкой слегка приседать при ходьбе. Могли бы, проф, дерзостно снять маленькую, но стильную студию в Джорджтауне или в Уотергейте и приезжать оттуда в двухместном стильном кабриолете, так нет — очередной приступ уныния, и вы перебираетесь на «хонде», тоскливой, как

¹ Неразбавленную (англ.).

японская песня, в один из этих бесчисленных вирджинских «хейзельвудов»¹.

Вот вам и «новая жизнь» — пеняйте на самого себя, сэр.

Не хотелось бы касаться самых болезненных тем, но в целях решения данной конфликтной ситуации нужно. Правильно, мой друг: речь, разумеется, пойдет не о дантистах, а о женщинах. Прежде он вывозил их из вражеского тыла, то есть из Советского Союза. Каждый брак был авантюрой своего рода. Особенно первый, с дочкой советского стратегического генерала. Эта история наделала много шума. Вот тогда-то и надо было бы Стасу-Влосу переделать его имя из Башмачкина в Шум-Махера, ведь «шум» — это как раз и есть «noise», по-нашему. В то время ему предложили контракт на книгу о его скандальной, с участием Генштаба и Политбюро, любовной истории, однако он озадачил издателей, сказав, что они с Агриппиной совсем не то имели в виду. В те времена он носил белые пиджаки и был горазд пошутить в утонченной манере.

Черт бы побрал этих русских баб! После жарких любовных историй почему-то очень быстро начинало увядать либидо, все как-то засыхало и сморщивалось. Впрочем, может быть, и не бабы были в этом повинны, и даже не он сам, «профессор кислых щей», как его называла вторая жена Авдотья, а вся парадигма «холодной войны»? Так или иначе, вместо того чтобы стать главой большого семейства, он после трех браков оказался одиноким холостяком с единственным близким существом, спаниелем Байроном. И так вот все тянется, ничего катастрофического, просто постепенный

¹ От англ. *hasel wood* — ореховый лес, заросли орешника.

спуск в трясину старения, заброшенности, когда единственным твоим ответом на *midlife crisis* оказывается невозмутимое выражение лица.

Эйб вытащил из портфеля кучу университетских бумаг, и из нее, конечно, первым делом выпало письмо провоста по поводу этих дурацких «оценочных листов». Даже такая чепуха оборачивается унижительным вздором. В кресле провоста сейчас сидит Дино Коллекто, симпатичный парень, с которым когда-то они начинали. Вот, кстати, пример движения в противоположном направлении. Дино всю жизнь неторопливо и последовательно поднимался и наконец уселся в кресло провоста. В письме Дино сообщал, что в «оценочных листах» одного из шумейкеровских классов появились какие-то неприятные сигналы. В частности, указывается, что профессор Шумейкер допускает неуместные шутки в адрес студенческих сексуальных меньшинств. Якобы он однажды сказал, что слово «фагот» по-русски означает *bassoon*⁹, «а совсем не то, что вы думаете».

Не хватало только прослать обскурантом на кампусе! «Я бы тебе посоветовал, старина, — писал провост Коллекто в конфиденциальном письме, — несколько снизить степень фратернизации во время учебного процесса. Прошу тебя также не придавать этой истории значения большего, чем она заслуживает. Ведь “оценочные листы” — это далеко не самый важный документ в оценке работы уважаемого профессора, каким несомненно являешься ты». Вот именно, подумал Шумейкер, обычно их выбрасывают, не читая, а тут почему-то они оказываются прямо на столе у провоста.

⁹ От англ. *faggot* — педик (*сленг*); *bassoon* — фагот (*англ.*).

Байрон злился, что хозяин не спускает его с поводка, как он это обычно делал во время их долгих прогулок по старому месту жительства, в парке Честерфилд. Байрон, бессовестный, хотя бы ты-то оценил мою дружбу, если больше некому. Поразительно, даже в университете не осталось друзей, если не считать сочинителя Стаса Ваксина, который думает, что никто не знает о его пристрастии к выдумыванию человеческих историй. Нет, эгоизм — это знамение века: слишком много стало людей, они меньше замечают друг друга. Формальные улыбки, псевдонформальные похлопывания по плечу — кто им не знает цену?

Вдруг однажды по соседству в кустах промелькнула какая-то по-настоящему дружеская рожа. Что это за круглое такое, темно-оранжевое? — оказалось, баскетбольный мяч. Осмотревшись, профессор понял, что стоит на полузаброшенной игровой площадке. Вытащил мяч из бамбука, несколько минут стучал им перед собой, все еще думая о своих невзгодах, потом от центрального круга бросил по кольцу. Тучи летели над холмом. Секунда затянулась. Голову крутануло. Сосуды шалят. Одна из туч казалась воплощением паники. Тут он сообразил, что попал прямо в цель. Легкий кистевой бросок, свиии-шшш, мяч влетел в кольцо. Маленький триумф, как полагает Стас Ваксин.

Несмотря на этот «маленький триумф», депрессия с каждой неделей его все больше одолевала. Знаменитые вирджинские закаты стали ему казаться бездарной мазней, человеческие лица — изъянами природы. Может быть, пойти к психиатру, сесть на прозак? Но ведь пишут вот в «New Republic», что это приводит к изменению своей пусть говенной, но личности. Ну, поднатужься, Эйб, ведь мир все-таки ведь... что? каков?..

прекрасен в своей реальности. В реальности разводов, раздела имущества, бабского занудства, постоянного пренебрежения академической среды, «оценочных листов» с доносами, свинцовой усталости мышц, с которой вылезает утром из-под одеяла? Однако ведь есть в нем что-то еще, кроме этого, — например, баскетбольный мячик в бамбуковых кустах, бутылка «каберне» или «мерло», с которой ты смотришь по телевизору постоянную тяжбу каких-нибудь «Слонов» и «Колдунов», с их фейерверками «маленьких триумфов». Кроме всего прочего, ведь в нем еще есть и Микроскопический, он может появиться в любой момент как сверкающая точка посреди чего угодно, даже, скажем, посреди дурацкой полки с товарами. Он так мал, что иногда кажется непостижимо огромным. Иногда уменьшается (или увеличивается?) до размеров, скажем, ярчайшего насекомого, мерцает в глубине лет. Как любопытно! Как забавно! Потом исчезает совсем, но как бы своим отсутствием присутствует. Иногда встанешь утром, все дрожит внутри. Молишься чему-то, чему может молиться астенический атеист, хнычешь — спаси, спаси! — и вдруг, как будто услышали, по радио начинает раскатываться Четвертый концерт Баха для клавишных, и на хорошем месте, на книжной полке, скажем среди томов Толстого, вспыхивает крупный Микроскопический. Ты убеждаешь себя: человеческие лица все-таки хороши! В них присутствует что-то иногда прелестное. Возьми утреннюю газету — и не исключено, что увидишь пару хороших лиц. Даже на первой странице такие иногда попадают. Вот чудная девчушка, такой радостный огонек. Вот застенчивый малый с бесхитростной мордой, на которой как будто написано: читайте на моей роже все, что на ней написано,

и не судите строго. Начинаешь читать и узнаешь, что «радостный огонек» был похищен и изнасилован, а в похищении обвиняется «застенчивый малый», известный полиции педофил. Смыкается ночь и не разомкнется, если только в ней не появится Микроскопический, на этот раз величиной с луну. Тогда засыпаешь.

Телефон звонил редко, но все-таки иногда позванивал, чтобы сообщить обескураживающие новости. Вирус, гуляющий в университетской компьютерной системе, пожрал его статью «Конец политики». Впрочем, он не особенно огорчился. Это был его вялый ответ на «Конец истории» Френсиса Фукоямы. Он не решился поставить все точки над *i* и сказать, что, пока вся эта сволоочь, то есть все мы, производит себе подобных, история не кончается. Она просто переворачивается. Если раньше она стояла перед нами, как Фудзияма (просим прощения за фонетическую близость. — С.В.), то теперь блестящая на солнце вершина приобретает тенденцию вывернуться наизнанку, то есть прийти к русскому смыслу окончания «яма». Этого он не сказал в статье, съеденной вирусом, только лишь пережевывал геополитические банальности. Нет смысла злиться по пустякам.

Другое дело, когда находишь на балконе новой квартиры засохшую шкуру змеи. Дворник кондоминиума говорит, что иногда эти гады *black snakes*¹ заползают на балконы, чтобы сбросить там старую шкуру. Говорят, что они совсем не опасны и даже человеколюбивы, тянутся к камельку, к молочку, но все-таки почему надо заползать именно к Эйбу Шумейкеру для этой малоприятной процедуры?

¹ Черные змеи (англ.).

Ночью профессор обнаружил исчезновение Байрона. Снова свалил, паршивец! Рыщет сейчас по Хейзельвуду, ищет, как русские говорят, приключений на свою мохнатую задницу. Здешние запахи его дурманят. Жилая среда здесь гуще, чем в Честерфилде, больше всяких ссак, капель секреции. Пес, конечно, дурит, проходит через свой *midlife crisis*. Когда он удрал прошлый раз, Шумейкер обнаружил его возле мусорных контейнеров в обществе трех енотов. Кружили вместе, а иногда садились в кружок и смотрели друг на друга; разве это не противоестественно?

Эйб вышел из дома. Все было ярко освещено луной.

Микроскопический отсутствовал. На паркинге для усугубления безжизненности матово отсвечивали крыши «тойот» и «хонд». Впрочем, по поверхности бассейна скользили длинноногие пауки. В углу воды висела банка из-под «Бада»; Чехов! Он пересек поселок, поднялся по холму к зарослям бамбука. Вытащил тамошнего жильца, баскетбольный мяч, и начал бросать по кольцу с разных дистанций. Хорош придурок — играю в баскет под луной! Смешно, но ни разу еще не промазал. Попадаю с любого расстояния, в прыжке и с ходу, с поворотом, из-за головы крюком, двумя руками и одной, и правой, и левой.

Почти тридцать лет он не играл в баскетбол. Вспоминается команда в годы колледжа, «Росомахи». Там такой говнюк Тэд Хэвикрэд, поперек себя шире, был капитаном. Наглый навахо выбросил его из команды, когда он, Туфля, как его тогда называли, промазал два штрафных за три секунды до конца матча с «Петухами».

С попаданиями тогда у Туфли плохо получалось. А вот сейчас получается неплохо, когда это никому не

нужно. Хотелось бы, чтобы наглый Хэвикрэб увидел этот лунный сюрреалистический баскет. Такие попадания тебе даже и не снились, Хэвикрэб, особенно сейчас, когда ты совсем разбух от денег в своей адвокатской гильдии.

Какая-то изогнутая ветка смотрела на Шумейкера из травы. Ветки, кажется, не умеют смотреть, но ему везет, попалась зрячая. Посмотрев, она отворачивается и уползает по подстриженному склону. Эва, да это большущий уж! Наверное, тот самый, что сбросил шкуру на шумейкерском балконе. Наконец в поле зрения появляется Байрон. В дальнем углу игровой площадки в лунном свете он спокойно трахается с какой-то спаниелихой, милейшей сучкой из семьи Короля Чарльза. *What a take!*¹, нашел все-таки себе этнически близкую особь!

— Саша, *what the hell are you doing?*², паршивка! — послышался взволнованный (и, кажется, волнующий) женский голос.

Опять какая-то русская баба, в панике подумал Шумейкер. Сколько у меня было русских жен, попытался он вспомнить. Четыре? Нет, пять, если считать Акулину. Три законных и две не успевших обзакониться. Последняя, как выиграла грин-кард в лотерею для нелегалов, так и смылась, акула. Американские мужья таким пиздам больше не нужны: иммиграционная служба устраивает лотереи. Появилась хозяйка нашей зазнобы. У нее, кажется, хорошая фигура. Только и не хватает связаться с новой стервой.

Собаки, сделав свое дело, никак не могли разъединиться. Профессор и женщина нацепили на своих

¹ Ну и ходок (*англ.*)

² Что ты вытворяешь (*англ.*)

питомцев поводки и застыли в нелепых позах. Остается только ждать, когда из собачьих органов отольет кровь.

«Меня зовут Абраша», — сказал Эйб против своей воли.

«А меня — Какаша», — ответствовала женщина с глубокой грустью.

Однажды во время своего одинокого баскетбола или, вернее, сеанса непрерывных попаданий в кольцо профессор услышал аплодисменты. Возле площадки собралась дюжина школьников. «Gee this man is real bñick-layeg!»¹ — шумели они. Подошел местный дворник дядя Стю: «Слушайте, у нас в Приозерье “Американ экспресс” проводит конкурс по дальним броскам для пожилого населения. Не хотите ли, мистер Шу, принять участие? Главный приз — миллион долларов».

Во время отборочных соревнований для лиц старше пятидесяти моего героя посетила ужасающая мысль, вернее, ошеломляющее прозрение. Кажется, по закону жанра, по всему раскладу этой «моей» главы я просто не могу не попасть в баскетбольное кольцо. Сама идея броска мимо цели кажется мне непостижимой, как, скажем, прыжок с парашютом на пик Фудзиямы. Быть может, это не дар на меня снизошел, не полоса пошла «малых триумфов», а, наоборот, вкралась какая-то страннейшая болезнь? Конечно, такого быть не может, такие болезни никогда не наблюдались, однако сама мысль об этом — суцая мука. Вот таково злосчастие ипохондрика: даже и баскетбол, что вернулся в его

¹ Ты посмотри, этот мужик — кладет «кирпичи», каменщик (англ.).

жизнь как ободряющий друг, вдруг ослабился с гадским подмигом.

В финале конкурса остались двенадцать человек, в том числе Эйб и Стю. По правилам щедрого «Ам-экса» это означало, что вся дюжина уже заработала по дюжине грэндов. Никто из них, конечно, не рассчитывал на миллион, но каждого подсасывало предательское «а вдруг?». Стю как-то сказал новому другу: «Знаешь, Туфля, о тебе тут поползли слухи. Подозревают, что ты когда-то играл в НБА, был каким-то факинг специалистом по дальним броскам, а ведь это против правил конкурса. Ты бы, знаешь, ну, промазал бы пару раз на прикидках, а?» Стю внимательно посмотрел на Эйба — так нередко дворники к чудаковатым жильцам присматриваются.

«Ну ладно, я промажу пару раз», — усмехнулся Эйб.

Такого рода уступки подсказывал ему опыт изучения и решения конфликтных ситуаций. Нужно иногда показывать свою слабость. Это не вредно было бы понять некоторым деятелям на Ближнем Востоке. Пара бросков мимо, и тебя начинают меньше ненавидеть. Признаться, он был бы просто счастлив промазать. Испарилась бы навязчивая мысль о болезни, выяснилось бы, что у него просто очень высокий процент попаданий, а не какой-нибудь метафизический сдвиг по фазе.

«Знаешь, Стю, — сказал он новому другу, — вот все говорят “миллион-миллион”, а ведь я не имею к миллиону никакого отношения».

«Каждый имеет отношение к миллиону долларов, — возразил Стю. — Каждый! — И добавил: — Без исключений. — Он помолчал, покачивая башкой, этот Стюарт,

который так и родился здесь, в этом Хейзельвуде, семьдесят лет назад в качестве лесника, чтобы потом подняться до позиции дворника в кондоминиуме. — Ты не думай, Шу, что он так и будет лежать бесцельной массой».

«Кто?» — вздрогнул Эйб.

«Ну, миллион. В банке за него дадут хорошие проценты. Заживешь безбедно».

Как ни старался наш профессор, промазать не удалось. Иной раз он просто вяло махал кистями рук из-за головы, даже не задумываясь о том, куда полетит круглый предмет, однако, соскользнув с ладоней, мяч почему-то в центре траектории набирал какую-то дополнительную силу и падал в корзину, как всегда не коснувшись дужки кольца.

Впрочем, агентура «Ам-экса» уже выяснила, что он никогда не играл в НБА, и тогда там решили, что он метко бросает просто потому, что ему хочется миллион.

Ну, разумеется, Эйб Шумахер стал безоговорочным победителем многотысячного конкурса. Теперь ему давалось право на последний, один-единственный бросок в перерыве матча легендарных «Слонов» и сказочных «Колдунов». Попадание принесет ему 1 000 000, промах — всего лишь 50 000.

За все это время он всегда лишь несколько раз видел русскую девушку Какашу. Она оказалась его соседкой по кондоминиуму, то есть отнюдь не принадлежала к классу недоступных богачек. Конечно, ездила она на «роллс-ройсе», но он у нее постоянно ломался, дымил, терял колеса. Почти при каждой встрече на паркинге она вздыхала: больше не в силах содержать это чудо-

вище. Эйб боялся что-нибудь сказать в ответ на эти жалобы. Шикарную колымагу, конечно, подарил девке какой-нибудь любовник, который потом разорился, застрелился или сбежал в Бразилию. Конечно, у нее и сейчас есть любовники. Такие хорошенькие женщины не обходятся без любовников. Женщина, каждое движение которой говорит о любви, согласитесь, не может остаться в стороне от любовных утех, как, скажем, хороший осел не избежит поклажи. Естественно, что среди потенциальных и действительных любовников происходит естественный отбор; в данном случае отбирается тот, кто сможет взять на себя ремонт «роллса». При всех небольших литературных отклонениях такой отбор, разумеется, идет на первобытном уровне. Со времен пещер в этой сфере мало что изменилось.

Утром, если он встречал ее за выносом пластикового мешка с мусором, она удивляла его некоторой припухлостью своего пронзительно милого лица. Вечером, ближе к ночи, ночью, под утро, если он видел со своего третьего этажа, как она идет от паркинга к дому, он задавал себе вопрос, как такая ласка с ее пританцовывающей и слегка как бы самоиронической походкой может проводить время без него, без Абраши, а с кем-нибудь другим, пошляком, говном, шантажистом. Иногда ему казалось, что в момент обмена формальными «хай», «хелло» Какаша смотрит на него с недоумением, как бы говоря: «Почему не ухаживаете, месье, почему не подкадриваетесь?» Гош, думал он, вот парадокс: в России все разваливается, а девушки становятся все краше. Этот момент не может не стать важной составляющей российской парадигмы. И проходил мимо, словно чудаковатый профессор-теоретик, как будто у него не было солидного практического опыта в России.

Читатель, быть может, уже догадался, что девушке Какаше предстоит сыграть важную роль в нашем повествовании, однако мы слегка повременим с представлением красавицы. Не в наших правилах зацеплять любой мелькающий на периферии персонаж и втаскивать его в роман со всеми его/ее воспоминаниями. Должно что-то произойти, мелькание должно замедлиться, а то и полностью на миг остановиться. Пока что приближаемся к моменту решающего броска.

Гигантский зал напоминал угледобывающий карьер с отполированным дном и со скатами многотысячной человеческой массы. Станным образом от этих скоплений народа в Америке не разит потом; это особенность нашей заокеанской цивилизации. Толпы у нас не пахивают, в отличие, скажем, от Франции, не говоря уже о России, — биохимическая загадка.

Ну, тут-то уж я обязательно стрельну «мимо денег», подумал Эйб с какой-то шаловливой снисходительностью. Раз уж тут такие большие деньги маячат, я обязательно промажу. Я ведь никогда не попадал в большие деньги. Нелепо думать, что я вот прямо сейчас прямо в них попаду. Однако еще более нелепо думать, что я когда-нибудь пошлю мяч мимо кольца. Что за дикий тупик? Ручеек пота потек между лопатками, но вони к общему климату не прибавил. Кажется, это от меня просто не зависит, я просто не могу, силы небесные, не могу не попасть!

«Слоны» и «Колдуны» — это две сильнейшие команды НБА и злейшие враги. Для нагнетания обстановки можно добавить еще несколько прилагательных

с суффиксом «ейш», но пойдём дальше. Уже третий сезон они разыгрывают между собой финальную серию play-off. Обычно большие млекопитающие обыгрывают шаманов-обманщиков на последних секундах решающего матча. В этот раз «Слоны» к перерыву отставали на семь очков, однако никто в коллизее не сомневался, что во второй половине они одолеют. Впрочем, исход матча в тот вечер не интересовал ни автора, ни читателей этой эпопеи конца века. Мы все сидели у телевизора и ждали другого события.

Не успели игроки уйти в раздевалку, как громоподобный голос с потолка объявил финалиста конкурса «Американ экспресс» для лиц старше пятидесяти. Затем последовал еще более чудовищный звук, аккорд так называемой музыки. Любой человек, незнакомый с американскими обычаями, принял бы это за последнюю катастрофу человечества, однако ничего особенного не произошло, просто вышел профессор университета Пинкертон Эбрахам Шумейкер (между нами, уже заслуживший имя Шум-Махер), чрезвычайно заурядная фигура среди гигантских игроков и эскадрона ритмически дергающихся девиц. Устроители шоу попросили его одеться в своей обычной университетской манере, и вот он явился в твидовом пиджаке, в рубашке с пуговицами, в вязаном галстучке, а также в мятых вельветовых штанах, придававших его фигуре что-то чарли-чаплинское.

Он снял пиджак и аккуратно сложил его подкладкой вверх. Не торопясь положил предмет одежды в центральный круг. Трибуны ревели. Смех, конечно, преобладал в этой какофонии. Многие зрители думали, что это никакой не профессор, а профессиональный комик, который сейчас начнет откалывать номера на-

подобие неизбежных околобаскетбольных «маскотов»¹. Большинство — а его составляли добродушные увальни из пригородов — желали забавному профу удачи. Таково странное свойство американцев: если их сосед каким-нибудь образом «сделает» миллион, они считают, что это увеличивает и их собственные шансы. Присутствовало на трибунах и некоторое число циников, у которых не было ни малейшего сомнения в жульническом характере этого рекламного трюка. О миллионе не беспокойтесь, ребята, говорили они. Никогда в жизни эта библиотечная крыса не попадет в кольцо из трехочковой зоны. Его просто на наших нервах поиграть выпустили. Просто чтобы всех возбудить, чтобы все ржали — ну, как они это любят.

Были такие циники и среди телевизионной аудитории. Что касается нашего кружка лиц с благородными литературными побуждениями, в нем все верили в Эйба и в то же время грустили: все ведь уже привыкли к бедолаге с его вегетативной дистонией. Как бы он теперь вообще не выкатился из нашего сюжета.

Эйб, невзирая на невозмутимое выражение лица, трепетал всеми фибрами своей души — если кто-нибудь знает, что это такое. Прощайте, «маленькие триумфы», приближается капут таинственному дару. Сейчас я промажу. Все войдет в норму. Все померкнет. Вернусь домой и узнаю, что Какаша переехала в княжество Монако.

Он взял мяч и привычно похлопал его в своих ладонях. Немедленно вернулось ощущение полной и неизбывной соединенности с кольцом: не попасть в него не-воз-мож-но! В то же время и выиграть миллион не-

¹ Талисманов.

воз-мож-но! Две невозможности наедут одна на другую, что приведет к развалу внутренних органов. Порвется двенадцатиперстная кишка. Почки отплывут в дальние и бессмысленные странствия. Гортань со свистом рухнет в тартарары. Проф Шумейкер развалится на глазах почтеннейшей публики.

Внезапно вихрь дикой отваги охватил его, и в глубине отваги запульсировал краснорожий Микроскопический. Он отошел на несколько шагов назад и занял позицию в самом центре игровой площадки. Затем запросто произвел превосходный jump-shot, то есть бросил мяч в прыжке, двумя руками из-за головы. Пролетев по безупречной траектории, мяч вошел в кольцо и просвистел через корзину.

Этой ночью, ближе к утру, истерическая русская красотка Какаша постучалась к нему. Ее рот и нос были в довольно распухшем состоянии, то ли от рыданий, то ли от понюшки. Или от того и от другого, что скорее всего. Вопрос только в том, что она вдыхала: кокаин или подогретый клей. Каждый понимает, чем завершился этот визит, однако мы должны предоставить некоторые детали, ибо без них нельзя будет обеспечить развитие характеров.

«Абращка, это правда, что ты халнул лимон? — спросила девушка, всхлипывая. — Тогда ты можешь меня трахнуть. Давай, давай, не бди! Я дама с собачкой, а ты фраер с собачкой. Ну что ты тянешь? Давай-ка я сама тебя потяну!»

В начале каждого из своих больших русских романов Эйб всегда испытывал некоторую неловкость в процессе раздевания предмета любви. Процесс этот не всегда соответствовал его чикагской (район Скоки)

школе хороших манер. Дрожащими похотливыми руками забирается другой личности под белье, holy cow!¹

В данном большом романе эта неловкость начисто отсутствовала, как отсутствовало и присутствие какой-либо одежды на ночном визитере. Профузно рыдая, дева распростерлась перед ним и пригласила всемерно атаковать свою так называемую «корзину нежности».

О Боже, что это была за ночь, мама, папа, брат Джесси! Никогда ни с какой женщиной Эйб не испытывал ничего подобного тому, чем награждала его все время хлюпающая, а иногда разрываемая рыданиями Какаша, которую на самом деле, разумеется, звали Наташей. Ему казалось, что он находится в центре какой-то неумолимой и бесконечной сладостной тяги, и тело женщины в этот необозримый момент казалось ему единственным телом Вселенной.

«Абрашка, ты меня затрахал совсем», — бормотала она, и он удивлялся, откуда приходят эти незамысловатые речения.

Здесь мы постараемся не повторить ошибки обожаемого всем миром классика. Ни Байрон, ни Саша не пропали в апофеозе словесности. Еще в самом начале сцены крошка королевских кровей с пушистым хвостиком деликатно процокала коготками под ногами голой хозяйки в глубину профессорской квартиры. Байрон, вполне в традициях балканского офицерства, встретил ее любезно, пронюхал все, что надо, под хвостиком и успокоился: в отличие от людей, у собак бывают периоды спокойствия. Теперь эти две милейшие твари сидели перед кроватью и внимательно наблюдали за упражнениями своих хозяев.

¹ Священная корова! (англ.) — популярное восклицание.

Настало время использовать кинематографический прием. Камера отъезжает, а потом поднимается к потолку. Или, скажем, заглядывает через окно на крыше, словно луна. С этой точки мы видим умильную картину: пару собак перед кроватью, на которой затихает любовный пир, столь внезапно вспыхнувший под влиянием миллионного халка. Наташа-Какаша засыпает в классической манере утомленной девы, щекой разместившись на нестриженной лужайке эйбовской груди. Как безмятежно спит это мятежное создание! И только изредка передергивается всем телом в каком-то необъяснимом (пока!) пароксизме. «Триумфатор» тогда в ужасе просыпается и снова начинает ее утешать.

Что же произошло с Эйбом на следующее утро после взятия двух вершин (или низин?): миллиона и Какаши? Первым делом позвонил Дино Коллекто. Он сказал, что Вибиге Оллсон уходит в продолжительный отпуск для написания книги о нигерийской структуре власти, и предложил ему занять кресло главы ЦИРКСа. А как же Бэнник, Стробб, Сулканеццин? — спросил Эйб. Глаз Какаши ясной планетой смотрел на него в этот момент из-под ее собственного локтя. В зрачке, кажется, торжествовал Микроскопический. Президент и Совет Визитеров считают, что ты самый достойный, уверенно заявил старый друг. Ну, а Влас Ваксаков, наконец? Коллекто засмеялся. Ну ты же его знаешь: он скорее Стас, чем Влас.

«Ты, наверное, уже слышал про мой вчерашний бросок, Дино? Или по телевизору видел?» — спросил Эйб, одной рукой натягивая трусы на обе ягодицы.

«Какой еще бросок? О чем ты?» — с искренним недоумением переспросил провост.

На этом их разговор закончился. Эйб обещал подумать и перезвонить через час. Подумать ему не удалось. Одновременно зазвонили и в телефон, и в дверь. «Клуб “Колдуны” вас приветствует, феноменальный профессор Шум! Все жаждут встречи!» Так, опередив «Слонов» на десять минут, «Колдуны» наложили лапу на вчерашнюю сенсацию.

Вертолетом они доставили Эйба на свою базу «Флетчерс Хэтчерс». Сильное впечатление там производила концентрация дезодоранта. «Никакой вони!» — таков был лозунг хозяина клуба Стива Бэззы. В свои семьдесят пять он был озабочен девственными ноздрями молодой супруги. Все были в сборе: стартовая пятерка, скамейка и питомник. Здороваясь с довольно высоким, по человеческим стандартам, профессором, мужики или сгибались, или приседали на пружинистых ногах. Эйб улыбался. «Вы называете меня “Шум”, джентльмены, а между прочим “шум” — это по-русски noise». — «В натуре?» — восхищенно поразился весь клуб.

Тренер Боб Бутсо предложил немедленно приступить к делу. Начнем с двенадцати бросков из трехочковой зоны. Подъехала тачка с дюжиной мячей. Изящно потряхивая кистями рук, Эйб забросил их в кольцо, ни разу, естественно, не промазав. Он не мог промазать. Ну хорошо, подумал Бутсо, это мы уже видели. Проверим его в толпе. Мистер Нойз, или как вас там, сейчас мальчишки вам будут отбрасывать наше круглое, а вы посылайте это туда, куда сами знаете. Эйбу не понравилась улыбка этого славянина. Улыбается так, как будто что-то знает из этой области, из психиатрии. Или так, как будто он вхож в романы.

Пасы «колдунов» едва не поломали ему пальцы. Несколько раз он терял мяч, однако всякий раз, буду-

чи взят, предмет отправлялся над всеми лопатами рук прямо в дырку. Возьмите его плотнее! Четверо делают заслоны Шуму, пятеро его атакуют, противники давят друг друга плечами, локтями, задами и коленками. Сейчас кто-нибудь прихлопнет меня, как мышонка. Баскетбол превращается в реслинг, это мне не по душе, джентльмены. Он повернулся спиной к кольцу и тут же получил пушечный пас от Бутсо. Бросай, Шум! Даже не разворачиваясь к кольцу, он швырнул мяч за голову. Ну, теперь вам все ясно?

Мистер Бэза встал. За ним поднялись еще несколько господ в персонально пошитых костюмах. Поехали на ланч в High Orbit. Тренера с собой не взяли, что, похоже, потрясло искушенного в этом бизнесе бульбоглотателя.

За столом в отдельном кабинете остались только трое — очевидно, прожженные выжиги. Четвертый, безупречный, как все, но мокрый от волнения, вдруг открыл дверь и драматически обратился к трем первоначальным: «Брюс, Эд, славный Ардамашти, неужели вы способны вот так с ходу выбросить вашего старого товарища?» Трое переглянулись и благосклонно кивнули. Эмоционально мокрый плюхнулся рядом с Эйбом и тут же обслюнявил ему ухо: «Я твоя агент, Эйб! Проси восемнадцать!»

Профессору предложили объяснить, как он сам все это понимает. Шумейкер, как полный мудака, стал этим людям выкладывать свое подкожное: и о «кризисе середины жизни», и о «парадигме личного конфликта», и о «малых триумфах», и даже о «поднебесной Фудзияме». Хотя бы о «Фудзияме земной» умолчал, вернее, просто не успел дойти до перевернутого апогея.

Вы у нас будете на скамейке, проф, сказали ему трое первоначальных. А на площадке будете появляться только тогда, когда надо переломить счет. В игре бывает так, что у всех не идут броски. Вот тут-то вы нам и понадобитесь.

«Мы просим двадцать», — сказал мокрый.

«Двадцать пять», — поправил его Эйб и подумал, что это будет неплохим приварком к университетским семидесяти пяти. Читатель, конечно, уже догадался, а профессор все еще не мог взять в толк, что речь идет не о тыщонках, а о миллиончиках.

«А мы предлагаем вам тридцать», — сурово оповестила тройка первоначальных, и контракт был тут же подписан.

Теперь мы подошли к тому моменту, когда оба наши отдельных рассказа сливаются в одно целое. Многие детали совместной жизни Абраши и Какаши мы тут опускаем по композиционным причинам, однако не можем сказать, что вскоре эта жизнь пошла под флагами непрерывных Какашиных беременностей. Выводками, образно говоря, вылуплялись в шумейкеровском гнезде птенцы. Жители Хейзельвуд-Коурт, который давно уже целиком принадлежал этой паре, перестали удивляться, видя, как через дорогу в парк движется отяжелевшая девушка, а за ней шустро ковыляет подрастающее поколение. Следует сказать, что после каждой кладки несущка немедленно теряла в весе и немисливо хорошела. В этом состоянии своей привычной неотразимости она отправлялась в Нью-Йорк, Москву, Париж, Улан-Батор тратить шумейкеровские миллионы и возвращалась полумифическим существом в нарядах от лучших кутюрье этих столиц. Проходило,

однако, не более месяца, и она снова грузнела в кормовых частях, живот оттягивался книзу под новым кладом зреющих яиц.

Однажды она сидела на пригорке в парке Абраша над озером, где плавала чета лебедей, Этель и Эланор. Они кивали ей своими маленькими головками, вмещавшими столько мыслей об изяществе. За озером был холм, из-за стриженной башки которого поднимались два постмодернистских билдинга. В небе оседал на аэропорт Даллас сингапурский джамбо. Какаша похлопала в ладоши, и птенцы немедленно собрались и уселись вокруг ее юбок. Им пора уже учиться летать и плавать, подумала она. Над близкой рощей прошагала вереница многоликих и приседающих на ходу олеожаров. «Пора, пора!» — донеслось до нее. «Всем подъем!» — скомандовала она, и птенцы тут же устремились в воздух, а потом стали опускаться, будоража озеро. Из-за рощи выехал и остановился автобус компании «Питер Пэн». Никто не вышел из серебристого рыдвана, кроме одного ловкого молодого человека вполне питерского вида. Боги Невы и Онеги, призраки Стрёмы и Вольжи — да ведь это же Славка Горелик собственной персоной! Да как же он мог здесь появиться посреди такого всего не нашего? Ах да, запаматовала малость, ведь тюрьмы-то рухнули в родных краях. Да ведь он же меня ищет, он за мной!

Между тем за рощей все больше собиралось олеожаров. К ним присоединялись и облакоподобные холозагоры. Громоздясь друг на друга, они выпекали нечто вроде пирога-послания, которое категорически говорило Какаше, что эпоха птенцов кончилась. Вот почему и Славка появился, Горелик! Принц нашего поколения отвязанных девушек, ты снова со мной! По-

чему же он не приближается, господа холозагоры, мадемузели олеожары? Я ему кричу через озеро, а он не слышит, да я, кажется, и сама себя не слышу. Он там закуривает свою сигарету, спичкой, вижу, помахивает, чую запах табака. Славка, иди же сюда, неужели не можешь перепрыгнуть это факин озеро? Этель, Эланор, помогите молодому человеку, поднимитесь в воздух, предоставьте ему свои лапы! Лебеди извиняются умоляющими глазами: мы не в силах, дорогая владычица парка Абраша, мы для этого не приспособлены, мы для создания фона изящества. Горелик, курнув, гасит сигарету, поворачивается спиной, на которой у него висит рюкзак со знаком доллара. Холозагоры и олеожары перегруппировываются и создают для парня манящую даль. Славка, не уходи! Он не слышит, уходит. Холозагоры и олеожары увещевают Какашу: дитя, в озеро не бросайся, еще не все!

Асфальтовая дорога начинает выкатываться из клубящихся туч, а на ней открытый «форд-мустанг» собственного Наташиного года рождения. Ну и приколы, да в нем же наша аристократия, Жека граф Воронцофф и Колян князь Олада в дурацких блейзерах с медными частями. «Нэтали!» — кричит старичье и бегут к ней на вершину закаканного птенцами холма. Приблизившись, не верят своим глазам, рыдают в своих собственных объятых. Девушка хохочет, стремительно теряя насадкин вес, возвращаясь в свой образ тоненькой егозы от Нарвских ворот. Они протягивают к ней свои четыре руки. Она заворачивается в их объятия. Отправимся теперь в край кристальных водопадов, призывают они. Да хоть в жопу, соглашается она и перепрыгивает через борт «мустанга» прямо на заднее, историческое для «поколения Вудстока», сиденье.

Как раз в это самое мгновение Эйб Шум встал на линию штрафного броска. Оставалось несколько секунд в решающем матче «Слонов» и «Колдунов». Счет был в пользу первых, 109:108. Болели ребро, локоть и подбородок. Еще бы, едва он вышел на площадку, чтобы спасти игру, центровой «Слонов» 7-футовый 250-фунтовый Чак Трансмюранси обрушился на гнусного профа, которого ненавидела вся НБА, за исключением «Колдунов» — те его любили. Таким образом отчаявшийся гигант добился только одного: не дал Шуму совершить еще один патологический трехочковый бросок из невозможной позиции. Два штрафных броска оставались за «Колдунами», исход матча был решен. Исторгая чудовищный рев, стадион поднялся на ноги, хотя те, кому по-прежнему ехать, уже пробирались к выходу.

Судья бросил Эбрахаму мяч. Любимая и ненавистная округлость почему-то вывалилась из рук. Он тут же снова ее схватил и несколько раз постукал об пол, как будто готовился к решающему броску. Поднял мяч над головой. Мелькнули ухмылки «Колдунов» и перекошенные от ярости губы «Слонов». Лишь трое присутствующих на площадке игроков неафриканского происхождения сохраняли бесстрастность. На этих лицах вы никогда не прочтете драматургии борьбы. Страсть и горечь впечатываются в темную кожу. Чак Трансмюранси смотрел на Шума, как Отелло на Дездемону. Но я не Дездемона, сучий Чак, думает Шум. За мгновение до броска внезапное страннейшее чувство пронизывает его: о нет, я, кажется, Дездемона, это так же верно, как то, что я Отелло, я Дездемелло, мяч полетит мимо, и я все сейчас потеряю в этот момент.

Вместо того чтобы описывать далее позор Шумейкера, автор признается доверенному читателю, что

в этом месте он скомкал и отшвырнул незавершенную страницу.

Все вдруг рухнуло. Весь замысел хитроумного Стаса обернулся вздором. Счастья, увы, не создашь на бумаге, как ни подгоняй края. В строптивости героев выявляется общий ущерб. «Малые триумфы» лишь делают вид, что выливаются в реальное торжество. Малоохольная Коломбина вдруг покидает Пьеро, и он остается один с равнодушно мерцающим в небе Микроскопическим. Он вдруг понимает, что это была вовсе не его история, что это была ее история, а его здесь просто подставили, чтобы поддержать сюжет. Стас, оставь ему хотя бы пса! Да, Байрон не уйдет, он будет сидеть рядом с тахтой, на которой распростерт его незадачливый папочка, и подвывать в тоске по исчезнувшей среди этих страниц нежной сучке королевских кровей, чей пушистый хвостик он так любил прижимать своим пузом к ее спине. Автору остается только скомкать еще одну страницу, выйти в сумерки в парк, ходить там в одиночестве, звать Прозрачного, прислониться к его огромному стволу, послушать его шумящие ветви, вернуться на свой чердак, вытащить из корзины скомканный лист, расправить его и переписать набело.

Что происходит с тобой, если ты в чужой стране теряешь кого-нибудь из твоих близких? Отторгаешь ли ты ее от себя как край непоправимой беды или, напротив, по какому-то глубокому религиозному смыслу она становится тебе ближе? Что происходит с тобой, если тебе случается в этой стране кого-то спасти от непоправимой беды? Или если ты просто испытываешь

опьяняющую жажду спасения, готовность броситься в самую бучу, когда гигантский дом, полный людей, горит над тобой и над всей до этого чужой страной словно факел Апокалипсиса? Или когда ты в полном одиночестве набираешь 911, и через несколько минут тебя окружают профессиональные спасатели этой страны? Значит ли это, что эти люди, которых, по всей вероятности, ты больше не встретишь, тебе уже не чужие, как и страна уже не чужая?

Так происходит в жизни, такие вопросы задает себе всякий чужак, и эти вопросы не чужды и Старому сочинителю с его непреодолимой жаждой все на свете превращать в литературу.

...Ночью раздался звонок, и я услышал голос Незабываемой.

«Что случилось, Любка?»

«Подожди», — сказала она почти внятно.

«Жду», — сказал я.

«Сейчас. Сейчас успокоюсь. — Звук большого глотка. Неужели водка? — Сейчас кирну и успокоюсь. — Бульканье. — Ну, вот все, — сказала она почти спокойным пьяноватым голосом. — Стас, что-то ужасное произошло между мной и Игорем. Мы оба были невменяемы. Я стреляла в него!»

Так. Теперь уже у меня чем-то забило нос и глотку. Почему я раньше не подумал, что до этого может дойти? Думай — не думай, у жизни всегда припасен какой-нибудь «непродуманный» трюк. Любка теперь не рыдала, а просто выла, как ветер в трубе.

«Ты его убила?» — еле ворочая языком, произнес я.

«Не знаю! — неузнаваемо завизжала она. — Его нигде нет! Ни его самого, ни его тела!»

Значит, ни Игоря нет, ни его тела, с какой-то странной тупостью думал я. Может ли так быть, что его там нет, а тело лежит?

«Кровь на полу есть?» — шепотом спросил я.

«Ну а как же! — Она глотала и рыдала. — Конечно есть!»

«Почему “конечно”?»

«Да я же руку себе разрезала, идиотка, кретинка, исчадие ада, зачем я родилась на свет Божий?»

«Я сейчас выезжаю, Любка. Слушай меня внимательно. Я буду у тебя через три часа, если не попаду в трафик на тёрн-пайке¹ .

В любом случае приеду не позже восьми утра. Не напивайся! Есть у тебя московский валокордин? Глотай и жди! Где пистолет?»

Из нее заряд за зарядом стали вылетать матерные проклятия, не совсем понятно, в чей адрес: Игоря или пистолета. Потом, когда эти заряды, что никого бы не удивили в элитной среде Москвы шестидесятых, но теперь, в девяностых, звучали с доколумбовой дикостью в стране изгнания, опали, как хлопья сажи, она зашептала:

«Стаська, я знала, только ты, я знала, спасешь, не хочу в тюрьму, ненавижу гада Игоря, люблю тебя, спрячь, закутай в одеяло, дай молока горячего, горячего (звучало «хорячего, хорячего», как в юности этой провинциалочки)...» Замолчала.

Через четверть часа я уже ехал по шоссе. Для таких случаев я держал двухместный «делорен», который купил когда-то в самом начале своей американской жизни, потратив две трети первого аванса от «Фара-

¹ От англ. turnpike — выезд на шоссе, разворот.

Строус-анд-Жиро». Помнится, меня совершенно загнипотизировало то, что дверь у него одновременно являлась и крышей — открывалась вверх, как крыло жука. Советский субъект, я не мог даже представить, что такая машина может стать моей собственностью, и вот — росчерк пера, и она моя! Теперь, через девятнадцать лет, я мчусь на ней по ночному фривэю спасать звезду Коктебеля 1964 года. Девятнадцатилетнюю, романтическую до полубезумия девчонку, которую тогда звали Любка-Любка-Потеряла-Юбку. Подстунив в гараже к «делорену», я загадал: если заведется, все как-нибудь уладится. Ржавый конь завелся с пол-оборота.

Однажды мы сидели с ней при луне на скале, свесив ноги в страшную пропасть. Она смеялась, поглядывая на меня, блестя глазами и зубами, а также ногтями рук и ног. Инопланетянам, быть может, была непонятна ее красота, у жителей Земли от нее перехватывало дыхание. Я спросил ее, может ли она представить, что ее молодость когда-нибудь пройдет. О чем ты говоришь, расхохоталась она, я не могу себе представить даже то, что когда-нибудь пройдет этот заезд.

Ночью на шоссе почти не было машин. Неслись только те, кому надо было кого-нибудь спасти или кого-нибудь угробить. Я старался не превышать ста миль в час, то есть нарушал почти вдвое. В машине гудел потенциал еще по крайней мере на сотню. Впрочем, иногда в ней покашливало что-то, похожее на разочарование прожитой жизнью: почему мне суждено было родиться в эпоху ограничения скоростей, почему мой создатель не смог избежать тюрьмы?

Мы очень быстро проехали вашингтонскую кольцевую, все еще в темноте докатили до тоннеля под Балтиморским заливом, и только уже на полях Делавера

стало светать. Как вестники восхода, на горизонте стали появляться огромные шкафы дальнобойных грузовиков.

В ту давнюю фиесту на долю ее будущего мужа пришлось довольно двусмысленная роль. Ты, Игорь, привез в Крым эту девчонку, не подумав. Она вроде бы была твоя, все в нашей компании это признавали, но тебе было за ней не уследить. У костра в Сердоликовой бухте Любка была коронована как Мисс Коктебель с прибавлением эпитета Незабываемая. «Физики и лирики» поднимали ее на руках и сажали на мускулистые плечи. Бродячие барды гремели гитарами в ее честь. Нырятьщики приносили ей раковины из темно-зеленых глубин. Мотоциклисты предлагали ей свои торсы для обхвата сзади. Богатые писатели на новеньких «Волгах» подстерегали ее у ворот Дома творчества и приглашали махнуть в Судак или в Ялту — вообще, куда угодно. Дряхлый сталинский лауреат постоянно ходил за ней с букетом роз из своего сада. Пещерные люди из «Республики Карадаг» заманивали ее в свои убежища на предмет совместных медитаций. Археологи с кургана Тепсень называли ее именем свежеоткопанную амфору.

Головная боль началась, когда в штате Нью-Джерси я вышел с магистрали на боковую дорогу. Близость Нью-Йорка не оставляла никаких надежд на спокойный проезд по буколическим окрестностям: машины еле ползли, бампер в бампер, или стояли в, казалось, бессмысленном ожидании. Люди внутри брились, расчесывали гривы, подмазывали губы, читали газеты, завтракали или просто сидели с искаженными лицами. Тут-то я снова оценил маневренные способности «делорена». С места он опережал всех и раньше всех ус-

певал протыриться в малейший просвет. Тем не менее не меньше сорока минут понадобилось, чтобы повернуть к гореликовскому городишку Фёнфли, и это дало мне возможность завершить коктейбельские воспоминания.

Ты, Игорь, бесился. Однажды она пропадала весь день. Народ на пляже за скалой Хамелеон поглядывал на тебя, а ты зверем щетинился на меня, как будто я не ждал вместе с тобой ее возвращения. К вечеру на пляже приземлились три дельтаплана, на одном из них была Любка, на двух других — ее новые поклонники, супермены воздуха. «Быть в Планерском и не научиться на дельтаплане — это же глупо! — Она пыталась оправдываться. — Ну, Игорь, согласишься! Ну, Стас, хоть ты-то согласен? Ну что вы дуетесь, ребята?» Сгрудившийся вокруг народ хохотал.

Ночью ты, Игорь, свистнул под моей террасой. «Любка у тебя?» — «С какой стати?» — «Ты знаешь, с какой стати!» Я спустился к тебе, и ты, не думая ни секунды, хлестнул меня кулаком по скуле. До сих пор, кажется, болит эта скула, тридцать лет спустя. Все та же острая и обидная боль. Мы дрались с тобой минуты три, молча наносили удары по корпусу и в голову, пытались поймать вражеские конечности на захват. Потом опомнились и сели с сигаретами на крыльце. Я сказал тебе то, что знал: ее увез известный в бухте человек по кличке Хемингуэй. Они отправились в совхоз на шашлык. Звали и меня, но я не поехал. А меня не звали, сказал ты, Игорь, полный мрака. Мы отправились на моей «Волге» в совхоз. Шашлычная компания гужевалась на пригорке. Горел костер, двигались молодые тени. Мы с тобой, Игорь, уже тогда были для них стариками — как-никак за тридцать. Любка в

белом марлевом платье ходила вокруг шалой походкой, больше чем на минуту ни с кем не задерживаясь. Пока мы медленно приближались к ним, у меня возникло ощущение, что она каждую минуту может вспыхнуть. «Сейчас загорится, идиотка, в своем мудацком платье, — пробормотал ты, Игорь. — Достаточно одной искры». Мы вылезли из машины, и она, по-щенячьи взвизгнув, бросилась к нам, стала тормозить то тебя, то меня. Можно было подумать, что она напилась — компания Хемингуэя дула чудовищный крепленый портвейн, — но ее тогда вовсе не тянуло к бузе, как не тянуло персонально ни к кому из тех крепленых мужчин; ну, за редким исключением. Она сама себя самой собой опьяняла в то лето. Едва лишь открывала утром глаза, как ее охватывал восторг, и весь день он кружил ее, то ускоряясь едва ли не до психоза, то чуть замедляясь до «первого бала Наташи», чтобы ночью неудержимо замелькать в лунных бликах того редкого по прозрачности и по таинственным бризам сезона, когда запахи горных трав перебивали даже стойкий запашок коктейбельских летних сортиров. «Ах, Стас, если бы ты только знал, — сказала она однажды, — какое это счастье быть такой девушкой, как я!»

Наконец я нашел их дом. Он стоял среди своих двойников на тенистой улице, но отличался от них своей бедой. До сих пор не понимаю, какие признаки беды сразу бросились мне в глаза, если не считать открытой двери, из которой молча, без лая, как будто с мольбой о помощи скатился мне навстречу большой черный терьер.

Я вбежал в гостиную и сразу увидел женщину, в которую превратилась та Любка из воспоминаний.

Она сидела на полу, привалившись к стене. Глаза ее закатились, с патологической блаженной улыбкой она засыпала. Бессвязные обрывки слов еле слышно еще слетали с опухших и потрескавшихся губ. Рядом на полу стоял стакан с недопитой водой и валялся пустой аптекарский пузырек без пробки. На ярлычке значилось «афтолассол, 60 таблеток». «Не спать! — заорал я и стал хлестать ее ладонями по щекам. — Не спать! Не спать! Не спать!» Голова ее тяжело моталась под пощечинами. Не помня себя, я подхватил ее под мышки и потащил неведомо куда. Она весила тонну.

Тут меня осенило: если она что-то еще бормотала, значит, она проглотила эти 60 таблеток только сейчас! Значит, есть еще горсточка шансов предотвратить окончательное угнетение дыхательного центра! Значит, можно еще попробовать вытащить ее откуда-то оттуда куда-то сюда! Вывернуть из нее что-то наружу!

Рванул на кухню вместе с терьером, выхватил из холодильника бутылку «Эвиана», содрал пробку, рванул назад, к телу, всунул горлышко в тело. «Пей! Пей! Пей!» Чудо, о чудо! — она стала делать глотательные движения. Терьер повизгивал, умолял любимую мамочку: «Пей! Пей! Пей!» Бутылка опустела. Я разжал Любке рот и засунул в него свою лапу. Другой рукой я ухватил ее за язык и стал вытягивать его наружу с риском оставить его у себя в ладони, как хвост ящерицы. Третьей рукой, или какой там по счету, я давил в глубине глотки на корень языка.

Прошу прощения, но не могу удержаться здесь от вполне идиотской по гладкости фразы: усилия мои не пропали втуне. Ее стало бурно выворачивать. Вода возвращалась вместе с желудочным соком. Выходили

и повисали на подбородке тягучие нити слюны. Что-то вдруг шлепнулось из ее рта на ковер. Передо мной лежал круглый сгусток величиной с детский кулачок — это были слипшиеся таблетки антидепрессанта. Я чуть не закричал от радости: кажется, основную массу ее самоубийства удалось вытащить обратно! Рядом, счастливый, скакал пес (позднее я узнал, что его зовут Бульонский); он все понял, как будто не первый раз был свидетелем подобных семейных пертурбаций. Не хочется вдаваться в подробности, но я тоже в таких делах был не новичок.

Почти спокойно я накрыл отторгнутые субстанции пластиковой пленкой «wгар-wгар-wгар», которую так лихо рекламируют по телевидению. Ну теперь она может просто спать. Сатанинская доза лекарства выскочила наружу. Я откатил тело от блевотины. Нет, конечно, она весила меньше тонны, она в общем-то была неплохо очерчена, а если и превышала плотью ту Любку из Коктебеля, то не более чем в два раза. Подложил ей под голову подушки с софы, накрыл пледом. Позвонил 911 и попросил помощи. Yes, ma'am, we need help. It looks like an intentional overdose, a suicide attempt. Woman. About fifty. No, I'm not her husband, just a visitor¹.

Я рассказал, что я увидел и что я сделал.

Девушка на телефоне спросила имя больной, адрес и телефон. На минуту замолчала, видимо вводя данные в компьютер, а после каким-то иным, как будто уже посвященным в суть дела тоном произнесла: Sir, the help is coming. Please, stay with Mrs. Gorelik until they

¹ Да, мэм. Нужна помощь. Похоже на передозировку. Попытка самоубийства. Женщина. Около пятидесяти. Нет, я не ее муж, просто посетитель (англ.).

arrived. It won't take long. Thank you very much for your cooperation¹.

Вот такие вежливые тут у нас на «скорой помощи». Да что там говорить — немало стоящих превосходных людей работает в этой сфере.

Я осмотрелся. Дом был просторен и убран со вкусом. Комфортом совсем не уступает цэковским стандартам. Пожалуй, превосходит. Одна стена целиком была отдана московской ностальгии: афиши спектаклей, живопись Рабина и Немухина, фотографии, среди них одна и моя далекой давности — Стас Ваксина в день своего сорокалетия на сцене ЦДА читает подозрительный текст.

Любка спала и во сне кому-то приветливо улыбалась. Может быть, мне. Может быть, своему сыну Славке. Может быть, своему псу, который сейчас лежал у ее изголовья и вопросительно смотрел на меня. А может быть, и своему мужу — тебе, Игорь, в которого она прошлой ночью стреляла. Я поднялся и пошел на улицу, чтобы встретить машину. Пес отправился за мной. На крыльце он встал на задние лапы и положил передние мне на плечи. Лизнул меня в щеку. Боже, мы можем только догадываться, как страдают собаки от того, что мы творим в их присутствии!

По американским правилам, в случае подобных вызовов вокруг дома собирается сушая армада машин. Вот и сейчас, не прошло и пяти минут после звонка, как на огромном красном траке прибыли парамедики из пожарного депо. Группа числом не менее пяти промчалась к дому, словно десант спецназа. Почти одновре-

¹ Сэр, помощь направлена. Пожалуйста, оставайтесь с миссис Горелик до их прибытия. Это недолго. Большое спасибо за ваше содействие (англ.).

менно прибыл патрульный «шевроле» полиции. Два статных офицера, затянутых в свои черные штаны и бежевые рубашки с разными бляхами, проявляя благосклонную готовность к любому повороту событий, проследовали в резиденцию Гореликов. Еще две минуты, и пришвартовался амбуланс, то есть квалифицированная медпомощь из соседнего госпиталя «Десять заповедей». Работали мигалки всех трех машин, множество огней, персонал переговаривался по радиотелефонам друг с другом и со своими центрами. Проезжающие между тем мимо соседи делали вид, что ничего особенного не происходит.

После уколов Любка открыла глаза и заметила меня среди хлопочущих спасателей.

«Стас, птичка моя», — прошептала она.

— What did she say? — спросил меня один из полицейских.

— She simply recognized me, — сказал я. Не говорить же копу, что дама назвала немолодого господина my little bird¹.

Глава пожарников, черный парень лет сорока, явно крутой специалист своего дела, отвел меня в сторону.

— We know this Russian lady, — сказал он. — It wasn't first time, sir, that we treat her on a similar matter, but this time it was really serious. Actually, she already opened the door, from behind which people don't return. Thank God, she threw this stuff up².

¹ Что она сказала?. — Она просто узнала меня. . — Моя птичка.. (англ.)

² Мы знаем эту русскую леди... Это не первый раз, сэр, мы выживаем ее подобным образом, но на сей раз все по-настоящему серьезно, она в самом деле уже распахнула дверь, из-за которой не возвращаются. Слава Богу, она исторгла эту дрянь (англ.)

— Thank God, — повторил я за ним и перекрестился.

Он улыбнулся:

— Are you Orthodox? Me too¹.

Врач из амбуланса, молодой человек с походкой теннисиста, взял меня под руку, словно на коктейль-парту.

— Mister... — Он заглянул в свои данные. — Mr. Vaccino, we're going to take Mrs. Gorelik to our hospital. She's certainly out of hot water, but we prefer to make a double-checking all over. Besides, these suicidal cases require some special consulting. You know what I mean. Are you going to follow us? Excuse my curiosity, is it your car parked in the driveway? A striking design, I must admit! Is it European?² — По молодости лет он никогда не видел «делоренов». Узнав, что странный зверь был рожден в его родной стране, доктор был поражен. — I can't believe it's that legendary Deloren³

Вот я уже дожил до чего в этой стране — стал субъектом американской ностальгии: пожилой джент с иностранным акцентом на легендарном «делорене».

Когда Любку выкатывали из дома, она, кажется, уже начала ориентироваться в ситуации. Во всяком случае, сказала своему псу: «Бульонский, сторожи дом!» И тот немедленно отправился внутрь.

¹ — Слава Богу.

— Вы православный? Я тоже (англ.).

² — Мистер... мистер Ваксино, мы собираемся забрать миссис Горелик в наш госпиталь. Она, конечно, уже вне опасности, но мы предпочитаем перестраховаться. Кроме того, эти суицидные происшествия требуют некоторого специального консультирования. Вы знаете, что я имею в виду. Вы с нами? Простите мое любопытство, это ваша машина запаркована на проезжей части? Удивительная конструкция, должен признать! Европейская? (англ.).

³ Не могу поверить, что это тот легендарный «делорен» (англ.).

«Я еду за тобой, Любка, — сказал я ей, — не волнуйся, буду поблизости». — «Лапа моя», — пропела она, и глаза ее закрылись.

— What did she want to say in particular? — снова поинтересовался полицейский.

— I'm sleepy, — я ему сказал. — That's what she wanted to say, I am sleeeeeeepy.

He будешь ведь говорить парню, что она назвала меня my raw.

...В холле приемного покоя я лег в темном углу на диван и положил ноги на валик. Я думал, что сразу усну, но не тут-то было. Все что-то прыгало в памяти, в уме, выскакивали какие-то картины, лица, отдельные слова, все малозначительное, никчemuшное. Я знал это состояние. Чтобы от него избавиться, нужно начать процесс сочинительства. Начну сочинять повесть о Кукушкиных островах. Внутреннюю повесть из этого романа, вернее, маленький роман, внедрившийся в этот большой. Так в процессе сочинительства можно иногда утихомирить сумятицу ума и даже немного поспать.

...Баста, я засыпаю, и тут же кто-то начинает спешить ко мне по гулкому коридору нью-джерсийского госпиталя, а кто-то стоит у меня в ногах, как будто изучает мои подошвы. Кукушкинские сочинения исчезают из башки, как пятна с тарелки под действием моющих средств. Вот все промылось до чистой реальности. Ко мне пришли сказать, что с Любкой все-таки что-то случилось. Вдруг, еще перед тем как услышать беду, я понимаю, как невыносимо мне будет потерять эту Любку Андриканис. Нет, совсем не ту юную ведьму с Карадага, а вот именно эту климактерическую, вдребезги психопатическую бабу с ее утолщенным зубом, гла-

зами навькате, с ее избыточной плотью, выпирающей из дизайнеровского треника агента недвижимости, — одну из тех баб, что бороздят округу в своих «ягуарах» (без «ягуара» тут не станешь агентом по недвижимости), что фотографируют полароидом дома на продажу, навешивают на эти дома кодированные замки, втыкают в клумбы таблицы «On Sale», быстро подсчитывают проценты финансирования, «клизингов» и до сих пор не понятных мне «пойнтов», а потом закатываются в гимнастические залы и бегут там, бегут по «тредмиллам» или пляшут синхронно с десятками таких же стареющих баб; вся эта средняя и, ох, шикарная Америка!

Что мне в этой Любке Андриканис? Что нас связывает, кроме той ночи на Карадаге тридцать с чем-то лет назад? Романтика не может жить так долго. От такой жизни она превращается в сопли. Я не вижу эту женщину годами, десятилетиями, почти никогда о ней не вспоминаю, и вдруг наплывает нечто неразделимое, близость, от которой никуда не сбежать, и мысль об ее исчезновении из числадвигающихся, потеющих, сопящих, орущих, шепчущих, кушающих, выпивающих, пукающих, садящихся на унитаз, писающих, какающих, читающих, насвистывающих, совокупающихся, мастурбирующих и об ее присоединении к числу неподвижных, разлагающихся, разъедаемых подземной живностью, распадающихся на куски и размываемых водами, переходящих в гниль и в состав почв, вплоть до костей и костяных трубок, — эта мысль была невыносима, и, значит, женщина эта была мне почему-то очень близка, иначе я не думал бы о ней с таким натурализмом, как не думаешь в этом ключе о большинстве человеческого рода, уже прошедшего этот процесс. Может быть, Славка нас так сближает — мое, как говорится, литературное детище?

Ведь раньше-то, до того, как заварился этот «большой роман», никакой у меня не было душевной тяги к этой Любке, одно лишь романтическое воспоминание; одно из многих, должен признаться.

— Mr. Vaccino, our patient wants to see you, — произнесла медсестра в оливковом халате, туго затянутом вокруг талии. — Follow me, sir, if you please.

Я сбросил ноги с валика дивана и встал, демонстрируя нетвердую готовность, но твердую нестигаемость. Мы двинулись вдвоем мимо дремотных родственников и чуть постанывающих больных, ожидавших своей очереди в приемном покое, к коридору, ведущему в ярко-белый сектор реанимации.

— Is she getting worse, may I ask? — спросил я, набравшись храбрости.

Она мельком, но с отчетливой строгостью взглянула на меня:

— You'll get a chance to talk to her doctor, sir. The only thing I can say is that she is on a respirator for the time being¹.

Все это похоже на приближение развязки, подумал я. Посланица слишком суха и слишком вежлива. Похоже, что понимает свою роль вестницы мрака. Даже не притормозив, она задала свой вопрос:

— Excuse me, sir, are you aware that a dead scolopendrus has stuck to your sole?² — Ее глаз на миг повернулся ко мне с безучастным любопытством

¹ — Мистер Ваксина, наша пациентка хочет вас видеть. Будьте любезны, следуйте за мной... — Позвольте спросить: ей хуже?.. — У вас будет возможность поговорить с ее доктором, сэр. Единственное, что я могу сказать — она в данный момент на искусственном дыхании (*англ.*)

² Простите, сэр, вы знаете, что к вашей подошве прилипла дохлая сколопендра? (*англ.*)

синицы. Я приотстал и, по-дурацки припрыгивая, осмотрел свои подошвы — и левую, и правую. Никакой сколопендры на них не было. Наверное, отпала. Или эта сивилла что-то другое — фонетически близкое — имела в виду? Тут мы вошли в обширную палату, в середине которой под простыней лежала Любка; нижняя часть ее лица была прикрыта пластмассовой маской.

Вообще-то она лежала, как труп. В торчащих из-под простыни конечностях не было жизни. Лицо напоминало грубую лепку по мылу. Только грудь вздымалась, как бы демонстрируя жизнь, но это работал респиратор. Наблюдательная сестрица куда-то исчезла. Я стоял в одиночестве перед проколотым иглами и опутанным трубками телом Любки Незабываемой. Глаза ее были как будто зажаты контрактурой. Похоже, что я опоздал на последнее свидание. В комнату вошли два врача. В одном из них я узнал того, со «скорой», который интересовался моей машиной. Второй был постарше — сухощавый лорд медицины. Первый улыбнулся мне, как старому знакомому.

— This is that Mr. Vaksisakis I told you about, — сказал он старшему.

— Is she dead? — спросил я и, услышав себя со стороны, удивился странному светскому тону вопроса.

Доктор Рекс (так гласила его планка на груди халата) улыбнулся и окинул взглядом пульсирующие цифрами и катящиеся зубцами панели приборов.

— Just the other way around, sir. She's coming back. In ten minutes we'll pronounce her in a stable condition. Hey, Ljubby!¹ — громко позвал он.

¹ Это тот самый мистер Ваксисакис, о котором я тебе говорил... — Она умерла?.. — Наоборот, сэр. Она приходит в себя. В течение десяти минут мы объявим, что она стабильна. Эй, Люби!

Неожиданно для меня она открыла глаза и осмотрела нашу группу совершенно осмысленным взглядом. Морщины вокруг ее глаз шевельнулись, как будто она сказала в мой адрес что-то ласковое.

— Are you all Greek, folks? — полюбопытствовал молодой док.

— Almost, — сказал я.

Оба доктора рассмеялись.

— Almost doesn't count¹, — сказал молодой. И они снова рассмеялись.

Слово almost, очевидно, напомнило им что-то смешное из внутреннего обихода. Они отвели меня к стене и объяснили ситуацию. Куда ни кинь, получалось так, что мистер Ваксисакис, случайно захав к миссис Эндриканисус-Гоурелли, спас ей жизнь. Вызвав рвоту и отторжение основной массы пилюль, спаситель уменьшил дозу интоксикации в 6,5 раз. Такая точность? Да-да, вот именно в 6,5 раз. Разрешите полюбопытствовать, какой специфике вашего опыта мы обязаны таким исходом? Это флот, сказал я, но не стал уточнять. Они похлопали в ладоши. Bravo! Греческий флот — это awesome, это грозно!

Немало все-таки успело всосаться в стенки желудка нашей пациентки. Временами появлялись симптомы угнетения дыхания и фибрилляции сердца. Вот почему решено было поставить ее на респиратор. Сейчас опасность уже позади. Через полчаса она будет переведена на более мягкий режим, и вы сможете даже обменяться парой-другой фраз.

Через полчаса респиратор был удален. Теперь она полусидела среди подушек. Капельница все еще стояла за ее спиной.

¹ — Вы все греки, народ?.. — Почти... — Почти не считается (англ.).

«Эй! — сказал я ей. — Любка-Любка-Потеряла-Юбку!»

Она ответила еле слышно: «Стас, я люблю только тебя и Бульонского».

«Бульонский достоин твоей любви, а я не очень».

Мы улыбнулись друг другу. Она закашлялась: видимо, гортань сильно саднило после трубки. Лицо ее сморщилось и сделалось почти неузнаваемым. Неузнаваемая Незабываемая. Я мог бы еще посидеть возле ее кровати, обмениваясь улыбками и ободряющими фразами, однако я сделал жест «тебе нужен покой», потом другой — «я буду поблизости» и вышел из палаты почти на цыпочках, хотя там не было никого, кого могли бы разбудить обычные шаги. На пороге оглянулся. Она снова улыбнулась, расплылась всем мылом своего теперешнего лица.

...Боже мой, сколько лет я прожил на этой далекой от дома земле, никогда не вспоминая о Гореликах, и вот к старости стал едва ли не членом семьи, которому можно позвонить среди ночи и попросить немедленной помощи, на которого можно излить весь трупный яд загнивающей любви.

Тут я заметил, что у меня все лицо мокрое. Что это — пот или слезы? Что-то текло и из глаз, и с макушки сквозь редкую поросль, собираясь на дряблых ярусах кожи, повисая на разросшихся с годами родинках и перетекая на начинающий уже запекаться подбородок. Я потею и плачу по уходящему веку. Скорблю по ускоряющемуся в своей жажде исчезновения моему столь любимому ХХ. Чтобы отвлечься от вечной людской печали, я обращаюсь за помощью к памяти, и она снова заворачивает меня на Кукушкины острова.

Когда я вернулся в двенадцатом часу ночи, весь дом был освещен, в окнах двигались бодрые люди. Оказалось, за это время прибыл Дельфин со всем своим семейством, то есть с женой Сигурни, тестем Малкольмом Тейт-Слюссари и моими внучатами Полом и Кэтти. Сестры накрывали на стол, полыхали телевизоры, звучал мажорный Бетховен, и мой приезд не сразу был замечен.

Приближаясь к завершению «Американской кириллицы», мы ненадолго возвращаемся в класс Американского Университета. Старый Сочинитель, он же профессор конфликтологии, пытается спровоцировать общую дискуссию, а затем разглагольствует на столь любезную российскому интеллигенту тему «проклятых вопросов».

Оружие хорошо ложится в ладонь. Это знает всякий оружейник, удовлетворяя смутную жажду ладони. Может быть, это ощущение и не связано с личной жестокостью — просто всякая ладонь, быть может, помнит о всех прежних ладонях.

Как-то раз в своем классе по конфликтам я затеял разговор о жестокости. Увеличивается ли людская жестокость с ходом истории? Обычно, если профессор ставит такого рода общий вопрос, в классе сразу поднимается несколько рук смекалистых студентов. Смекалистый студент старается отвечать на общие вопросы. Он может не попасть в точку, но это для него не главное. Главное — выделиться из общей массы класса, запомниться преподавателю в лицо. Таким образом, считает он, между мной и профом завяжутся персонализированные отношения, что, конечно, повлияет на от-

метку. Так оно и есть на самом деле: смекалистый студент не дурак.

В этот раз все мои любимчики сходились на том, что с ходом истории жестокость человека увеличивается. В качестве доказательства приводилось число жертв. В прежние века в насильственных конфликтах погибали сотни, ну тысячи. В XX веке жертвы исчисляются иногда десятками, а иногда и сотнями тысяч, а мировые войны доходят до миллионов.

С этими доводами трудно не согласиться, покивая я своим активистам в манере дедушки Мазая. Однако позвольте мне теперь поставить вопрос в другой плоскости: увеличилась ли жестокость человека после изобретения огнестрельного оружия?

Тут один с задней парты, молчун в бейсбольной шапке с натянутым на брови гнутым козырьком, сказал, что, по его мнению, огнестрельное оружие немного — он подчеркнул, а bit, — уменьшило человеческую жестокость. Класс повернулся к нему, и ему волей-неволей пришлось развить свою мысль. Ну, возьмите, скажем, римского легионера. Чтобы убить врага, ему приходилось сближаться вплотную и врубаться мечом или копьем прямо в человеческую плоть. От такой работы звереешь. Теперь возьмите пулеметчика в траншее. Он рассеивает пули на большом расстоянии. Враги представляются ему какими-то бегущими и падающими фигурками. Факт разрыва плоти почти ускользает. Он убивает больше людей, чем легионер, но в обыденной жизни может остаться обычным человеком, что было невозможно с легионером: постоянный кровопуск выжигал в нем все, что мы называем человеческим, сэр.

Народ зашумел на Филиппа Ноуза (он, между прочим, был кадетом военно-морской академии в Анна-

полисе и посещал Пинкертон, чтобы заработать себе кредиты для каких-то своих морских целей). Ты не прав, Фил! Это двойной стандарт! Демагогия! Твой пулеметчик — более жестокий гад, чем римский легионер, просто потому что может больше убить!

Вдруг один парень присоединился к Филу. Известно, что во время войны с Карфагеном легионеры развлекались тем, что распинали львов. Можете себе представить летчиков наших ВВС, которые для забавы распинают львов? Отбомбившись, они смотрят бейсбол.

В классе поднялся такой шум, что проходивший мимо *provost* Коллекто приоткрыл дверь. «У вас все в порядке, ребята?» Увидев конфликтолога Влоса, он успокоился и одобрительно подмигнул: хорошо, мол, что никто не спит.

Интересное происходило расслоение дискуссантов: мальчики постепенно переходили на сторону Фила, девочки были непримиримы в обличении тех, кто применяет средства массового уничтожения, гомосексуалисты, как всегда, отмалчивались. Кончилось тем, что одна чилийка, Мелинда Крупп, стала подавать какие-то странные сверчковые сигналы. Оказалось, что у нее сердце слишком быстро забилося. Подкожный датчик рекомендует срочно принять лекарство. Шум прекратился. Все с сочувствием проводили Мелинду. Не исключено, что многие смотрели на нее с завистью. Студент всегда студент: любой, самой интересной дискуссии он предпочтет возможность смотаться из класса.

Так или иначе, возбудив аудиторию своим «провокативным вопросом», я мог рассчитывать, что никто не задремлет. Уставившись в окно на ветку сосны с двумя раскачивающимися на ней кардиналами, я начал говорить: «Давайте коснемся такой штуки, как цель

истории. Боюсь, что она нам неведома, леди и джентльмены. Мы привыкли думать, что наш путь — это путь постоянного усовершенствования человеческой расы. Какого усовершенствования, а главное — для чего? Быть может, эта цель возникла в видениях Ницше, когда он грезил о “надчеловеке”? Нацисты вульгаризировали его идеи, представив их как мечту о нордическом супермене. Большевики, которые никогда не признавались в своем ницшеанстве, выдвинули план создания “нового советского человека”, который, по сути дела, является не чем иным, как другой версией супермена. Между тем Ницше имел в виду не супер-, а “надчеловека”, иными словами, человека, уже частично преодолевшего гравитацию “первичного греха”. Быть может, в этом и состоит неведомая нам цель истории, то есть цель постоянного усовершенствования?

Принято думать, что в основе усовершенствования лежит рост интеллекта. Идея духовного усовершенствования так или иначе тоже связывается с интеллектом, что в общем-то справедливо, но только отчасти. Более или менее независимо от интеллекта стоит физическое усовершенствование.

Как и все остальное, физическое развитие человеческой расы несет в себе множество противоречий. С одной стороны, увеличивается число высоких и сильных, с другой — растет число ожиревших и вялых. Эра антибиотиков, витаминов, массового спорта, медицинской высокой технологии ведет к увеличению продолжительности жизни, а значит, и к перенаселению и распространению дряхлости. Поднимается заря “генной революции”, и это дает возможность предположить, что мы на всех парах движемся к феномену “надчеловечества”, а с другой стороны, генная инженерия порожд-

дает опасность дегенерации и образования своего рода “под-человечества”.

Поставив эти вопросы, затронем теперь феномен “счастья”. В конце XX века то ли Короленко, то ли Максим Горький, которого называют основоположником литературы социалистического реализма, высказал зернистую мысль: “Человек рожден для счастья, как птица для полета”. Можно в это поверить, а можно предположить, что в этом заключается основополагающая ложь. Нетрудно увидеть, что человек рожден не для счастья, а для беды, ибо каждого из нас ждет смерть.

Счастье — это острая радость жизни, которая налетает мгновениями и так же мгновенно отлетает. Только в этом смысле тут уместно сравнение с полетом. Не исключено, что последнее такое мгновение возникает в момент смерти, в этом случае Короленко или Горький могут быть правы. Не исключено также, что это мгновение становится бесконечностью.

Давайте вернемся теперь к интеллекту. Рост его неразрывно связан с накоплением знаний. Оглядываясь назад, мы задаемся вопросом: почему мы в течение шести тысяч лет плелись улиткой, а теперь так лихо заракечиваемся? Значит ли это, что мы на столько же умнее древних, на сколько наши знания превышают их багаж? Весьма сомнительно. Человек, придумавший колесо, не ниже человека, разрабатывающего систему космической навигации. Видеокамеры, позволяющие запечатлеть ускользающий момент, впрямую относятся к тем краскам, с помощью которых был запечатлен на скале пробегающий мимо буйвол.

Все эти открытия, по сути дела, являются чудесами, но мы их считаем результатами детерминированного развития нашего интеллекта.

Физики-теоретики, то есть народ, наиболее приближенный к метафизике, задаются вопросом: почему молчит космос. Они считают, что мы уже вышли на уровень, достойный сигнала. Они обеспокоены тем, что наша наука может вдруг стремительно подойти к своему тупику, задвинуться в него и остановиться навсегда. Они жаждут сигналов со звезд, но вообще-то, как я понимаю, они имеют в виду за-звездность. Космос — это все-таки то, что мы видим. Мы даже измеряем его расстояния в миллиардах световых лет. Однако чудовищность этих расстояний сама по себе почти опровергает идею космоса как дома. Физика жаждет пройти в метафизику, где нет никаких световых лет, как нет и света в нашем понимании, и откуда, быть может, давно уже подаются сигналы, которые мы пока не можем распознать.

Мир заастральный приоткрылся нам раз с приходом и уходом Христа, и, быть может, то, о чем тоскуют большие математические умы вроде Эйнштейна или Николая Ляпунова, станет не чем иным, как Вторым Пришествием.

Так или иначе, но сейчас мы подходим к тому моменту, после которого интеллектуальное развитие начнет сливаться с духовным».

— Можно выйти позвонить? — спросила первая скрипка сегодняшней дискуссии, кадет Филипп Ноуз.

— А мне нужно выйти помолиться, — капризно напомнила красавица из Саудовской Аравии Мэйсун Кэйхан. — Ведь я вас предупреждала, профессор.

— Да-да, — подтвердил я. — Давайте тогда сделаем общий перекур.

— Перекур! Перекур! — зашумели студенты. Станным образом вся группа очень быстро освоила произношение этого «политически некорректного» слова.

Все быстро разбежались кто куда. Несколько «альтернативщиков» задымили у подъезда нашего маленького корпуса. Чтобы не поощрять варварский обычай, я пошел со своей сигаретой в сторону главной площади кампуса. Там, рядом с бронзовой копией чудаковатого просветителя доктора Пинкертонa, ритмически шевелилась довольно большая толпа. На помосте под ярким ноябрьским солнцем с его пролетающими, как птицы, листьями стояли трубачи, саксофонисты и контрабасисты, все в нахлобученных старомодных федорах. Донеслась мгновенно опьяняющая тема 40-х годов *Now's the Time*¹ с ее чередой синкоп. Потом пошла другая, *I got a gal in Calamazoo*².

Вспомнились времена, когда мы хохмили напропалую: кто эта «гэл» из колымского зоо — зощенковская обезьяна, что ли?

«Свингли» появились совсем недавно в нашем передовом уз. Вдруг среди студентов, похожих скорее на толпу машинистов в их круглых бейсболках с гнутыми козырьками и в широких бесформенных штанах, стали мелькать подтянутые тонконогие типчики: штиблеты, напомаженные башки, галстуки в диагональную полоску. Кто они, откуда, уж не шуточки ли Прозрачного, уж не призраки ли юности 1956 года на Петроградской стороне? Любопытно, что нынешних «свингов» с теми стилистами роднило не только шмотье и прически, но и походка типа «а-вот-и-я-народы!», но и выражение лиц, нарциссический вызов обществу.

Как-то раз я увидел объявление: «Класс свинга приглашает всех желающих потанцевать. Многоцелевой зал Студенческого союза. Начало в 11 вечера». Мы приехали

¹ Настало время (англ.).

² У меня была девчонка в Каламазо (англ.).

с сестрами О, с адмиралом и с неожиданным гостем, скульптором Межумышлиным. Этот последний, похоже, был убежден, что присутствие в нашем саду его работы «Пушкин в возрасте Державина» дает ему право на неожиданный визит в любое время и на любой срок. Может, он и прав: признаться, я уже не представляю себе своего сада без этой согбенной фигуры с висящей мотней.

Поскольку уж прижился, следует добавить еще несколько слов о переменах в его жизни. Межумышлин завязал со скульптурой и постригся в православные монахи. «Любое творчество греховно, — вещает он сейчас, — скульптура особенно. Недаром погиб Рим, недаром катится в пропасть Европа!» В этом смысле. Артистические патлы и борода пригодились ему и в монашестве. Ходит он главным образом в подряснике, но, если переодевается в свитер и джинсы, снова становится неотличим от сотен других скульпторов. Сейчас он был как раз таким — крупный, неряшливый неформал из провинции. Войдя в «многоцелевой зал», он сразу стал пришлепывать разболтанным «адидасом» правой ноги и щелкать кастаньетой левой руки.

В огромном помещении танцевали несколько сот свингеров. Непринужденно, словно на дворе ранняя «оттепель», с эстрады неся ритм «Бала дровосеков». Большинство танцоров, как молодых, так и старых, были в соответствующем прикиде: мальчики так, как описано выше, девочки в широких юбках и неизменных белых носочках: *white socks girls*. Конечно, это был своего рода ностальгический маскарад, но, с другой стороны, не было ничего более естественного, чем этот возврат героической моды. Среди всеобщей деконструкции конца века, словно из старомодного кинематогра-

фического «наплыва», проступило то, что называлось «свинг», или, в нашем советском варианте, «стиль».

Заиграли Zoot Suit Riot. Толпа с энтузиазмом взвинтила градус накала. В отличие от монотонной трясушки современной дискотеки, в свинге и во всех вариантах — джиттербаге, бути-вути, рок-н-ролле — надо знать хореографию, совершать множество па, подбрасывать партнерш и даже переворачивать их вокруг руки попкой вверх.

Не прошло и несколько минут, как вся наша компания была втянута в ритм. Адмирал Лихи, как несомненный участник ранних демонстраций военно-морского империализма, танцевал с каменным лицом, лишь слегка освещенным косой улыбкой, как бы обращенной к девушкам Японии. Галка бултыхалась во все стороны, а также вверх и вниз. При бурных взлетах открывались ее трусы, которые, к удивлению всех наших, оказывались теми же шортами, в коих она совершала утренние упражнения. Что касается монаха, то его уже обработала здоровенная игровица в лакросс, которая в прошлом году посещала мой класс по литературным утопиям. Она была явно увлечена своим партнером из разряда *something different*¹.

На Вавку нашу стремительно вышел некто стройный в черной паре с развевающимися фалдами. Ба, некто иной, как неизвестно откуда взявшийся барон Мамм! Любопытно, откуда эти молокососы знают танцы нашей поры? Так или иначе, получалось здорово, особенно если смотреть со спины. При поворотах болван Мамм бросал на меня взгляды, полные строгого торжества.

¹ Какой-то другой (*англ.*).

Ну и наконец, еще одна пара — мы с Миркой. «Я это видела только в кино!» — смеялась моя бывшая, или снова будущая, невестка. А я вспоминал весну 56-го и «школу» на площади Льва Толстого, арендованную под полуподвальные танцы. Никто тогда толком не знал, как «бачать стилем», но вдруг появились два парня из Штатов, сыновья дипломатов; они знали. Эти «штатники» плясали в центре зала, а толпа вокруг копировала их движения. «Шухер!» — крикнул кто-то от дверей. Это означало, что появилась комсомольская дружина. Оркестр Кондата немедленно перешел на «Молдавеняску». Дружина удалилась, и снова пошел «стиль».

Прошло всего лишь сорок с чем-то лет, и я, сутулый, костлявый, с пегими усами, бывший русский писатель, а ныне профессор конфликтологии на грани отставки, заново повторил тот урок. Многое получалось, я даже раскручивал Мирку из-за спины, я был полностью захвачен свингом и только слегка прихрамывал из-за артрита.

Сигарета докурена, перерыв кончился, пора возвращаться в класс. Итак, продолжим разговор о духовном развитии. Вернемся сначала к жестокости. Недавно один журнал в Москве задался вопросом: не завянет ли человечество от скуки, если покончит с насилием? Интересно, что насилие, а стало быть, и жестокость впрямую соединяются с подъемом и вдохновением. Проявление насилия, сопротивление насилию и ответное насилие — вот что крутит порочный круг человечества. Толстой, быть может самый серьезный конфликтолог тысячелетия, пытался прорвать этот круг, призывая к несопротивлению злу насилием. Эта утопическая идея с его времени ни на йоту не стала менее утопической, и все-таки на

протяжении двух последних столетий что-то сдвинулось, иначе не появился бы и Толстой.

Господа студенты, конечно, понимают, что в основе человеческой жестокости лежит жажда мяса. Древний охотник поражал оленя, одолевал его, добывал, сдирал с него шкуру, резал и жрал. Акт резни медлительно развивался в институтах власти, получая ритуальное значение, знаменуя мощь и власть, а также — парадоксально — смирение, когда приносили жертвы богам. Во время войн человек сближался с другим человеком вплотную, потому что так легче было убить. Прочтите Иосифа Флавия, и вы увидите всечеловеческий пир расчленения и садизма.

При всем парадоксе нашей дискуссии я склонен согласиться с Филиппом Ноузом: огнестрельное оружие уменьшило садизм. Кстати, где Фил? Он исчез во время перекура. Срочно вызвало командование? Наверное, узнали о его взглядах на огнестрельное оружие. Класс хохотнул.

Чем более дальнобойной становилась артиллерия, тем меньше ярости вкладывал в свое дело артиллерист. Любопытный пример в этом смысле представляет сцена обороны Шевардинского редута у того же Толстого. Летящие в них ядра и гранаты солдаты воспринимают отвлеченно, без злобы: оно летит (о ядре), она пришла (о гранате). С той же отвлеченностью, совсем без злобы, словно не в живых людей, они отправляют свои ответы: пошла, матушка (о гранате), лети, соколик (о ядре). Только когда пехота врывается на редут со своими штыками и палашами, начинается остервенелая резня.

Во время Второй мировой войны молодые американцы в «летающих крепостях», покрывая Германию

сплошной бомбежкой, насвистывали песенки Пэгги Ли. Что творилось внизу, их не особенно интересовало, а там творилось то, что описано у Воннегута в *Slaughter House № 5*¹.

Даже насквозь идеологизированные нацистские подводники, выпуская свои торпеды, испытывали скорее спортивный азарт, чем садистскую радость.

Технология все больше вытесняет личные чувства из сферы большой войны. Входят в строй «умные бомбы» и точечные прицелы. С неизбежной долей лицемерия, но все-таки и с долей ответственности генералы говорят о «коллатеральных жертвах» среди населения, стараются отнести их к случайным ошибкам. Конечно, и в наше время полно людей, охочих до резни, — хамазовцы, скажем, в Израиле, чеченские живодееры Басаева, — но они относятся скорее к средневековью, чем к миру компьютеров.

Конечно, памятуя о совсем еще недавних временах Освенцима и ГУЛАГа, мы не можем пока ответить на вопрос, становится ли человек менее жестоким с ходом «прогресса», однако уже сейчас, как мне кажется, появляются предпосылки для того, чтобы задаться вопросом: не заложена ли в задумку человеческой расы попытка изжить первичную жестокость как знак атавизма? Мы можем даже представить, что «надчеловек» будет лишен жестокости.

Мы уже говорили, что первичная жестокость была вызвана жадной мяса. Кстати, существует не очень-то политически корректное мнение, что она особенно развита среди этнических групп, обожравшихся свежатиной. В конечном счете все это идет от первородного

¹ «Бойня № 5».

греха, от «био», то есть от вовлеченности в замкнутый круг взаимопожирания. Мы и сейчас еще возвращаемся в потрохах метаболизма, не можем освободиться от потребности умерщвлять чужую плоть, отрывать кусок от целого, размельчать его твердыми штуками, которые именно для этого (а не для улыбки) вырастают у нас во рту, проглатывать получившуюся во рту пульпу, переваривать ее в своем желудке, то есть втягивать из нее все нужное себе в кровь, а ненужное выделять наружу через задний проход.

Однако посмотрите, как далеко мы, основные массы XX века, с нашей индустрией food processing¹, ушли от первичных закланий. Накладывая на ломоть хлеба кружочки колбасы, мы меньше всего думаем, что эти кружочки принадлежали чему-то целому, хрюкающему или мычащему. Мы просто едим какую-то вкусную, приготовленную высокотехнологическим способом еду.

Генная инженерия в сочетании с вегетарианскими тенденциями уведет нас еще дальше от первичных закланий. Не исключено, что «над-человек» перестанет быть жующей тварью, а зубы у него останутся только для улыбок и будут мелькать какими-нибудь приятными огоньками. Иными словами, он станет уже не совсем «био».

Германия дала нам такое ублюдочное животное, как Адольф Гитлер, но она же родила удивительных человеческих провидцев, и среди них Артура Шопенгауэра. Этот ум или, скажем, этот дух донес до нас идею сострадания. Из всех чувств, коими наделен человек, сказал он, лишь сострадание относится к Небесному. Все остальное в тех или иных формах вырастает из

¹ Производство пищи (англ.)

био круга, из воли к жизни, а значит, в основе своей относится к хищничеству.

Сострадание может появиться у человека не только к себе подобным, но и к другим насельникам брэнного мира. У эгофутуриста Игоря Северянина есть такие строки:

В парке плакала девочка:
Посмотри-ка ты, папочка,
У малюсенькой ласточки
Переломана лапочка!
Я возьму птицу бедную
И в платочек укутаю.
И отец содрогнулся,
Потрясенный минутою,
И простил он грядущие
Все обиды и шалости
Своей маленькой девочке,
Зарыдавшей от жалости.

При всей своей манерности Северянин иногда создавал нечто пронзительное. В этих строчках и отец, и дочь охвачены небесным чувством сострадания, и ласточка как объект сострадания вовлечена в акт небесной милости, то есть, быть может, в над-человечность.

Двадцатый век принес массовые вакханалии ублюдочной плоти, кровавые заклания коммунизма и нацизма. Однако он же ввел в обиход неведомые прежде акции массового гуманизма, вдохновенные состраданием. Когда еще случалось в человеческой истории, чтобы армада снималась плыть (в данном случае лететь) за полсвета с единственной целью — спасти умирающих детей страны, чье мужичье осатанело от дурманых листьев «хат»?

В этом веке, от которого уже осталось всего ничего, на Земле появились могущественные организации, профессионально занятые состраданием. Возникла всемирная либеральная система ООН. Оборонительный блок решил предотвратить возможность геноцида в глухом углу Европы. Пусть эта операция оказалась ущербной во многих отношениях, и прежде всего в перекосе нравственного стержня, все-таки она была мотивирована не чем иным, как либеральным мировоззрением.

Означает ли это, что к концу XX века люди чуть-чуть отошли от своего «био» и приблизились к «не-био» благодаря своему единственному, по Шопенгауэру, «небесному чувству»? Пойдет ли следующий век дальше по этому пути или отбросит его как старомодный вздор?

Люди привыкли считать вздором все, что выходит за рамки прагматизма. А вдруг окажется наоборот? Ясно, что без прагматических подпорок рассыплется весь карточный домик так называемой реальности, однако без вспышек вдохновения в этом домике нельзя будет дышать.

Среди утопий XX века есть лишь одна, что не развалилась, — это утопия художественной культуры. Революцию начали французы, импрессионисты и символисты. Кондовый реализм качнулся. За привычными декорациями стала просвечивать метафизика.

Через пару десятилетий дело докатилось до России. Мережковский произнес свою знаменитую речь. Смысл ее сводился к тому, что функциональный (социальный) реализм оставляет человека перед черной бездной, потому что делает вид, что ее не существует. Реализм говорит, что в мире есть непознанное, подразумевая, что оно будет познано. Между тем любой человек в глуби-

не души догадывается, что в мире, или за миром, есть непознаваемое, и оно не становится для него светлее от того, что о нем не принято говорить.

Видеть мир в символах за-мирности — вот к чему вели символисты, и именно в эту сторону стало развиваться искусство XX века. Только в символах и виден смысл, или несмысл, невзирая на другие знаковые клички в контексте литературной конкуренции.

В то время, когда политические утопии захлебывались кровью в своей борьбе за власть, то есть за биологию, хлебниковский Зангези, этот новый Заратустра, а также малевичевский «авиатор иных сфер» всякий раз старались, как нынче говорят, «выйти в астрал».

Сюрреалисты, и вместе с ними Пикассо и Дали, поставили под сомнение реальность или, скажем так, обязательность реальных форм. Метафизика становится неременной художественной метафорой. Технология искусства позволила останавливать вечно пролетающий мимо миг. До сих пор не ясно, как возникает волшебство фотографии и кино, что позволяет запечатлеть на пленке момент со всеми его предметами, лицами и выражением лиц. Человек умирает, пропадают предметы, разваливается мизансцена, однако оказывается, что человек не совсем умирает, предметы не совсем пропадают и мизансцена остается в хранилище. Конечно, это не победа над временем, однако отчетливый знак того, что в каких-то пересечениях бытия и не-бытия существует более совершенная фильмотека.

Я долго еще говорил о единственной успешной революции XX века, об искусстве отрыва. В заключение, обращаясь в окно к пушистой, словно живая тварь, ветке с качающимися на ней, как игрушки, кардинальчиками, я произнес: «Никто не скажет, для чего суще-

ствуем род людской. Однако мы можем предположить, что смысл нашего существования состоит в достойном завершении пути. Усовершенствуясь, мы, может быть, постепенно выходим из плена и готовимся к возвращению в наш вечный дом. Конечно, вы понимаете, что это только один сценарий. По всей вероятности, есть немало и других».

В классе давно уже никого не было. Студенты только выглядят взрослыми, на самом деле мы их правильно зовем kids, детьми. Если время урока вышло, ничто не заставит их удержаться в комнате, даже странноватые идеи доктора Влоса. Хорошо, что я не успел пообещать еще один вариант человеческого развития — в частности, тот, что описан в седьмой части этой книги. Думать о таких вещах отказывается детский ум. Однажды даже ревностная католичка Мелинда Крупп прервала меня с некоторым возмущением: «Вы что хотите сказать, профессор? Конец человечества? Вы это всерьез?» Словно она не читала «От Иоанна».

После этих серьезных материй, которые обсуждались в классе конфликтологии (надеюсь, без угнетающей «звериной серьезности»), мы подошли к тому ингредиенту нашей жанровой смеси, уже однажды названной нами словом «рататуй». Слово это довольно замысловатой этимологии в далекие времена означало по-французски «плохая еда». Знать, оказывается, не особенно любила смешивать одно с другим. Времена, однако, проходят и вместе с их сменой меняются вкусы. Сейчас сей овощной меланж с его смешным окончанием, напоминающим азиатскую забаву, блюдо по ниццскому рецепту почитается всеми любителями средиземноморской кухни. Так, надеюсь, и с нашим гру-

боватым месивом, может, получится; ведь уже и сейчас оно становится пищей знатоков.

Итак, несколько американских фрагментов из поэтической главы этого романа.

ВЕСНА В КОНЦЕ ВЕКА
(Из дневника сочинителя)

I

Холодная весна. Ликующий щенок.
Щегол поет в кустах, как скрипка Страдивари.
Свистим и мы свой блюз, не раздувая щек,
Лишь для самих себя, Армстронга старoversы.

Кончается наш век. Как дальний джамбо-джет,
Он прибывает в порт, свистя четверкой сопел.
Что загрустил, народ? Иль кончилась уже
Дерзейшая из всех двухиксовых утопий?

Печаль ползет, как смог, в комфортные дома.
Осталась только дробь, потрачены все восемь.
Исчерпан Голливуд, Чайковский и Дюма.
Ну а щенки визжат от счастья первых весен.

* * *

Весна. Вирджиния. Колючками шурша,
Бесстыжий лес осин затеивает вальсы.
Поверит ли пропащая душа,
Что можно жить без музыки Вивальди?

Зеленый грузовик рассады приволок,
А ветер гнул кусты в предательстве раскосом.
Заснувший в темноте под свист небесных склок,
Поселок поутру украсился нарциссом.

Как короток твой век, нарцисс-самовлюблен!
Слетает лепесток в апофеозе бури.
Успеешь ли сказать о чувстве, воспален?
О гибели сказать уже не хватит дури.

КИНО ХХ

Стенли Кубрик усоп,
Завершилась его Одиссея.
Полетли паруса,
Призрак Трои осел одесную.

Остается лишь Рим,
Говорил в Цезеэле Феллини.
Опрокинул свой ром
И добавил: кончайте филонить!

Я хочу поглядеть,
Что скрывается под паранджою,
Где царица, где блядь,
Хохотал, уходя, Параджанов.

В детстве голод, война,
Полкило почерневшей морковки.
В чем твой подвиг, Иван,
Вопрошал свое время Тарковский.

Оборвав якоря,
Этот мир, как киношка, померкнет.
В дюнах Фаро, среди коряг
Важно бродит оставшийся Бергман.

* * *

Жимолости жокенье
Слышишь и видишь сбоку.
Запахи возрожденья
Водят твою собаку.

Этой весной несмелой
Громы идут с Балкана.
В небе, промытом с мылом,
Словно штандарт над полками,

Тянется облако НАТО.
О, генеральское сердце,
Ты ли читаешь там ноты
Бешеного концерта?

Точность бомбометанья
Зависит от близости тучи.
Косовских баб метанья
В гайдучьей хватке паучьей

Ставят вопрос философский
О сущности человека.
Так со времен Софокла
Ты морщишь усталое веко.

ПОД ОРКЕСТР

Тянутся косовары
Лентою за кордон.
Флейточка крысолова,
Адский аккордеон,

Сербской стрельбы перкаши,
НАТО гремящая медь.
Где вы, российские кущи?
Выведи, Магомед!

Март предпоследнего года.
Боже, Владыка Небес,
Дай нам плохую погоду,
Маются ВВС.

Март предпоследнего года
Век упустить не горазд.

Так развлекаются гады,
Рыская в мокрых горах.

* * *

В те дни, когда на поле Косова
Сошлись опять три мрачных царства,
Вооруженные колоссы,
Титаны мощи и коварства,

Он все трусил вокруг и около
Цветущих вишен, гиацинтов,
И отдаленной битвы рокоты
Терялись в радуге и стыни.

СТАТИСТИКА БОЕВ

На фоне зарева Белграда
Сообщить командованью рад,
Что тени длинные Эль-Греко
Проходят ночью сквозь Белград.

Дома горят, убитых мало.
Число избранных судьбы
Сошло до минимума в залу,
Где жаут подсчета, как столбы.

По Косово гайдук гуляет.
Ничто не сдержит гайдука,
Лишь пляшут цели над углями
В прицеле верного АК.

Дома горят, убитых много,
Но максимум еще далек.
Дружины Гога и Магога
Раздуют славный уголек!

Албанка, жертва геноцида,
Прольет невинную слезу,
Но кто, чернее антрацита,
Творит позорную стезю?

Гайдук, нажратый водки с салом,
АВАКС с командой «Гоу-ахэд»
Или укрытый под вокзалом
Голубоглазый муджахед?

ИЗ-ЗА ТУЧ

Он подлетает, Чарли Браво!
Над ним, как мать, летит АВАКС.
Сквозь тучи виден берег рваный
И деревень дремучий воск.

Вот он взмывает по спирали,
Уходит свечкою в зенит.
Искус воздушного пирата,
Как саранча, вокруг звенит.

Он целит в красных злые танки,
В посланников белградских бонз,
Но попадает не в подонков —
В албанцев, страждущих обоз.

III ПЕРВОМАЙ-99

По Горькой улице — что слаще? —
Нести вождя зловещий облик,
Как в дни, когда народ палачил,
А вместо денег брали воблой.

Трубит трубач в свою полуду
Мотив космического марша.

Сын стукача, привыкший к блуду,
Нацизм внедряет в букву Маркса.

Вернулись старые повадки.
«Всех богачей низринем ниц мы!»
Как алкоголик жаждет водки,
Россия тянется к коммунизму.

НАЦБОЛ

В предместье тихого Денвера,
Забыв про прежний вшивый шик,
Живет на пенсии велфера
Национальный большевик.

Утратив киевскую мову
И не запомнив сотни слов
Английского, он внемлет зовам
Лесных пичуг и воплям сов.

Но по ночам в кустах иврита
Грозят Астарта и Ваал,
В словесный бой сквозь желчь иприта
России катит мутный вал.

НОСТАЛЬГИЯ

Как Ниццы гость, как Сочи житель,
Вблизи пенящихся борозд
Проходит старый сочинитель
В кожанке «классик-бомбовоз».

Вдыхает старый сочинитель,
Он вспоминает свой дебют,
Варшаву, огоньки, Сочельник,
Журнальной критики дебош.

Над атлантическим курортом
Летит патрульный пеликан.
Солдат болотистые роты
Идут под гулкий геликон.

Недаром отвечает болью
Воспоминаний балаган:
Ушедших лиц, пожалуй, больше,
Чем этот бравый батальон.

* * *

Лес молодой листвы,
Пристанищ голубиных,
Прародина лисы,
Продольные глубины.

Нырнуть в себя зовет,
Клубясь, зеленый хлопок.
Приветствуя совят,
Там пролетает хупу.

Несется бурундук,
Философ-буратино,
Столетье — ерунда!
В мгновенье все причины.

Могучий тихий стон
Над лесом возникает.
Проходит авион
На Даллас из Китая.

СЮЖЕТ

Студентка стройная, с ослиным личиком —
Воспоминания на диво живы —
С двумя упругими под майкой мячиками
Звалась на кампусе Лоло Бриджидой.

Походка лодочкой, а жест кошаческий,
А кудри черные, как волны ваксы.
Пока вы в сессиях своих ищачите,
Она скрывается в ночи Фэрфакса.

Ему за сорок, профессор лирики,
Атлет и сноб, женатый трижды.
Устав от чтения Рембо и Рильке,
Все чаще думает о снах Бриджиды.

Супруга мрачная, как Салтычиха,
Подозревает плейбоя в страсти
И обвиняет всю школу чохом
Как ненавистный источник стресса.

Лоло хохочет. Хохочет нервно.
И обращается к Казимиру:
Забудь про глупую супруге верность
Во имя прихоти, во имя моря!

Не в силах вынести таких уколов,
Он на квадратике парусины
Рисует пламенный треугольник
И исчезает в своей России.

ВО РЖИ

Хвалу заморской медицине
Поют усталые уста.
Она вам даст гормон бесценный,
Ввинтит титановый сустав.

Успехи нашей медицины —
Цивилизации ядро.
Оливковые херувимы
Над брэнной мистикой мудрят.

Быть может, путь от праха к духу
Осуществляет весь наш род,

Сквозь биогниль туда, где сухо,
И где цветет души наряд.

Ну а пока гудим, в чем дали,
Неимоверная братва,
В своих телесных причиндалах
Во ржи, поблизости, у рва.

РЭРО

Вот бродячие грузины
Из ансамбля «Рэро».
Родина им пригрозила
Пытками, расстрелом.

Что за пытки? Рог бараний
С золотой виною.
Виноградник Гурджаани
Полнится виною.

Что за казни, Мнемозина?
Блюдо с потрохами.
Для расстрела две корзины
С грецкими орехами.

Быть может, читатель заметил, что «Американская кириллица» не оспаривает американофобию, завладевшую сейчас многими умами как среди пишущих людей, так и среди читающей публики. Мир, похоже, изрядно устал от непреклонно доминирующей империи с ее массовой культурой. В стихийном противостоянии люди не всегда понимают, что эта непреклонность является выражением общечеловеческой энергии самосохранения и что кроме массовой культуры, слившейся с бизнесом, есть культура не-массовая, продолжающая выдвигать на сцену одиночек.

Возражать упертым американофобам нет смысла, во-первых, потому что их не переубедишь, а во-вторых, потому что мы не считаем себя упертыми американофилами.

Мы, скорее, склонны почитать американских одинок, которые мешают — и, надеюсь, всегда будут мешать — сползанию великого общества в цементную лужу энтропии.

Помимо этих соображений, есть еще одно, которое мы уже мимоходом упоминали. Книга сия затеяна не для полемики, а для выявления художественной сути американского сеттинга, как природного, контурного, объемного, обонятельного, ночного, астрономического и дневного, пейзажного, так и человеческого, эпифанического, метафорического и остраниженного.

Будучи писателем карнавального направления (журнал «New Republic» однажды даже разразился большой программной статьей «Stop the Carnival», в которой, опираясь на разбор «Нового сладостного стиля», обвинял меня в зловредных попытках карнавализировать литературу, посягнуть на серьезность кондового капиталистического реализма), возвращаемся к началу фразы; итак, будучи писателем карнавального направления, я пытался создать с помощью супрематических начертаний нашей кириллицы, и не без помощи изобразительной «американцы», некий калейдоскоп, меняющий свою конфигурацию от малейшего толчка.

Хоть мне и есть за что укорять Америку, мне есть и за что предложить ей совместную понюшку табаку. Так или иначе, она вошла густым коловоротом своих ярких пахучих красок в мои большие романы 80-х и 90-х годов. Все-таки именно в этих пространствах воз-

никали армады вольнолюбивой империи, в составе которых сражался адмирал Кемп Толли.

Пусть эта империя намозолила глаза людям XXI века, но все-таки именно на ее пустотных высотах с легким подсвистыванием возникали мифы нашей юности; именно там прокатил «Дилижанс» Джона Уэйна, увозящего раскаявшуюся блудницу к какой-то неведомой свободе.

Теперь, отдавая дань памяти, я включаю в «АК» несколько портретов американских, или почти американских, «одиночек».

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

В тишине Лэдью-Хилл, на исходе романа, мне попала как-то на глаза старая телефонная книга. Это была одна из самых моих первых американских покупок. Неплохое изобретение, между прочим. В непочтотом виде она состояла из двух частей: в большей части были пустые линованные страницы с указателями name; telephone; address; меньшая состояла из плотных желтых листов с алфавитными корешками. По внутреннему краю каждой страницы и каждого листа шли шестнадцать круглых дырочек, куда входили открывающиеся и закрывающиеся механические запоры. Эти запоры открывались и закрывались одним движением. Под любым алфавитным корешком можно было расположить сколько угодно страниц. С годами неиспользованные линованные страницы оказались в меньшинстве, а большинство перекочевало в алфавитную часть книги, покрылось номерами и адресами порядочного чис-

ла людей, как говорится, on both sides of the Atlantic¹.

С каким старанием вначале я заполнял эту книгу! Она стала для меня своего рода окном в неведомую страну, и в то же время, несмотря на, казалось, вечное изгнание, в ней содержалась какая-то гудящая под ветром форточка в прошлое, то есть на родину. Теперь она почти заброшена. То ли электронный органайзер ее заменил, то ли сократился круг общения, так или иначе, «морально устарела». Ведь в те времена, когда она была приобретена, в конце семидесятых, народ еще не чувствовал приближения конца века, не говоря уж о тысячелетии. 2001 год был датой из научной фантастики, зоной молчания и психоделии, в которой проплывают «космические одиссеи», уходящие даже и за пределы космоса. Вообще за пределы.

В общем, книжка сия лежит на задворках стола, а век, почитай, уже кончился. В последние годы я ее открываю только лишь для того, чтобы вспомнить, как пишется имя какого-нибудь знакомого, с которым не встречался лет десять. Вот и сейчас ищу имя одного режиссера — с ним мы что-то когда-то задумывали, а потом разошлись, — вижу, что книжка уже перекочевала со стола на подоконник, поближе к лесу, стало быть, может быть, для того, чтобы в конечном счете исчезнуть в ветвях, открываю наугад, потому что не помню, с какой буквы тот малый начинался — с К, с С или, может быть, с Q?

Книжка до сих пор еще в неплохой форме, даже неиспользованные страницы остались и не очень выцветли. Забыв про режиссера, я начинаю ее листать, и в памяти возникает вся та толпа, которая в недалеком еще

¹ По обе стороны Атлантики (англ.).

прошлом устраивала перезвон и суматоху. То и дело на-
талкиваюсь на имена тех, кто в прямом переводе с ан-
глийского «присоединился к большинству», то есть усоп.

ЧАРЛИ

Вот, например, Чарли Дакора, мой хороший друг и дальний родственник моей первой американской жены, он ушел еще во второй половине восьмидесятых. Высокий стриженный «крюкат»¹, северянин казался мне воплощением заокеанского стиля, разумеется, в нашей московской интерпретации. За плечами у него была школа военных переводчиков в Монтерее, а потом три года службы в Турции на базе ВВС, где он прослушивал разговоры советских истребителей. Именно там он научился русскому мату, хотя до конца так и не понял разницы между его похабной сутью и легким юмором. Уже став почтенным военным историком и кремленологом, он иногда своими руладами вызывал оторопь в обществе русских эмигрантов.

Мы с ним подолгу играли в баскетбол на его ферме в Индиане, то один на один, то двое на двое с черными соседскими мальчишками. Он как будто понимал, что я нахожусь под сильным стрессом в этом новом, равнодушном к моим художествам, мире, и давал мне как следует выложиться в баскетболе. Он вообще здорово мне помог, этот, казалось бы, флегматичный, с блуждающей улыбкой полуянки-полуфранцуз. С его связями в академической среде он легко добывал для меня приглашения на разные кампусы с лек-

¹ От англ. crew cut — короткая стрижка.

циями о советской цензуре. Сам он к тому времени считался колоссальным специалистом по военной истории СССР. Можно было приехать к нему и спросить, что он знает о Фрунзе. Фрунзе?! Тут вся его флегма испарялась, и он мог часами говорить о военной реформе двадцатых годов.

Потом он вдруг, как это бывает, ни с того ни с сего заболел здоровенной опухолью в животе, от которой пошли расплзаться убийственные ручейки по всему телу. Боролся он, как и подобает бывшему спецназу, да к тому же еще и гугеноту по рождению, не теряя устойчивости и достоинства. Проходил через сложные операции, курсы радио- и химиотерапии и даже через экспериментальный курс генной стимуляции в Национальном институте здравоохранения. У него была маленькая дочка Сузи, и он хотел подольше протянуть, чтобы она запомнила отца. В перерывах между курсами он даже играл в баскетбол, правда, больше не приглашал соседских мальчишек.

Мы с Кимберли ездили по Европе в то лето, когда Чарли умер. Вернувшись в Индиану, мы вместо него нашли красивый гранитный куб общим объемом чуть побольше баскетбольного мяча. Тщательно продуманный ландшафт кладбища, казалось, предлагал смешивать скорбь с покоем и употреблять по предписанию врача. «Ты помнишь дэдди?» — спросила Ким свою племянницу. С удивительной строгостью крошечная Сузи подняла пальчик в серые небеса и произнесла: «Мой дэдди там!» Трудно сказать, добился ли Чарли своей цели, запомнила ли дочка его рыжий ежик.

БЕННИ

На той же странице я нашел телефон Бенни Дарданелла, президента кинопроизводства «Триграм лтд» из Лос-Анджелеса. Интересно, что в те времена, когда мы с ним общались, то есть лет двенадцать-тринадцать назад, электронной почты не было и в помине. Даже и компьютеров я что-то не припомню в его шикарном офисе на Сансет-бульваре. Бенни тогда, должно быть, было под восемьдесят, но он хотел выглядеть лет на десять моложе и красил свои волосы в густо-коричневый цвет, под стать обильной пигментации в прорехах растительности. Он носил выцветшие джинсы (в СССР такие называли отвратительным словом «варёнки») и ковбойские сапожки на высоких каблуках. Шикарный голливудский псевдоним он придумал лет за сорок до нашей встречи, когда вернулся с войны. А по паспорту он был Венедиктом Книповичем и происходил из города Луцка на Украине.

Когда мы с одним начинающим режиссером пробились к нему и предложили проект фантастического фильма об Одессе, мы были уверены, что он нас и слушать не станет. Неожиданно Бенни проявил жгучий интерес к этой идее и чувствительную симпатию к моей особе. Мне было уже за пятьдесят, но ему я почему-то представлялся едва ли не юношей, пришедшим по его стопам искать fame and fortune¹ в Голливуде. Это был первый в моей жизни настоящий магнат-миллионер, и я смотрел на него, признаться, с сугубо этнографическим интересом, а он тем временем раскручивал пружину своих колоссальных связей в киномире. Вскоре

¹ Слава и богатство (англ).

самое главное в этом деле, «распределение финансового риска», было достигнуто, и Бенни сам пожелал стать продюсером. Существовало одно, но серьезное препятствие. После войны на Тихом океане Бенни зарекся когда-нибудь еще подняться в воздух на самолете, а как еще мог он добраться до тех неправдоподобных «старых стран», где должны были проходить основные съемки.

«Бенни, я разработал для тебя шикарный маршрут, — сказал я ему однажды. — С Беверли-Хиллз ты отправляешься на своем лимузине в Сиэтл и там садишься в пассажирский поезд. Вообрази, такой существует, прямо как в ностальгическом муви, — двухэтажный классный поезд! Через три дня ты уже в Большом Яблоке, как раз к посадке на лайнер Queen Elizabeth Two. Там на верхнем деке тебя ждет апартамент ничуть не хуже твоего, согласись, уже немного закаканного дворца на Беверли-Хиллз. (Бенни любил, когда нищий народ говорил с ним в такой беспардонной манере; он воспринимал это как проявление своего могущества.) Итак, мы отплываем и плывем через Большую Выпивку пять дней и пять ночей. Скучать не придется: на судне есть биг-бэнд, и под его игру ребята твоего возраста практикуют свинг, как с блядами в оккупированной Июкогаме. В Лондоне — снова поезд, да какой! Да-да, вот именно, тот самый — воспетый лучшими перьями XX века, “Восточный экспресс”! Ты занимаешь и там совсем недурной апартамент из красного дерева с элементами бронзы. Кухня этого поезда бьет все “Максимы” и “Фукьезы”, их протертые морковные супы выше всех похвал. Дамы скользят по проходам вагонов, словно ночные музы Джеймса Бонда. Временами он и сам появляется в поезде под загадочным именем Настоящий Бенни Менделл и под му-

зыку Алессандро Марчелло. За окнами проплывают “старые страны”. Через четыре дня мы прибываем в Стамбул. Нет-нет, Бенни, он стоит не на Дарданеллах, а на Босфоре. Пролив, который ты обессмертил, взяв его имя, находится немного ниже по глобусу. Так или иначе, от Стамбула до Одессы рукой подать. Можно на пароходе, можно на поезде, можно и на автобусе с пересадками в Трнкове, Оскмалнезне и Крткнучане, а можно и на твоём любимом “растянутом лимо”, который прилетит туда в брюхе грузового авиона. Итак, не пройдет и двух недель, как ты, “пространством и временем полный”, прибудешь в Одессу-маму, куда еще твой папа возил свой шорный товар».

Из этого обращения к могущественному брокеру фильмов видно, что мы с ним за довольно короткое время наладили дружеские, и даже слегка амикошонские с моей стороны, отношения. Бенни Дарданеллу они явно нравились. Слушая трепотню легкомысленного писателишки, он хихикал, всовывал в зубы контрабандную кубинскую сигару, зажигал спичку и как бы по рассеянности ее гасил, то есть, с одной стороны, почти курил, а с другой — не нарушал запрета врачей. «Ты, Стас, вообще-то слишком веселый для человека из России. Что они там тебя, не терзали?» Если же во время наших бесед кто-нибудь звонил по серьезному, то есть денежному, делу, надо было видеть, как он преображался: сигару в отставку, на носу появляются роговые очки, во рту похрустывает солидная дантистская работа.

Словом, все шло хоть и медленно, но неуклонно к производству, то есть к миллионным гонорарам. Я уже предвкушал, как впервые после изгнания появлюсь в СССР в толпе американских киношников, как вдруг Бенни умер. Ну что ж, ничего особенного не произошло,

просто восьмидесятичетырехлетний богач закончил свой земной путь, *died of a natural cause*, как в газетах пишут. Наш проект немедленно развалился, однако совсем не по этой причине мне долгое время не хватало старика Веньки Книповича, к которому я пришел, хорохорясь, изображая независимость, «этнографический интерес», и с которым на самом деле по-настоящему подружился.

БРИК

Переворачиваю пару страниц назад и вижу имя питерского мистика Борьки Брика. Когда-то он был любимцем подпольного народа, анархистом, бессребреником, экуменическим экзистенциалистом в протертом до дыр на локтях, но все-таки «фирменном» пиджачишке. Его коньком было сектантство, хлыстовство и скопчество, он постоянно распространял свои сочинения на эту тему, вследствие чего «за ним следила губчека».

Однажды в начале семидесятых мы с ним вместе провели довольно странную белую ночь. Несмотря на то что Борька как апологет скопчества постоянно говорил о будущем над-человеке, лишенном полового заклатья, сам он был порядочным «ходоком», и через него можно было познакомиться со значительным числом активных девушек. В тот вечер мы сидели в ресторане с двумя москвичками, переводчицами при гвинейском государственном ансамбле песни и пляски. Вместе с ними были две их подопечные танцорки, эбонитовые (не надо ухмыляться, не до этого) комсомолки из джунглей. На краю стола зиждился их попугай, огромный зеленый какаду Лаваль.

После ужина (платил, конечно, я, Борька только вывернул пустой карман) пошли всей компанией кататься на прогулочном теплоходе по Неве. Судно было забито молодежью с окраин, которая почему-то не обращала никакого внимания на нашу экзотическую группу, как будто каждый день видела на транспорте гвинейских козочек с попугаем. Мы стояли на корме. Девчонки стрекотали по-французски. Лаваль облюбовал плечо Бори Брика, сидел нахохлившись, подобием тяжелой сказочной совы, когти его крепко вцепились в ветхую ткань. Брик (он вообще-то был каким-то родственником тем Брикам, торговцам кораллами), похоже, гордился этой странной привязанностью птицы.

— Странно, никто не смотрит на попугая, — сказал я ему. — Вот новые пассажиры входят, и никто не обращает на него ни малейшего внимания.

— Они его просто не видят, — сказал Борис. — Он не дает им себя видеть.

— Может, это черт тебя оседлал? — пошутил я.

— Скорее демиург, — убежденно ответил мой приятель.

Наверное, напишет эссе об этом попугае, подумал я. Сам я в те времена мало думал о демиургах.

Прошло полгода с той ночи, и я узнал, что Брик уезжает в эмиграцию. Питерская гэбуха выдавила этого бродячего соблазнителя советских умов. Шла глубокая идеологическая зачистка чреватой большой крамольной местности.

В Нью-Йорке Брик повел себя совершенно неожиданным образом. Прекратил бродяжничать и стал зарабатывать неплохие деньги. Носил экстравагантные дорогие костюмы, цилиндр, крылатку, щеголял набором

тростей. Во всяком случае, такие слухи доходили до нас в Совдепии. Говорили также, что он стал заметной фигурой в гейских кругах, но в это как раз мало кто верил, учитывая его донжуанский список.

Когда и до меня дошла очередь на пинок в зад, я добрался до Нью-Йорка и первым делом позвонил Борьке: все-таки человек из нашей компании. Он пришел на встречу очень важный, строгий, каждым словом и каждым движением показывая, что он теперь совсем не тот полуанекдотический голодранец, но настоящий *man of letters*¹ и властитель дум.

Чуть позднее я узнал, что ББ фактически стал главой довольно могущественной литературно-академической клики. Вокруг него толклись хитрые прихлебатели и глупцы-подголоски. Одна дама украла на конференции бумагу с его рисунками (то, что называется doodling, то есть автоматическая мазня) и потом напечатала в «Village Voice» статью под названием «Метафизика рисунков Бориса Брика».

Однажды до меня дошло, что он распускает обо мне нехорошие слухи. Якобы я вовсе не авангардист Стас Ваксино, а самый настоящий советский «почвенник», квасной патриот и жидомор Влас Ваксаков, а псевдоним себе придумал, чтобы втереться в среду нью-йоркских «литерати». Признаться, это меня потрясло: что же он, старый приятель, собутыльник и согрешник, неужели забыл про весь наш карнавал, про мистическую белую ночь с попугаем? Впрочем, разве обязательно надо забыть о попугае, чтобы солгать?

От меня стали отворачиваться. Ухмылялись. В одном издательстве вернули уже одобренную к печати

¹ Человек литературы (англ.)

рукопись. Попытка объяснения едва не закончилась дракой, когда он стал высокомерно объяснять мне, что эмиграция меняет шкалу ценностей. Она вводит определенную квоту. Если какой-нибудь новоприбывший займет какую-нибудь нишу, то за бортом может оказаться другой человек, часто более достойный. Вот поэтому он должен давать истинные оценки.

Именно тогда я и решил переехать в Индиану. И кажется, правильно сделал. В Нью-Йорке мне бы пришлось постоянно биться лбом в бриковскую «квоту». Время от времени я читал статьи этого, как моя тогдашняя жена говорила, «шолоуэка», иногда блестящие, иногда занудно топчущиеся на странно знакомых тезисах вроде «книга — источник знаний» или «в человеке все должно быть прекрасно», но всякий раз рассчитанные на «всплеск», в прямом переводе с английского. С годами, впрочем, я стал все меньше за ним следить; обида рассеялась.

Вдруг я заметил его отсутствие. Что-то он перестал возникать на литературных и академических горизонтах. Я позвонил в один журнал, и там мне сказали, что Брик заболел какой-то редкой болезнью, купил лесную ферму в глухом штате и там сидит в полном одиночестве. Когда он умер, вернее, когда весть о его смерти дошла до нас, я испытал испепеляющее опустошение. Неделю слонялся пешком по автомобильному графству, не зная, что делать. Не мог ни писать, ни читать. О нем почти не думал и не вспоминал, только лишь бессмысленно временами мычал от безвозвратной пропажи.

Вдруг ярко вспыхнуло нечто, что могло бы и не вспыхивать. В конце шестидесятых ночью мы купались с ним в каком-то котловане на окраине Москвы. Мы оба были вдребезги пьяны и, купаясь, толковали Ниц-

ше. Он выпрыгивал по пояс из лужи, тощий, покрытый жесткой семитской волосней, и кричал: «Каждый день я, как и он, жажду терять мои верования! Нет больше счастья, чем освобождение ума! И вообще!» — добавляя он с истошным тарзаньим клекотом.

Тут и я взмывал из мазутных пятен со своей тогдашней бородою, которую потом сменили нищиеанские усы. «Уйдем за пределы добра и зла! Возобновляться и разрушаться, чтобы возобновляться и разрушаться! И вообще!»

«Вообще! Вообще!» Это слово нас почему-то безумно смешило. «Вотще! Вопче! Вопчиоччио!» И вдруг обнаружили, что некому нами больше восхищаться. Вся компания уехала на трех машинах, а с ними уехала и вся наша одежда. Осталось только забытое среди ржавой арматуры одеяло. Протрезвев, мы вдвоем закутались в это одеяло и пошли по пустому шоссе на Восток, в края Заратустры. По дороге нас арестовала милиция. Вот и все, все погасло.

ОБНИЧАЛЛИ

А вот еще один из тех, кому нельзя уже позвонить по телефону, — кумир американских пятидесятых, шестидесятых и семидесятых, король контр-культуры, рок-певец, джазист и бард, курильщик разных трав и демонический гомосексуалист Питер Обничалли. Как-то раз в московской компании он признался в своем русско-еврейском происхождении, однако так и не смог выговорить фамилию деда, который в 1900 году в городке с невыговариваемым названием собрал все свое семейство, включая десятилетнего папу Питера, и отправился

за океан. Кто-то в компании тогда предположил, что фамилия Обничалли в России произносилась как Обнищальный. А значит, перед нами сейчас сидит бородатый и с большой накладной косой, в перуанском пончо и с маленькими тибетскими литаврами в руках Петя Обнищальный из Шепетовки. Тут разразился такой хохот, что кумир молодежи стран НАТО растерялся и его физиономия стала напоминать выглядывающую из гнезда ласку: в чем дело? в чем дело? Кажется, это была правильная догадка, во всяком случае, Питер подтвердил, что прежнее имя, которое он так и не мог выговорить, имело какое-то отношение к poverty¹.

Каким образом он тогда оказался в Москве, да еще прямо с Гималаев, трудно сказать. Возможно, его начали кадрить советские профессионалы по борьбе за мир. Так или иначе, Обничалли долго таскался по московским богемным чердакам и подвалам. Он обычно усаживался где-нибудь в углу, не обязательно на возвышении, бил в свои литавры и демонстрировал свой знаменитый «вой», снискавший ему столько поклонников среди юношей по всему миру.

Москвичам, отрезанным от мировых течений, он понравился. Хохмач, клоун, талант, видно сразу. Многие интересовались его гомосексуализмом. Ты, Питер, только в башке гомик или там внизу тоже? И в башке, говорил он и тут же показывал свой длинный играющий язык, и внизу тоже; подтягивал руку собеседника к своей промежности, чтобы тот убедился. Все-таки он был разочарован Третьим Римом. Юноши тут как-то мало отвечали ему взаимностью, что он объяснял тоталитаризмом.

¹ Нишета (англ.).

Из Москвы он отправился в «страны народной демократии», как тогда называли Восточную Европу. В Кракове и Праге бунтующие толпы студентов носили его на плечах по ночным улицам. Многие из переносчиков натывались рукой или щекой на его возбужденные успехом гениталии и благоговейно поднимали глаза горе: веди нас вперед, о Великий Обничалли!

Кончилось это нехорошо. На грандиозной маевке 1968 года студенты избрали его своим вечным президентом. Он приплясывал на специально для него сооруженном помосте в своем лапсердаке на мохнатом голом теле и призывал к высвобождению всего запрятанного, всего запуганного. Под утро спецотряд гэбэ совершил налет на общежитие биофака, где во всех спальнях шло высвобождение всего запрятанного и запуганного. Питер был взят в постели, где он спал с двумя первокурсниками. Не дав даже отыскать семейные трусы, его отвезли в мрачную твердыню власти.

Много лет спустя во Флориде он мне рассказывал, что в узилище стражники применяли к нему физические меры, но почему-то не выебли. Утром его башкой вперед сунули в поезд «Митропа» курсом на Аахен. Швырнули ему вслед литавры, подарок свами Навахаалдариарданажалани, которыми дорожил больше жизни. Все ноты и любовные заметки были задержаны и отправлены в Москву на экспертизу.

Интересно, что за этим насилием над американским гражданином даже не последовало ноты государственного департамента. Видимо, не хотели себя компрометировать уважаемые сотрудники этого огромного учреждения, где одно время даже внедрялись специальные самокаты для передвижения по бесконечным (кафкианским, сказал бы любой неформал) коридорам.

Кстати, о Флориде. Году то ли в восемьдесят пятом, то ли восемьдесят седьмом — это зависит от дат существования сандинистского режима в Никарагуа — я прилетел в Майами на международную книжную ярмарку. Вдруг в толпе слышу пейджи́нг по мою душу: «Мистер Стэс Уакси, вас ждут в шестнадцатом дискурсе возле киоска сувениров!» Оказалось, встречает тот, кого меньше всего ожидал, — Пит Обничалли. Мы обнялись. Борода у него к этому времени серьезно поседела и стала пахнуть луком. «Послушай, ты чего это отказался подписать наш протест против американского давления на Никарагуа?» — спросил он. «Да ведь гады же», — ответил я. «Кто гады?» — возопил он. «Да эти братья Ортега, этот Ленин Черна, вся эта бражка кастрицкая». Я старался говорить потише, потому что толпа его узнавала — Питер Обничалли! «Да как ты смеешь?!» — взревел он и вдруг упал в обморок. Народ сгрудился вокруг то ли в ужасе, то ли в ужасающем любопытстве: присутствовать при агонии культовой фигуры — такое не каждому выпадает из мельтешни событий! К счастью, обморок был недолог, старый битник встал отряхиваясь. Мы сели в углу за какую-то колонну. Публика разочарованно, но почтительно отдалась. «Ты пойми, Стас, — прошептал он, — ведь Ортега для меня как родная мать!» — «Отец, ты хочешь сказать?» — поправил я. «Да какая разница?» — прошелестел он и посмотрел на меня. Тут мы оба рассмеялись и отправились в бар, где просидели еще часа два, рассказывая друг другу всякие безобразные истории.

Потом он все-таки вытащил из-под своего пончо зажеванный листок с протестом: «Ну давай, Стас, подпиши! Ну что тебе стоит? Видишь, сколько приличного народу подписалось. Ну, сделай это для меня, для

Пети Обнищало!» На этот раз он вполне внятно выговорил свое родовое имя.

Я прогладил бумажку тяжелой кружкой пива. Там и впрямь было немало славных имен. Одна знаменитость после своей подписи приписала: «С оговоркой против тренировки террористов». Я попросил у официантки карандаш и вписал во фразу «заявляем протест против американского вмешательства в дела Никарагуа» всего один предлог и одно прилагательное. Получилось: «против американского и советского». После этого подписал. Чего не сделаешь для старого приятеля. Питер просиял: «Ну, видишь, совсем не больно, правда?»

И правда, было не больно. Больно было через несколько лет узнать о его смерти от СПИДа. Да и сейчас больно смотреть на зияющую запись в телефонной книжке.

Зачем мне попала на глаза эта старая телефонная книжка? Только лишь для того, чтобы начать мартиролог? Зачеркни телефоны Чарли Даркорда, Бенни Дарданелла, Борьки Брика, Карло Кавальканти, Гельмута Берга, Питера Обничалли, Володи Долгова, Шарлемана Залесского, Машеньки Балашевич... А лучше заклей эти дыры стикерами, все равно туда не пройдешь, пока твой час не настанет. Остается только щемящая жалость или щемящая нежность к этим людям из твоей жизни, промелькнувшим, как туманные образы на задворках романа. Быть может, когда-нибудь еще и встретимся в этих «черных дырах», ведь есть же гипотеза, что время там идет вспять. Быть может, при повторе ты сможешь внимательнее присмотреться к каждому дню, к каждому лицу, к каждой любви, к каждому негодованию?

Наивный человек, ты не понимаешь, что вместе с временем ты и сам полетишь вспять без всякого торможения? Поверхность вселенского стекла отличается идеальной сухостью, там не задержится ни одна песчинка.

Так или иначе, закрой телефонную книжку и засунь ее подальше. Ничего не зачеркивай и не заклеивай. Пусть хоть она останется, если не остаются ни дневники, ни эпистолы, одни только интернетовские *deleted messages*. Или архивы охранки, если за тобой велась слежка. Писательские мемуары — это еще большее вранье, чем роман. В романе автор хотя бы приглашает читателя врать вместе, в мемуаре под видом правды происходит насилие. Не врет, пожалуй, только фотография — этот метафорический архив нынешнего рода людского.

Итак, *fin de siècle*¹.

За плечами осталась гигантская неразбериха, а следующая уже начинает крутить без всякой остановки. Все население приглашается принять участие в вернисаже «Геном человека». К чему мы движемся: к «над-человеку» или к «сверхчеловеку», к «под-человеку» или к «пара-человеку», а может быть, все-таки к «метачеловеку», способному и уходить, и возвращаться?

ОНЕГИН

Пропал мой кот Онегин, и я не нахожу себе места. Его нет уже три дня. Раньше он не пропадал больше чем на сутки. Что с ним, где он? Дружественный

¹ Конец века (фр.).

ранее лес надвинулся враждебной ордой. Неужели мой мальчик где-нибудь там, в этой паутине колючек, лежит, не в силах добраться до папы? Изнемогает от болезни. Ему уже пятнадцать лет, то есть, если считать по обычной схеме, восемьдесят пять наших. Жестоко, что возрастные параметры наших животных не совпадают с нашими.

Он, кажется, был в порядке. Аппетит, как всегда, на высоте. Запрыгнуть с пола на стол, чтобы поинтересоваться содержимым тарелки, ему по-прежнему ничего не стоило. В больницу не просился, а ведь раньше, если у него что-нибудь болело, он очень понятно просился в больницу: сблевывал еду, ложился на бок и стонал, громким мявом возмущался, почему тянут, почему не везут к доктору Бенаресу, а едва я вытаскивал необходимую для поездки в клинику клетку, тут же в нее забирался и успокаивался.

Ничего этого не было в последнее время. Кот вел себя как будто нормально, если не считать того, что он прекратил свои одинокие прогулки. Кажется, он как раз старался все время быть у меня на глазах или, может быть, старался побольше держать меня в своих глазах. При желании можно было подумать, что он с грустью старается меня запомнить. Может быть, он чувствует, думал я, что со старым папой может случиться что-то окончательное? Я уже собирался на всякий случай позвонить Дельфину и ближайшей из сестер О, миссис Адмирал Лихи, и намекнуть, чтобы они в случае чего не забыли позаботиться о нем. Кто-то все-таки всегда находился, когда я уезжал на очередные Кукушкины острова. И в это время он пропал. Неужели он умирает в этом проклятом лесу, верный кошачьей традиции — уйти, чтобы не мучить близких своей агонией?

Я расклеил по столбам в Лэдью-Хилл объявления о его пропаже. Соседские дети организовали отряд Onegin Rescue. Они прочесывали лес, и все без толку, хотя лес, словно пристыженный в своем осеннем расцвете, сдувал листья и иглы, будто хотел помочь найти кота.

Большущий мой дом на грани романа оказался отчаянно пуст. Впору было возвращаться к временам активного алкоголизма. Сколько уже набралось потерь в этой жизни: бабушки, дедушки, родители, жена Кимберли, друзья из когорт шестидесятых, мимолетные любовницы, привносившие в жизнь такое интенсивное очарование, любимые джазисты...

Недавно на острове Родос я поймал по приемнику одну из волн моей юности — «Радио Анкара». Шел ночной концерт оркестра Джина Крупы. Чтобы послушать хороший джаз сейчас, нужно забраться в Малую Азию. Сколько свинга было в импровизациях знаменитых солистов, а ведь самих их давно уже не было в мире акустики. После каждой пьесы зал взрывался неистовым восторгом, а ведь от этой аудитории в «мире акустики» осталась лишь горсть стариков, которым не спится по ночам.

И все-таки ни одну из этих потерь я не переживал с такой почти невыносимой тоской, как потерю моего кота. Вспоминаются строки Гумилева: «...Косматая рыжая рядом несется моя собака, которая мне милее даже родного брата...» Вспоминается Бердяев, который сказал, что не представляет себе рая без своего кота Мура.

Я всегда чувствовал, что Онегин знает обо мне все. Даже то, что я впопыхах забываю. Мелочи имеют для него первостатейное значение. Иногда кажется, что он

спит, глаза у него закрыты, а уши между тем пошевеливаются. Он мониторит все течение домашней рутины и малейшие ее изменения: ведь это его большой и значительный мир.

Крошечным котенком он ночами бродил по моей кровати и по мне, бродил и жужжал, иногда удаляясь к пяткам, иногда приближаясь к самому уху. Сквозь сон мне казалось, что в доме завелся комар. Потом начался период неистовых шалостей. Он сбрасывал со стола сигареты, зажигалки, даже книги и вызывающе смотрел на меня, как бы призывая: ну поймай меня! ну накажи! подвесь, что ли! я не возражаю!

Неужели этот типчик теперь возглавит мой перечень потерь? Нет, не могу об этом думать! Буду думать о других потерях. Среди них, между прочим, Родина. То ли она меня вышибла своим сапогом, то ли я сам от нее оттолкнулся. Так или иначе, меня там теперь даже родственники не считают своим. Я сохранил свой язык, нескончаемый гул российский, но утратил родство. Немалая утрата, ей-ей, но кот мой Онегин дороже мне, чем Родина.

Чтобы забыть о нем хоть на время, влезаю в файлы романа. Кончая роман, надо его кончать, сколько можно тянуть? Все персонажи уже расползлись. Даже Вавка больше не возникает из своего новоанглийского мамчалинского далека. О Славке уж и говорить нечего. Наднациональный генсек и деловой организатор всемирной кампании по «воссозданию воздуха»; его я вижу теперь только в сводках новостей. Никогда не думал, что такая эволюция произойдет с моим юным протестантом, впоследствии полубандитом и шальным миллиардером. Таковы беззаконные законы романа: прототипы, становясь протагонистами, все-таки остаются

прототипами и гнут свое. Горелики, являя миру лик горя, продолжают гореть и карабкаться в гору.

Наташа-Какаша однажды мелькнула при довольно странных обстоятельствах. Я все еще продолжал следить за баскетбольными боями, несмотря на крутой упадок настроения. В тот вечер началась финальная серия НБА, снова сшиблись друг с другом «Колдуны» и «Слоны». За две с половиной минуты до конца основного времени, когда «Слоны» вели одно очко, «Колдуны» сделали замену и на площадку вышел — кто бы мог представить? — все тот же неловкий ипохондрик, профессор Эйб Шумейкер, недавно вышедший в отставку из ЦИРКСа при Университете Пинкертон. Он был в хорошей турнирной форме, в том смысле, что руки и ноги у него дрожали, а вместе с ними дрожали и новинки: очки в железной оправе на шнурке и кипа на макушке. Двадцатитысячный стадион взревел от восторга. *Shoom is back!*¹

Кто из любителей баскетбола мог забыть его феноменальный аттракцион в сезоне девяносто третьего года? Долго не раздумывая, он послал мяч в кольцо от центрального круга. Исход матча был решен. До финальной сирены Эйб, дрожа всеми членами, забросил «Слонам» еще три трехочковых, на которые те смогли жестокими усилиями с выворотом конечностей, растяжением связок и разможжением носов ответить только двумя очками.

Интересно отметить, что, если раньше он забрасывал мячи с довольно индифферентной физиономией, сейчас она, физиономия, всякий раз вспыхивала выражением безумного триумфа, словно прямо в глаз ему

¹ Шум вернулся! (тмл.)

подавал луч его Микроскопический, и он поворачивался к центру трибун, как будто приветствуя принцессу или даму сердца. В один такой момент какой-то находчивый оператор пропанорамировал его салют, и на экране оказалась не кто иная, как Нэтали Горелик, «Женщина Двух Столетий». С ней рядом в отдельной ложе сидела принцесса Аврун Нурварунавурансонг. Красавицы хихикали и грызли попкорн. За их спинами ждал внимания слуга с бутылкой шампанского.

Эта Какаша! То она во главе воинствующих энвайронменталистов с рюкзаком за плечами и в драных тапках идет на штурм Всемирного банка, то она проводит время с особами голубой крови, пока в ее честь забрасываются невероятные мячи. Эта женщина представляет собой магнит особой силы: к ней плывут миллиарды, ради нее университетские доходяги становятся чемпионами баскетбола, а старые сочинители никак не могут забыть ее проказ. Оператор укрупнил кадр. Наташа обратилась ко мне всем своим лицом, глазами и губами: привет, Стас! Искорка мелькнула у нее из-под правого уха.

Я хожу по пустому дому и в каждом углу натякуюсь на следы исчезнувших прототипов-протагонистов. Вот пробковая доска с прищипленными к ней «укоризнами» в духе китайских дзыбао. Эту моду здесь одно время ввела Вавка. «Классик опять ни черта не писал, поехал на своем баскетболе! Укоризна 1-й степени!», «Мирка, ты слишком умная! Я вчера не спала, все думала о твоих провокациях за ужином. Укоризна 2-й степени!», «Галка, где мои тренировочные штаны? Укоризна 3-й степени!», «Сестры, вы совсем зарпортовались, холодильник пуст! 3-я укоризна 1-й степени! Следующая — расстрел!»

Вдруг вижу — на стене висит Славкина рапира. Во время своего бегства он посещал Вирджинскую академию фехтовального искусства, где президентом и хозяином был мой студент Тед Рыжик, чемпион Белоруссии и вторая рапира Европы.

От прежних дней «российского нашествия» осталось множество фотографий и плакатов периода перестройки. «Шестую поправку — на пятую помойку!» и т.д.

И никого нет, ни души, ни единой мухи! И телефон не звонит, и не мигает автоответчик. Я перехожу на лесную сторону и смотрю в окно. Даже роббины и финчи почему-то перестали посещать мой сад. Не догадываешься почему? Ты еще ни разу не подсыпал им корму. Хотя бы «Пушкин в возрасте Державина» еще здесь? Перехожу к другому окну и вижу, что «ПввД» еще стоит в прежней позе со всеми своими причиндалами. Флигель закрыт, в саду запустение, но злополучная скульптура не убавила ни в весе, ни в скандальности. А у ног этого акта демифологизации, как ему и полагается, сидит мой кот Онегин. Боже! Он жив! Сидит как ни в чем не бывало! Сынуля мой, ты вернулся! Левый глаз кота, когда-то задетый когтем соперника, слегка косит, но правый смотрит на меня с обычным умом и юмором. Он отощал немного за время скитаний, но я его сейчас откормлю, он быстро войдет в норму! Немедленно едем вместе в деликатесную за вырезкой!

Я качусь вниз и выбегаю в сад, забыв свои артриты. Кот выгибает спину, хвост трубой. «Где ты был столько дней, прохвост!» — кричу я и подвешиваю его над собой за шиворот. Он свисает, жмурит глаза, заводит свою песню о наслаждении подвешенного кота. Потом я сажаю его себе на плечи, и он на них с ком-

фортом устраивается. Я хожу по дому веселый — может быть, все еще вернется, хотя бы на короткое время? — заглядываю в зеркала. Онегин с надменной мордой демонстрирует свое умение ездить на папе.

К вечеру я мою его в ванне, в пузырях шампуня, жую за слишком долгое шлянье, сушу феном. Кот становится пушистым, благостным, располагается с комфортом на нашей кровати. Пока я читаю *New York Review of Books*, он лежит под лампой, жмурится на меня, поет «песню очага». Потом, когда свет гаснет, он перебирается мне в ноги, вытягивается там, кладет подбородок мне на правое колено — знает, где болит. Хвост еще некоторое время колышется над ложем, словно султан конногвардейца, потом опадает. Все заснули: хвосты-усы, руки-ноги, башки-желудки.

Около шести часов утра я, как обычно, открываю глаза и вижу, что Онегин сидит на углу кровати и смотрит в щелку шторы. Интересно, что сквозь него просвечивает стоящий на полке оксфордский словарь. Тогда я понимаю, что это не кот. Это мой Прозрачный, чтобы утешить меня, принял форму и суть кота. Что его побудило к этому? Неужели такая человеческая слабость, как сочувствие? Или он просто привык ко мне, привыкшему к своему коту?

Если кому-нибудь еще не хватает символов, для финала припасена дикая индейка.

WILD TURKEY

Как эпизод картин Ван-Дейка,
Как призрак из забытых царств,

Слетает дикая индейка,
И в небе царствует МоцАрт.

Она гуляет по газону,
Что так пленительно упруг,
И принимает круассаны
Из грешных человеческих рук.

Забыв про День Благодаренья,
Когда счастливый пилигрим
Жрал индюшатину с вареньем,
Она курлычет филигрань.

Как дама важного эскорта,
Она несет букет лица.
Так иногда приносят куры
Подобья райского яйца.

Но если кто-то возалкает
Ее на блюде, сбоку ямс,
Она мгновенно улетает
В край недоступных Фудзиям.

Содержание

I МОРЯК ИМПЕРИИ	5
II ОТКРЫТИЕ ТЕМЫ	27
Из практики романостроительства	32
III НОН-СТОП	53
Берклайская революция	60
Человек-оркестр	63
Лесли Врангель делает покупки	64
Санитарный город Франциско	67
Неуклюжие ритмы	72
Воспоминания о прозе	73
IV БЭБИ	83
День, когда я потерял советское гражданство	86
Сосед	91
Клочки	93
Такие кисы	95
Спазмы ностальгии	98
Из текста «Памяти Карла»	99
Фауна Ди-Си	112
Светская жизнь между О и Q	116
Хемингуэй и Фил Фофановф	121
На волне Voice of America	121
Все, как в телевизоре	122
Кафе «Ненаших звезд»	124
Развитие уже заявленной темы	127
Гнев Фернанды	141
Американский дождь	144

Цветущий склон	147
Из дневника героя будущего романа	149
V ЯЙЦО	155
Матушка Обескураж из дистрикта Колумбия	198
Желток	205
Освежающие друзья	207
Проза протеста	213
«У Свиной Ножки»	216
Those foolish things	218
Отражение и слияние	227
VI БЛЮЗ	233
Остров Бельведер	235
VII ПАРФЕНОН	249
Класс Америка	251
За год до начала войны	261
VIII БУМПЕЙЗАЖ	267
IX ИЗ НЕГАТИВА (3 рассказа)	293
Первый отрыв Палмер (отрывок)	296
Второй отрыв Палмер	302
В районе площади Дюпон	318
X ИВАН	337
XI КОРБАХИ	367
Терраса	393
В стране гуингмов	401
XII СТАРЫЙ СОЧИНТЕЛЬ И ДИКАЯ ИНДЕЙКА	411
Бэби Кассандра	415
Кстати, о человечестве	435
Кризис среднего возраста	443
Весна в конце века (Из дневника сочинителя)	511
«Холодная весна. Ликующий щенок...»	512
«Весна. Вирджиния. Колючками шурша...»	512
Кино XX	512

«Жимолости жоженье...»	512
Под оркестр	513
«В те дни, когда на поле Косова...»	514
Статистика боев	514
Из-за туч	515
III Первомай-99	515
Нацбол	516
Ностальгия	516
«Лес молодой листвы...»	517
Сюжет	517
Во ржи	518
Рэро	519
Телефонная книга	521
Чарли	523
Бенни	525
Брик	528
Обничали	532
Онегин	537
Wild Turkey	544

Василий Аксенов
АМЕРИКАНСКАЯ КИРИЛЛИЦА
Проза и стихи

Дизайнер серии Д. Черногаев
Редактор Е. Шкловский
Корректор Э. Корчагина
Верстка Л. Ланцова

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
тел. (095) 976-47-88
факс (095) 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlo.magazine.ru>

Формат 84x108 $\frac{1}{32}$. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Печ. л. 17,25.
Тираж 3000. Заказ № 0411030.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В НОВОЙ СЕРИИ «ЛИБЕРТИ» В 2004 г. ВЫШЛИ:

Михаил Эпштейн

Знак пробела: О будущем гуманитарных наук

Книга известного культуролога вводит в философскую и филологическую проблематику XXI века и очерчивает новые стратегии мышления и письма, идущие на смену постмодернизму и постструктурализму. Рассматривается новый образ человека в электронно-виртуальной вселенной, а также меняющийся контекст и смысл таких традиционных понятий гуманистики, как «слово» и «текст», «время» и «возможность», «тело» и «желание», «жуткое» и «интересное», «чистота» и «безумие»...

Исследуется природа культурных пробелов, языковых зияний, заполнение которых знаменует рождение новых художественных и теоретических практик. От эротологии до теории судьбы, от экологии текста до хоррорологии и техносфии — таков диапазон тех теорий и гипотез, которые впервые вводятся в обиход интеллектуального сообщества. Каждая глава — манифест или экспериментальный набросок новой дисциплины или концепции, радикально меняющих наши представления о перспективах гуманитарных наук.

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В НОВОЙ СЕРИИ «ЛИБЕРТИ» В 2004 г. ВЫШЛИ:

Лев Рубинштейн
Погоня за шляпой и другие тексты

Новая книга известного поэта и эссеиста Льва Рубинштейна составлена из прозаических текстов, публиковавшихся в последние годы в еженедельниках «Итогах», «Политбюро» и «Еженедельном журнале». Тональность текстов, жанр которых совмещает приметы эссе, мемуарного очерка и новеллы, легко балансирует между иронией и лиризмом, подчеркнутой субъективностью взгляда и полным доверием к своему читателю.

Издания
«Нового литературного обозрения»
(журналы и книги)

можно приобрести в следующих магазинах Москвы:

«Ад маргинем» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

тел.: 951-93-60

«Библио-глобус» — ул. Мясницкая, 6;

тел.: 924-46-80

«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21;

тел. : 332-47-28

«Гнозис» — Зубовский бульвар, 17, стр. 3, к. 6;

тел.: 247-17-57

«Графоман» — 1-й Крутицкий пер, 3;

тел.: 276-31-18

Книжная лавка писателей при Литфонде —

ул. Кузнецкий мост, 18; тел. 924-46-45

Книжная лавка при Литинституте —

Тверской бульвар, 25; тел. 202-86-08

«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8;

тел. 238-50-01

«Москва» — ул. Тверская, 8; тел. 229-64-83

Московский Дом книги — ул. Новый Арбат, 8;

тел.: 203-82-42

Книжный клуб 36,6 — Рязанский пер,3;

тел.: 261-24-90, 265-13-05

«Фаланстер» — Б. Козихинский пер., д. 10;

тел.: 504-47-95

«У кентавра» — Миусская пл., 6; тел.: 250-65-46

Интернет- магазин «Озон» — www.ozon.ru

Интернет- магазин «Болеро» — www.bolero.ru

193-50

LIBERTY

ПРЕМИЯ

IN ART WE TRUST



Василий Аксенов

Американская кириллица

Сборник «Американская кириллица» Василия Аксенова (проза и стихи) наряду с новыми текстами включает в себя фрагменты больших и малых сочинений, а также завершённые рассказы, в которых так или иначе звучит американская нота. После вынужденной эмиграции из СССР в 1980 году автор в течение 24 лет жил в США и преподавал русскую литературу и культурологию в американских университетах. В этой книге он старается показать, как американская среда (хронотоп) становится своеобразным строительным материалом при создании современных русских романов. Уклоняясь от политической полемики, он сосредоточивается на чисто художественном и метафорическом взаимодействии двух культур. Василий Павлович Аксенов — известный писатель, автор 24 романов, в том числе «Затоваренная бочкотара», «Поиски жанра», «Московская сага», «Новый сладостный стиль», «Кесарево свечение», «Вольтерьянцы и вольтерьянки», нескольких сборников рассказов, в том числе «Негатив положительного героя», нескольких пьес, в том числе «Всегда в продаже» и «Цапля», большого числа киносценариев и публицистических статей, в том числе сборник «Десятилетие клеветы». Лауреат премий «Либерти».

Премия «Либерти» — за выдающийся вклад в русско-американскую культуру и развитие культурных отношений между Россией и США — учреждена в 1999 году тремя известными деятелями культуры, выходцами из России: художником Григорием Брускиным, музыковедом Соломоном Волковым и писателем Александром Генисом. Премия утверждает две важнейшие идеи: художник способен творить и развиваться, находясь за пределами отечества; любая культура, будь то российская или американская, способна возрастать и обогащаться трудами любящих и ценящих её «граждан мира», не обязательно проживающих в той или иной стране. Книжная серия «Либерти» призвана не только знакомить читателей с лауреатами премии, но и углублять диалог между двумя великими культурами. Именно свобода / liberty, преодолевая культурные и политические различия, позволяет рождаться уникальным художественным мирам, расцветать замечательным творческим индивидуальностям.



НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ